

№ 4306
РЕВОЛЬВЕР

РУССКИЕ
СПАЙНЫ

МЕСТЬ

**РУССКИЕ
СТРАИНЫ**

**ВЛАДИСЛАВ
РОМАНОВ**

МЕСТЬ

МОСКВА

ас
ИЗДАТЕЛЬСТВО

ОЛИМП

1997

ББК 84(2Рос-Рус)6
Р 69

Серия основана в 1997 году.

Серийное оформление А. А. Кудрявцева
Компьютерный дизайн Е. В. Кипяткова

Романов В. И.

Р 69 Месть: Роман. — М.: Олимп; ООО «Издательство АСТ», 1997. — 480 с. — (Русские тайны).

ISBN 5—7390—0381—4 (общ.)

ISBN 5—7390—0452—7 («Олимп»)

ISBN 5—7841—0440—3 (ООО «Издательство АСТ»)

Самая страшная тайна отечественной истории XX века не разгадана до сих пор. Хотя для этого создавались десятки авторитетнейших комиссий, к ее расследованию в разные годы привлекались лучшие следователи своего времени. 1 декабря 1934 года некто Леонид Николаев убил секретаря ЦК ВКП(б) С. М. Кирова. Какие силы стояли за выстрелом, поднявшим волну неслыханного террора на долгие годы? Кто такой Николаев: маньяк-одиночка? Отчаявшийся безработный? Провокатор? Фанатик? Наконец, какую роль в том событии сыграл Сталин? Об этом повествуется в книге, об этом был фильм, показанный Телекомпанией НТВ.

ББК 84(2Рос-Рус)6

© «Олимп», 1997

© Оформление.

ООО «Издательство АСТ», 1997



22 декабря 1927 года

Еще с ночи завьюжило, поднялся сильный ветер, хотя мороз не достигал и тринадцати градусов. Всесоюзный съезд невропатологов и психиатров, открытие которого было назначено на десять утра, начал свою работу с опозданием минут на сорок. Все ждали Владимира Михайловича Бехтерева, светило отечественной психиатрии, но он запаздывал, и решили открываться без него.

Бехтерев подъехал лишь к часу дня. Виталий Ганин, его референт и помощник, торчавший все эти три часа вместе с помощником наркома здравоохранения на вьюжном ветру, не выдержав, даже сердито упрекнул профессора: в первый день можно было бы и не опаздывать.

— Ничего не мог сделать, смотрел одного сухорукого параноика, — деловито ответил Владимир Михайлович.

Ганин пропустил эти слова мимо ушей, потому что проконсультироваться у Бехтерева просится каждый второй человек в СССР, и Владимир Михайлович по своей доброте никому не отказывает, но почему из-за этого надо срывать открытие съезда, Виталий понять не мог, хотя с профессора станется, для него сухорукий параноик всегда был важнее, чем

научные словопрения коллег. Ганин лишь обратил внимание на то, как испуганно дернулся на фразе «сухорукий параноик» лысый помощник наркома здравоохранения, тоже почему-то обеспокоенный отсутствием Бехтерева. Но великий психиатр уже прошел в зал, сел в первый ряд с краю и стал с грустным лицом слушать доклад профессора из Казанского университета о вредной теории Фрейда, которая всю психическую жизнь человека сводит к каким-то комплексам, выделяя к тому же всего один из них, «комплекс либидо», или сексуальный.

Ганин, успокоившись тем, что объявился Бехтерев, тоже зашел в зал и не без интереса посматривал на Владимира Михайловича, который с мрачной миной слушал казанского демагога, уверявшего, что советского человека в его социалистической вере никакие комплексы поколебать не могут, и уж тем более сексуальные. А в последних строитель нового социалистического общества вообще не нуждается.

Бехтерев всю эту галиматью, по мнению Ганина да и половины почтенного зала ученых, прослушал с напряженным вниманием, и молодой психиатр даже забеспокоился: не простудился ли профессор. На таком ветру и воспаление легких схватить недолго. Хотя Бехтерева привезли на машине, а выскочивший охранник даже открыл дверцу и помог ему выйти, но вот где был великий доктор психиатрии, об этом стоит поразмышлять.

Утром за ним явились два человека в черных кожаных пальто и в кожаных фуражках с широкой тульей. Они вошли в буфет, где завтракали Ганин с профессором, тихо и торжественно и замерли у входа, как две статуи, молчаливые и равнодушные ко всему. Но вскоре появился третий, ради кого они и выстроились в караул — щуплый, вертлявый, невысокого роста в ярко-синих галифе и сверкающих не-

вообразимым блеском высоких сапогах. Он вошел в распахнутом и длинном, до пят кожаном пальто, таком же ярком и блестящем, как сапоги, а на шею был небрежно накинут белый пуховый шарф с кистями, свисающими до самого пола. Незнакомец оглядел буфет и решительно направился к их столику. Сел на свободное место и заулыбался. Его черные глаза источали такой же лучезарный блеск, как пальто и сапоги, а ярко-красные сочные губы растянулись в снисходительной улыбке.

— Это я, профессор, Карл Паукер! — игриво сказал он, встретив недоуменный взгляд Бехтерева. — Как я вас отсортировал, а?

И он победно оглядел буфетный зальчик. Надо отдать должное Паукеру: за столиками сидели и более солидные фигуры, увенчанные сединами.

Суетливый народ в буфете сразу попритих, с тревожным любопытством посматривая на чернокожих и не понимая, что означает их приход. Ганин тоже забеспокоился. Не очень-то приятно, когда ешь яйцо вкрутую, а тебе нахально смотрят в рот, что делал Паукер, изучая Виталия, как засушенную козлявку в коллекции насекомых.

— Нам пора, профессор, у Хозяина времени в обрез, и он не любит ждать. Кофе мы выпьем в машине! Я вас угощу настоящим кофе «Арабика» из Индии. Готов побиться об заклад, вы такого еще не пили!

Он нагло взял Бехтерева за локоть и увел, даже не попрощавшись с Виталием. Правда, выходя, профессор все же обернулся и, махнув рукой, пообещал, что подъедет к началу съезда.

Что можно было предположить в такой ситуации? Что профессора арестовали по недоразумению, а он в силу своей непрактичности и наивности не сумел этого осознать, или же наоборот, его повезли в

Кремль для особого награждения либо орденом Красного Знамени, либо грамотой Совнаркома, а награду будет вручать сам секретарь ЦК ВКП(б) Сталин или Предсовнаркома Рыков. Профессор, конечно, больше достоин награды, за свои семьдесят лет он написал шестьсот научных работ, воспитал много талантливых учеников, последователей, создал советскую школу психиатрии и целых два института, поэтому второе предположение Ганина вполне обоснованно. Непонятно только, почему Владимир Михайлович не предупредил его об этом чествовании.

Так или иначе, профессор ушел, Ганин доел второе яйцо, выпил чай, зашел к себе в номер переодеться, потом, на всякий случай, постучался к профессору, но ему никто не ответил. Стало быть, профессора увезли чернокожаные. И скорее всего в Кремль, для награждения. Ганин даже обиделся на то, что Владимир Михайлович его не предупредил. На улице мела сумасшедшая вьюга, трамваи ходили редко, и, пока добрался в туфлях по не очищенным от снега тротуарам, он окоченел так, что готов был наговорить профессору массу дерзких слов.

Но к открытию съезда Бехтерев не подъехал. Ганин тут уж на всех смотрел волком, потому что каждый спрашивал, где Владимир Михайлович, а Виталий ничего не мог ответить. Какой он к черту его помощник?! Последний просто обязан знать каждый шаг своего руководителя, а тут приходится разводить руками и нагло врать, что профессор задерживается по чрезвычайному вопросу и вот-вот будет, давайте подождем. Но прошло двадцать минут, потом еще двадцать, ученый народ, воспитанный в строжайшей пунктуальности, стал роптать. Ганин рвал на себе волосы, поджидая профессора у входа в костюмчике на ветру, но, отчаявшись, взял всю пол-

ноту власти на себя, махнул рукой и свирепо объявил: «Начинаем!»

Нет, семидесятилетний ученый ведет себя как мальчишка, исчез и все. Еще в поезде он доказывал Ганину, сколь был велик Пушкин, воспевавший красоты юной девы и поцелуи на морозе. Бехтерев только недавно понял, какое открытие совершил поэт, и остаток своей жизни решил положить на то, чтобы доказать научную ценность его поэтических формул.

Виталий слушал его рассеянно. У больших ученых, особенно к старости, всегда наблюдались отклонения. Правда, у гениев они тянули за собой величайшие озарения, которые продвигали науку подчас на несколько столетий вперед, а у талантливых исследователей происходили прорывы совсем в противоположную область знаний. Последние начинали писать музыку, влюбляться, сочинять стихи, словом, делать то, чего недобрали в юности. Бехтерев, по мнению Ганина, относился к последнему типу ученых — талантливых исследователей, но не лишенных подчас гениальных озарений. А вот превратить их в новую научную теорию, как тот же Фрейд своим курсом психоанализа, Бехтерев не захотел, увлекся администрированием, революцией, а натура его куда богаче австрийского врача. Бехтерев — человек Возрождения, энциклопедист и оракул. Ганин предлагал ему уехать в Париж или в Америку, куда настойчиво звали Владимира Михайловича. Сейчас бы он был уже миллионер, мировая величина, одно слово, одна консультация его стоили бы тысячи франков или долларов. А в этом союзе нищих республик никогда не будет ни славы, ни денег. И по утрам будут врываться без стука гориллы в черных пальто с красногубым начальником и уводить почтенных профессоров неизвестно куда.

В перерыве съезда появившегося Бехтерева окру-

жили друзья, знакомые, ученики, и Ганин не смог его расспросить, куда он ездил с чернокожими охранниками. В съездовской суете он и сам забыл об этом происшествии. Перед закрытием первого дня заседаний Бехтерев прислал ему записочку: «Вита! Я хотел бы с вами переговорить по одному вопросу. Буду вечером у себя в номере». Вита — сокращенно Виталий, но еще и «жизнь» с итальянского, а Бехтерев, побывав в Италии, был влюблен в эту страну и звал его Ганя дольче вита — сладкая жизнь Ганина. Но, получив записочку, Виталий усмотрел в ней и тонкий намек на то, что ухаживания за брюнеточкой-психиатром из Смоленска придется перенести на завтра. Все как-то слишком возбудились после доклада казанского фельдфебеля от науки и захотели на практике проверить: верно ли, что нет никакого «либидо», а есть лишь чувство братской солидарности с угнетенными неграми в Америке, как доказывал критик гениального Фрейда.

Брюнеточку звали Аглаей Федоровной, на левой щечке у нее темнела, как укол амура, пикантная родинка, и глазки горели совсем не чувством братской солидарности. Виталий познакомился с Аглаей еще в день заселения в гостиницу, помог ей отнести на четвертый этаж большой чемодан, узнал, где она живет и с кем. Виталий жил на третьем, рядом с номером профессора, но, увы, тоже в двухместном, со своим занудным ленинградским коллегой-невропатологом, который по утрам делал зарядку, а на ночь обтирался прохладной водой. Одноместные номера полагались лишь докторам наук и почетным гостям из-за границы. Поднимая чемодан на четвертый этаж и войдя в кураж, Виталий сразу же ощутил устойчивый интерес к своей персоне со стороны очаровательной Аглаи Федоровны, в которую влюбился мгновенно, и даже позабыл, зачем спускался на пер-

вый этаж, а вспомнив, снова побежал вниз: Бехтерев просил его узнать, не приехал ли профессор Берг из Швеции, а если приехал, в каком номере он проживает.

Встретившись на следующий день, они вели себя уже как тайные любовники и, улыбаясь, подошли друг к другу. Виталий взял ее руку в свою и со значением пожал, а Аглая, вспыхнув, качнулась в его сторону, на мгновение коснувшись его грудью, но этих мимолетных жестов, горящих глаз и щек было достаточно, чтобы понять, какая страсть охватила эту парочку. Аглая, пытаясь придать своей реплике абстрактно-философский тон, сказала, что готова пожертвовать собой, дабы доказать казанскому держиморде пророческие выводы австрийского психоаналитика относительно комплекса «либидо», и Ганя долгие вела со всей ответственностью заявил, что тоже готов к такой жертве. У Аглаи даже родинка покраснела, когда она бесстрашно спросила:

— Что ж, может быть, тогда стоит провести научный эксперимент?..

В каких страшных снах ей могло только присниться такое?! Она, единственная дочь известных в Смоленске родителей, избалованная мужским вниманием и комплиментами, отказавшая пятерым женихам, сама предлагает первому встречному лечь с ним в постель. Если б это услышала ее мама, она умерла бы от разрыва сердца.

— Потрясающая мысль! — пронзенный, как рапирой, ее немыслимой отвагой прошептал Ганин. — Вы так прекрасны, что даже мороз продирает кожу!

— Моя коллега-невропатолог едет сегодня к сестре и там, видимо, заночует, — горя от возбуждения, ответила Аглая Федоровна.

— Вот и чудесно, — сотрясаясь от нервного озно-

ба, пробормотал Ганин. — А у меня есть томик Фрейда на немецком.

— Тогда до вечера? — прошептала Аглая.

— Если я не умру до вечера от тоски и желаний, — сказал, осмелев, ей на ухо Ганин, и Аглая даже издала странный звук, напоминающий призывный стон дикой пантеры. Ее розовые щечки и его горящие глаза уже весьма заинтересовали окружающих, Аглая Федоровна предусмотрительно поспешила отойти в сторону, чтобы не вызывать завистливых толков и пересудов у засушенных ученых гримз, способных долго и всерьез обсуждать только проблемы развития психиатрической науки в СССР.

«Как хорошо начинается съезд! Семь дней пылкой любви, да еще с такой дивой!» — глядя на изящную фигурку, стройные ножки и мысленно уже раздевая ее, радовался Виталий. И вот на тебе, первый сюрприз от профессора. Не заставит ли он его сегодня сидеть всю ночь и переделывать доклад, который из-за нелепого опоздания профессора перенесен на завтра?! От этих предположений Виталию стало так худо, что он с ненавистью посмотрел в сторону Бехтерева, а тот с детским восторгом слушал сообщение о резком уменьшении числа нервных заболеваний в Калмыкии.

— Да о них там никогда и не слышали! — вслух усмехнулся Ганин, и его сосед по номеру, добродушный толстяк, почему-то прилипший к нему и на съезде, наклонился и спросил:

— А вы работали в Калмыкии? Я бывал в Элисте — хороший город.

Вечером Виталий около часа болтался под дверью профессорского номера. Бехтерев пришел лишь в половине девятого, извинился и, усадив Виталия в кресло, очень живо, почти в лицах пересказал утреннюю историю. Его возили в Кремль. Еще до приезда

в Москву Владимиру Михайловичу на домашний адрес прислали телеграмму из кремлевского лечебного управления с просьбой позвонить, как только он прибудет на всесоюзный съезд. Приехав, Бехтерев позвонил по указанному телефону, и его попросили приехать осмотреть руку Сталина, которая сохнет и становится нежизнеспособной. Сопровождать профессора и явились «чернокожаные гориллы» из охраны вождя.

Бехтерев, осмотрев руку, ничего нового не сказал: чтобы активизировать нервную деятельность, нужна целая серия операций по восстановлению нервных волокон, других способов нет, а сами операции требуют много времени и серьезной подготовки. И за результат ручаться довольно сложно. Но шанс есть.

Сталин помолчал, потом тяжело вздохнул и сказал:

— Хорошо, забудьте об этом...

Вождь, пользуясь приездом знаменитости, стал жаловаться на то, что не может спать по ночам. Его мучают страшные видения, особенно угнетающе действует темнота, ему кажется, что его хотят убить. Может ли профессор прописать ему какие-нибудь успокоительные таблетки? Бехтерев живо заинтересовался этим рассказом, стал расспрашивать Сталина: давно ли это началось и как именно проявляются страшные видения.

Сталин ответил, что до революции он вообще ничего не боялся, во время ссылки в Туруханском крае один ходил на охоту в тайгу, иногда возвращался ночью и хоть бы хны. Все началось после одного случая во время гражданской войны под Царицыном. Он утопил баржу с дезертирами, бывшими царскими офицерами, которые на словах якобы перешли на сторону Советской власти, а на деле всячески этой власти вредили. Вот он и посадил двести офицериков

на баржу, вывез на середину Волги и расстрелял из орудий. А ночью к нему пришел командир одного отряда, бывший царский поручик, самый отчаянный из всех белых негодяев, которым Сталин всегда восхищался, и стал жаловаться, что офицерам и прапорщикам холодно в волжской воде, со дна бьют родники, и они все закоченели. Не пустит ли товарищ Сталин их погреться у костерков?

— А по берегу Волги красноармейцы жгли костры, ночи действительно были холодные, осень подступала, — раскуривая трубку, рассказывал Сталин. — В первый миг я даже не испугался, это было ночью, он разбудил меня, и я принял его за живого. И так разозлился на поручика, что прогнал его прочь. И только потом вспомнил, что самолично втолкнул его на баржу...

Сталин выдержал паузу, отвернулся, подошел к столу и выбил пепел из трубки. Чувствовалось, что его и сейчас бьет озноб.

— И вот тут на меня такой страх напал, что кожа, наверное, инеем покрылась... И дальше все это стало повторяться. Не часто, но... — Сталин выдержал паузу. — До сих пор не могу от этих дурацких видений отвязаться. Умом понимаю, что все это чушь, а, как начинается, холодею и рукой не могу пошевелить... И эта стала сохнуть. Поэтому и прошу таблеток каких-нибудь, товарищ профессор.

— И часто эти галлюцинационные видения повторяются? — спросил Бехтерев.

— Как когда... Где-то раз в два месяца... Но перед этим я уже чувствую, за день, за два...

— Тут таблетками не отделаешься, — помолчав, ответил Бехтерев. — Нужен основательный курс лечения...

— Лечение от чего? — не понял Сталин.

— У вас паранойя, товарищ Сталин, это серьезное

психическое заболевание. Поэтому все дела побоку и прямо с завтрашнего дня начнем курс. Пока на полгода придется позабыть о всяких совещаниях, заседаниях, а там посмотрим...

— Это несерьезно, — помрачнев, сказал Сталин. — А таблеток у вас нет?..

— С этим шутить нельзя, Иосиф Виссарионович! Я категорически настаиваю на проведении немедленного курса лечения! Категорически! — Бехтерев даже раскраснелся от гнева.

Глаза Сталина вспыхнули резким желтоватым светом и погасли. Он положил дымящуюся трубку в карман, потом спохватился, вытащил ее, подошел к столу и повернулся к Бехтереву спиной.

— Я вас не задерживаю, товарищ Бехтерев, — проговорил Сталин.

Бехтерев помолчал и вышел из кабинета. К профессору подбежал начальник Лечебного управления.

— Ну как? Все в порядке? — спросил он.

— У товарища Сталина паранойя, и необходим немедленный курс лечения. Уговорите его и используйте все свое влияние!

Начальник Лечупра окаменел от этих слов и долго не мог прийти в себя. А Бехтерев поехал на съезд.

— Вот такая история, мой друг, — вздохнув, закончил свой рассказ Бехтерев.

— Вы думаете, это излечимо? — недоверчиво спросил Ганин. — Слишком большой срок прошел...

— Не знаю, можно ли вылечить, но затормозить процесс нужно обязательно, — проговорил Бехтерев. — А этот Сталин, он что, теперь самый главный после Ленина в партии?

Виталий кивнул.

— Надо его срочно менять, — наивно заявил профессор. — Параноик на посту вождя — вещь очень опасная.

— А кто приезжал за вами? — спросил Ганин.

— А-а, этот комедиант, — усмехнулся Бехтерев. — Он всю дорогу мне рассказывал про оперетту и корчил рожи, точно принял меня за артиста. Шут гороховый! Он у них там начальником охраны или вроде того.

В дверь постучали.

— Войдите! — сказал профессор.

Дверь открылась, и вошел невысокий, плотного телосложения человек в пенсне с кавказскими чертами лица. В руках он держал корзину с виноградом, фруктами и вином.

— Профессор Бехтерев? — улыбаясь всем круглым лицом, с акцентом спросил вошедший.

— Вы не ошиблись, — кивнул Владимир Михайлович.

— Вам фрукты и вино, — вошедший водрузил корзину на стол. — От одного из ваших пациентов в знак благодарности...

— Да, но я не помню таких... — удивился Бехтерев, но незнакомец его перебил.

— Кушайте на здоровье, дорогой профессор, мы вас все любим!.. До свидания!

И исчез. Бехтерев с изумлением осмотрел корзину, в которой лежали большие гроздья крупного спелого винограда, мандарины, красные яблоки, желтовосковые груши, персики, абрикосы и бутылки отменного грузинского вина «Хванчкара» и «Киндзмараули».

— В декабре такие дары весьма кстати, — улыбнулся профессор.

Он вытащил бутылку «Хванчкары».

— Ты пил когда-нибудь «Хванчкару»?

— Только слышал, — улыбнулся Ганин.

— Давай выпьем по бокалу! — предложил профессор.

Ганин посмотрел на часы и ужаснулся: стрелки показывали половину одиннадцатого.

— Я прошу прощения, Владимир Михайлович, но я обещал проконсультировать одного аспиранта, он бедный уже два часа ждет меня, вы уж извините!.. — забормотал Ганин.

— Вам же хуже, — обидчиво ответил Бехтерев. — Мой поклон нежному аспиранту. Не щадите вы себя, Виталий Сергеевич, ох не щадите!

— Извините, Владимир Михайлович, но я рассчитывал быстро освободиться...

— Идите! — махнул рукой Бехтерев. — А я устрою тут без вас Лукуллов пир! Завидуйте!..

Ганин выскочил из номера профессора и помчался к Аглае, воображая, как мучается его бедная брюнеточка, проклиная тот день, когда она с ним связалась, если вообще уже не бросилась в объятия другого кандидата медицинских наук, но, к своему изумлению, застал свою брюнеточку играющей в карты с пожилой гримзой-соседкой. Последняя, переговорив с сестрой, перенесла свой визит на воскресенье — ее младшенькая разболелась, грипп, а гримза бережет свое здоровье. Ганина утешили печально-влюбленные глаза Аглаи Федоровны и ее тайное рукопожатие под столом: дамы пригласили его сыграть с ними в «дурачка». Виталий просидел с учеными дамами за картами до полуночи, раз пять остался чистым дураком и, счастливый, отправился спать к себе в номер.

Подойдя к двери профессора, он прислушался: надежда на то, что Бехтерев не спит и угостит его ароматной «Хванчкарой» растаяла как дым. За дверью профессорского номера было уже тихо, и Ганин, переполненный злой тоской, поплелся спать. Его сосед невропатолог храпел так, что Виталию захотелось повеситься.

На следующий день Бехтерев почувствовал странное недомогание. Он уже собрался идти на съезд, надел костюм, но вдруг сел на стул. Лицо его было в поту, и Владимир Михайлович тяжело дышал.

— Не понимаю, что со мной? — пробормотал он. — На простуду не похоже, сердце в порядке, желудок крутит, но вчера я только бокал вина выпил и съел из жадности два апельсина и кисточку винограда. — Я лучше отлежусь сегодня, а вы уж там без меня как-нибудь... Правда, котлета за обедом немного припахивала, но мне она показалась свежей...

— Я врача пришло, — пообещал Виталий.

— Не надо, я здоров! Отлежусь, и все будет в порядке! — Владимир Михайлович слабо улыбнулся.

К концу дня 23 декабря Владимиру Михайловичу стало хуже. Уже вечером температура подскочила до сорока, он перестал узнавать окружающих и начал бредить. Ганин срочно вызвал бригаду врачей, но почему-то приехал один профессор Бурмин, специалист по желудочным заболеваниям из Лечсанупра. Он попытался промыть желудок больного, но было уже поздно. В ночь на 24 декабря Бехтерев скончался. Профессор Бурмин констатировал смерть вследствие желудочного отравления.

Ганин испытал самый настоящий шок. Тогда, в суете съезда, он не мог понять, что же произошло, и только через несколько лет, вспомнив рассказ профессора, визит странного лица с Кавказа, корзину с вином и фруктами, он, неожиданно для себя связав воедино эти факты и проконсультировавшись с лучшими ленинградскими гастроэнтерологами, догадался, почему так скоропостижно ушел из жизни Владимир Михайлович Бехтерев. Это было преднамеренное убийство.

2

8 февраля 1934 года

Выборы нового состава ЦК ВКП(б) было намечено провести завтра, 9 февраля, на вечернем заседании Семнадцатого съезда партии. Форум победителей заканчивал свою работу. Самый тихий, бескровный, на котором каждое выступление заканчивалось славословием Сталина. Киров даже назвал его «самым великим человеком всех эпох и народов». Зал поднялся и долго аплодировал. И было непонятно: то ли аплодируют темпераментной и, как всегда, деловой речи Кирова, то ли хвалам Сталину. Еще до съезда вождь дал четкие инструкции своему личному секретарю Поскребышеву: появлению Сталина в зале или на трибуне аплодируют десять минут, всем остальным — по две минуты. Но Коба сам не ожидал, что здравицы в его честь посыплются как из рога изобилия. И у послушников его секретаря все перепуталось в голове. Они стали аплодировать и здравицам да еще вставать. «Нет, надо, видимо, к следующему разу все расписывать буквально: сколько минут на живой выход, сколько на простое упоминание в речи, сколько на здравицу. А этак они месяцами будут заседать». Аплодисменты длились уже шестую минуту, оставалось еще четыре, но делегаты поднялись с мест, и Коба на мгновение растерялся, ему совсем не хотелось вставать, он вымучил слабую

улыбку, зааплодировал, подняв руки вверх, чтобы все видели: он с ними. Овации не стихали, и лицо Сталина преобразилось: губы растянулись в широкой улыбке, заплясали чертовы зайчики в глазах, и ему все-таки пришлось подняться. Он что есть мочи забил в ладоши, словно получил известие о смерти Троцкого, своего злейшего врага. «Нет, все-таки аплодируют Кирову, — оглядев зал, заметил Сталин, — потому что многие смотрят в сторону трибуны, а не на меня. И тут надо подсказать Поскребышеву, чтоб знали, куда смотреть и в чью сторону тянуть свои бараньи головы, — у Сталина даже улыбка слетела с лица, хотя он продолжал аплодировать. — Что уж такого сказал Киров? Красиво, но не точно. Что значит, самый великий человек? Сталин прежде всего вождь, а уж потом человек. Поэтому так и надо было сказать: самый великий вождь всех времен и народов. Уж если льстить, то льстить как следует. Хотя Киров никогда не льстит. Он всегда говорит правду».

Овации закончились, и Сталин с облегчением сел. У него даже ладони заболели. И вообще он устал. Две съездовские недели вымотали его вконец. Конечно, хорошо, когда можно открыто сказать, что «на этом съезде и доказывать нечего да и, пожалуй, бить некого». Зиновьев, Каменев, Бухарин и вся эта старая ленинская гвардия сейчас боятся только одного: как бы Хозяин не добил их. Это его так зовут теперь.

Однажды Сталин, собравшись уезжать из Кремля и не дойдя до машины, был вынужден вернуться к себе в кабинет: забыл ершик для чистки трубки на рабочем столе. Он не любил, когда в мундштуке скапливалось много никотиновой смолы. Зайдя в приемную, он остановился. Дверь в кабинет была приоткрыта, и оттуда доносился слабый голос Александра Николаевича Поскребышева: «Нет хозяина, уехал, да, в Зубалово, звоните туда... Завтра обещал быть в двенадцать... До свидания».

Поскребышев положил трубку, вышел в приемную и, натолкнувшись на неподвижно стоящего Сталина с жестким немигающим взглядом, так испугался, что губы у него затряслись, он попятился назад, будто увидел привидение, а не живого человека.

— Кому это вы разглашаете, куда я уехал? — строго спросил Сталин.

— Простите, Иосиф Виссарионович, но звонил Молотов, там какая-то у него срочность, поэтому я и сказал, куда вы уехали. Больше не повторится, клянусь вам! — забормотал Александр Николаевич.

— Никому нельзя говорить такие вещи, даже Молотову! — уже мягче сказал Сталин. — Он может разболтать своей Жемчужиной, а та евреям-троцкистам. А если так уж срочно я ему понадобился, то пусть объяснит и попросит вас разыскать меня. За двадцать минут ничего не случится.

Он прошел в кабинет, забрал ершик, вышел в приемную. Поскребышев все еще стоял по стойке «смирно». Сталин дошел до двери, обернулся и, прищурившись, спросил Поскребышева:

— А почему вы называете меня Хозяином? Это что еще за кличка?..

— Это не кличка, Иосиф Виссарионович, я имел в виду, разговаривая с Вячеславом Михайловичем, что вас как хозяина кабинета нет на месте, — вывернулся Поскребышев.

На его бритой голове заблестели даже капельки пота. Александр Николаевич выглядел чуть пониже Сталина, хоть они и были одного роста. Загадка открылась позже. Паукер подучил Поскребышева намеренно срезать каблуки у своих сапог, чтобы казаться пониже, остроумно заявив, что личный секретарь вождя просто по положению не может быть выше, а сам в свою очередь заказал для Кобы сапоги с увели-

ченным каблуком и подошвой, так что при своих 163 сантиметрах роста Сталин теперь тянул на все 170.

— Вы мне прямо отвечайте: называют меня многие так за глаза или вы только так называете? — раздражаясь, спросил Сталин. За Поскребышевым водилась эта манера: иногда увиливать от прямых ответов.

— Называют многие так, Иосиф Виссарионович, — признался Поскребышев, ожидая гнева на свою голову.

— Ну и хорошо, пусть называют, — Сталин вдруг улыбнулся и уехал.

Прозвище Хозяин ему понравилось. Коба рассказал об этом Паукеру во время бритья — парикмахером Карл был виртуозным. Это было его истинное призвание, недаром еще в будапештском театре оперетты, где он работал до призыва в австро-венгерскую армию, Паукер являлся личным цирюльником многих знаменитых артистов. И Кобу с его глубокими оспинами на лице никто не мог выбривать так чисто и без единого пореза. Не успел Сталин рассказать, что многие за глаза его зовут Хозяином, как Паукер с ходу заявил, что давно уже так зовет вождя и, скорее всего, с его легкой руки и появилось это прозвище.

— Что это за прозвище? — нахмурился Сталин. — Хозяин — не прозвище. Вот «рябой» — это прозвище, а когда называют «хозяином», значит, уважают.

— Иосиф Виссарионович, я же венгр, откуда я могу так хорошо знать русский язык, как вы?!

— Я тоже грузин, но русский знаю так же хорошо, как грузинский, а может быть, и лучше, — заметил Сталин.

— Ну сравнил тоже орла с курицей!..

Сталин засмеялся, затряс щеками, и Паукеру пришлось прервать бритье. Иногда Карл переходил с

ним на грубое «ты», и это тоже нравилось Хозяину, как и мгновенный паукеровский юмор.

С той поры Коба и сам стал называть себя Хозяином. Иногда даже вслух. Пусть все привыкают. Привыкнут к слову, будут понимать и его значение. Усвоят значение — будут проявлять почтительность и уважение. А потом это будет впитываться с молоком матери. «Хозяин» — хорошее слово, а русский язык — самый богатый язык в мире.

Истекал день 8 февраля 1934 года. Съезд подходил к концу. Тяжелый съезд. Сталин сидел не в президиуме, а чуть повыше и сбоку, как бы над президиумом, за отдельным столом, как и положено Хозяину, просматривая подготовленные его комиссией списки ленинградских партийцев, замешанных в дружеских или деловых связях с Зиновьевым и Каменевым, и ставя крестики против тех фамилий, чьи жизни партии были больше не нужны. Ему не нужны. Потому что партия и он были неразделимы. И неважно, если тот же Бухарин или Рыков считали, что Сталин еще не вся партия, или как Зиновьев втайне думал, что Сталин — это вообще не партия. Пусть. Эти десять лет после смерти Ленина Сталин тем только и занимался, что, как Геркулес, вычищал от фракционной грязи партийные ряды, железной метлой выметая оппозицию.

«Проститутку Троцкого», как называл его Ленин, вычистил не только из партии — из страны. Лет десять назад об этом и подумать было страшно. Одно имя: Троцкий, наркомвоенсил, Председатель Реввоенсовета, которому сам Сталин беспрекословно подчинялся. Это шутка, конечно. Сталин никогда никому не подчинялся. Он иногда соглашался с тем же Троцким, и даже не с ним. Троцкий всегда пел с голоса Ленина. Что Ленин прикажет, тот так и делал. Но Сталин и Ленина не очень-то боялся. Теперь в

этом можно признаться. А вот Ильич его побаивался. Троцкий после смерти Ленина решил, что возглавить партию должен он. Его имя должно стать знаменем Республики. Решить-то он решил, да кто ж ему даст. Зиновьев с Каменевым всполошились, потому что не любили этот «кричащий кадык» — так за глаза они называли Троцкого. Зиновьев сам метил в ленинское кресло, и они вдвоем — Каменев и Зиновьев, прихватив и Бухарина, — с остервенением набросились на «иудушку Троцкого» и разорвали бы на куски, если б Сталин не остановил.

Сейчас смешно вспоминать, а тогда смех застревал в горле. Еще бы, киты революционной борьбы — вот с кем ему пришлось схватиться. Теперь он понимает, что зря выпустил Троцкого. Под присмотром ОГПУ он бы перековался и, глядишь, тоже бы пел сегодня, как Каменев и Зиновьев, здравицу Сталину. Ну да ничего, Коба найдет время, чтобы поставить Троцкому свой крестик.

Коба — была партийная кличка Сталина, которой он гордился и не возражал, когда кто-то из своих называл его так. Хорошее имя. Почти как «кобра». Только без этого устрашающего «р». Врага не надо пугать раньше времени, поэтому не кобра, а Коба. Сталин не любил, когда его называли Сосо. Это уменьшительное от Иосифа придумала мать и так называла его в детстве, а потом некоторое время жена, Надя. Когда дома, еще ничего, но однажды она назвала его так при всех. Он подошел к ней и сказал на ушко: «Еще раз так назовешь, по губам получишь». Нежно сказал, тихо. А она вспыхнула и посмотрела на него, как на врага. А чего он такого сказал? Не нравится ему и все. Коба — пожалуйста, а Сосо — нет. Серго Орджоникидзе позволяет себе иногда так назвать его, но на Серго он почему-то не

обижается. Сам не понимает: почему? Честное слово, не понимает...

Сталин вздохнул. Он постоянно говорил с собой, точно кто-то еще был в этом низкорослом теле с такими же пышными черными усами и крупными оспинами на лице. Жандармы его прозвали Рябой и боялись одного вида. А увидев, сразу крестились, точно он на черта был похож. Потом один жандарм объяснил: у чертей лицо тоже в оспинах, мол, отметина у них такая. Что ж, хорошая отметина. У Кирова тоже оспинное лицо. И ростом он выдался такой же. Поэтому они и вместе. И любят друг друга, как братья.

Сталин снова вернулся к крестикам. «Кто у нас тут еще без крестика?» — прошептал он и беззвучно рассмеялся. Это была шутка. Раньше крестиком в народе называли Георгиевский крест, им награждали за великие заслуги перед царем и Отечеством. Коба придумал свой «крэстик». И тоже за великие заслуги, но против него лично. В этом и была шутка. А Бухарин всем говорит, что Коба шуток не понимает. Коба все понимает. И сам шутить может...

— Под руководством Центрального Комитета, вокруг великого вождя товарища Сталина... — зал, даже не дослушав конца фразы, бурно зааплодировал, и делегаты снова начали вставать с мест.

Сталин, не успев сосредоточиться на одной из фамилий и услышав продолжительные овации, вновь оторвался от списков, поднял руки, зааплодировав вместе со всеми, вновь расплылся в улыбке — заседание съезда снимают кинохроникеры, щелкают камерами фотоаппараты, и все стараются запечатлеть его, любимого вождя, поэтому деваться некуда, надо вставать, улыбаться и бить в ладоши. Но он уже сердился, окидывая взглядом зал Большого театра, где проходил съезд. Пока первыми, конечно, встают

в зале его аппаратчики и вышколенные бойцы Ягоды из ОГПУ. Поскребышев раздал много гостевых аппаратчикам из райкомов с одной задачей: едва оратор произносит здравицу или приветственный лозунг в честь Сталина, партии, ЦК — начинать бурно хлопать и заводить зал, а едва он завелся, вставать и поднимать с мест делегатов. Это работа, и далеко не простая. Но необходимая. Пусть все враги видят, что Сталин создал монолит, который теперь никакими происками не расколоть. А кроме того, надо приучать к ритуалу, вырабатывать привычку, которая потом будет срабатывать у каждого делегата произвольно. А пока пусть учатся с помощью дирижеров. Сталин любил это слово: дирижер. Грубоватое, резкое и правильное.

Зал продолжал аплодировать стоя, и Сталин, не выдержав, махнул дирижерам Поскребышева рукой: хватит! Надо заканчивать на сегодня работу. «Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет», — проворчал Сталин, искал глазами Поскребышева, но тот убежал за кулисы, видимо, проверить, готов ли чай и бутерброды для президиума. Скоро конец, выступление Кирова последнее в списке. Надо не забыть сказать Поскребышеву, чтоб он усмирил своих хлопальщиков, этак ничего и не сделаешь, а список с крестиками ему сегодня надо отдать, у Ягоды тоже своя работа, на очереди новые группы. «А про гениального вождя первым сказал Хрущев, — вспомнил Сталин. — Толковый мужичок. Грамоты не хватает, культурного кругозора, но хватка есть. Поднатаскать, и будет работать не хуже Бухарина».

Сталин вел карандашом по списку, многие имена ему ничего не говорили, но он не спешил пропускать их. Пропустишь такого с гладкой фамилией типа Беленький, а он тебе потом палец откусит. Сталин хорошо знал Абрама Яковлевича Беленького, началь-

ника охраны Ленина, но к себе работать не взял, хоть ему и предлагали. Верный пес должен знать и любить только одного хозяина. А если ему все равно кому служить, то это не сторожевой пес. И Коба такого нашел: бывшего пленного венгра с немецкой фамилией — Карл Паукер. Он хотел выслужиться, иметь чины и богатство. Неплохо для начала. Коба боялся чистых революционеров-романтиков. Такой за идею и глазом не моргнет — зарежет, будь ты ему хоть вождем, хоть начальником. Для Кобы было важно, чтоб служили не за идею и не идее, а ему, Хозяину, из рук которого получаешь зуботычины, но и лакомые куски мяса. Если ты пес, то и служить должен по-собачьи. Не рассуждать, не гавкать, а при первой команде вгрызаться во вражью глотку и держать ее мертвой хваткой, пока не перегрызешь. А за это можно и по заливку потрепать, погладить, сказать: «Молодец, Карлуша, заслужил свой орден, заслужил!»

Сталин никогда не ставил крестики всем подряд, даже если и не знал кого-то из списка, дабы тот же Ягода не думал, что товарищ Сталин, не задумываясь, чохом готов всех отправить на тот свет. Нет, он подолгу думает над каждой фамилией и не торопится отрешиваться от своей работы: речь идет о человеческих жизнях.

Сталин услышал едковатый смешок Молотова с глухим покашливанием и покосился на него. «Что там нашептывает Ворошилову эта каменная задница», — подумал Сталин и усмехнулся. Каменной задницей Молотова назвал в 1929 году Бухарин, и из-за этого разгорелся целый политический скандал, который разбирало Политбюро. Конечно же не только из-за этого прозвища, от Бухарина и Сталину досталось, но Молотова он уел хорошо. Скандал забылся,

Бухарин свое получил, а прозвище осталось. Точное прозвище.

Сталин любил клички и вторые имена, а Бухарин за словом в карман не полезет. Он вспомнил, как в тринадцатом году в Вене Ленин попросил Бухарчика помочь Кобе закончить статью «Марксизм и национальный вопрос». Коба принес ему свои наброски, написанные корявым русским языком, — Сталин тогда хоть и написал более десятка разных статей, но носа не задирает и не считал себя большим публицистом. Бухарин, мучаясь насморком и не выпуская из рук носовой платок, пробежал заметки Кобы беглым взглядом и попросил прийти завтра утром. «Как утром?» — удивился Коба. Он надеялся, что они сядут и вместе поработают, у него были еще кое-какие мысли в голове, но Бухарин только рассмеялся.

— Хорошенько их отутюжьте и не забудьте накрахмалить, — посоветовал он, схватил сталинские почеркушки и убежал, а на следующий день принес готовую статью.

Статья Кобе понравилась: острая, задиристая, толковая, с анализом положения окраинных народов и народностей. Бухарчик за один вечер откуда-то добыл сведения о приросте валового продукта в странах Закавказья, чего и Коба не знал. И тем не менее это была не его статья, не такая, как хотел он. Сталин сел и написал свою статью, свои размышления о нацвопросе. Бухарин, в частности, выбросил из заметок Кобы еврейский вопрос, посчитав постановку его Сталиным вздорным и даже вредным. А мысль у Сталина была такая: поскольку евреи, живя в России, постепенно ассимилируются, растворяются среди русского населения, то и создавать автономию для них бессмысленно, да и вообще будущее существование евреев как нации «подлежит сомнению». Сталин

попросту не считал их нацией. Вот русские некоторых своих соотечественников называют «кержаками». Говорят, он — кержак, у него снега зимой не выпросишь. То есть жадный очень. Так и евреи. У поляков есть евреи, у русских, у грузин. В каждой нации свои евреи, свои кержаки, так что же теперь, в каждом государстве для них свою автономию создавать?

Это была лучшая мысль в сталинской статье, а Бухарин ее выбросил. Сталин вернул мысль обратно в статью, но доверять Бухарчику перестал еще с тринадцатого года.

Шесть лет назад Сталин в порыве дружбы доверительно сказал Бухарину: «Мы с тобой, Николай, Гималаи, остальные ничтожества». Под ничтожествами Сталин имел в виду остальных членов Политбюро. Он правильно тогда сказал. Сталин крепкий организатор, мудрый управитель, Бухарин — острота мысли, ее новизна, ее перец, без которого получается застой в желудке. Вот поэтому они и Гималаи, а остальные все каменные задницы. Ну вот что плохого ему сказал Сталин?.. Наоборот, он выделил его, отметил, так ты гордись этим, радуйся знай. А Бухарин взял да и процитировал перед всеми на Политбюро эту фразу...

Сталин отложил ручку и зябко поежился. Хорошо бы покурить, да нельзя, он на виду. Хоть никто и не посмеет бросить в него камень, но найдется какая-нибудь истеричка типа Крупской и завопит в кулуарах: «Что он себе позволяет?! Скоро за шашлыками будем съезды проводить!..» Сталин поежился, потому что вспомнил то свое состояние, когда Бухарин предательски ударил его ножом в спину, огласив при всех на Политбюро ту доверительную фразу и ядовито добавил: «Вот как о всех нас думает товарищ Сталин!»

На несколько секунд за столом Политбюро воцарилась жуткая тишина. Никто не знал, как реагировать на такое бесстыдство Бухарина. Даже Коба оторопел от такого подлого предательства, но надо было переломить ситуацию, обернуть ее тем же концом против негодая.

— Ты лжешь, лжешь, лжешь! — побледнев, закричал тогда Сталин, поднявшись со своего места. — Хочешь настроить против меня членов Политбюро?! Я клянусь собственной жизнью, дорогие мои товарищи, что никогда не произносил тех гнусных слов, которые мне хочет приписать так называемый товарищ Бухарин. Я говорил ему критические слова о некоторых членах Политбюро, но об этом я не стесняюсь заявлять во всеулышание, и мы справедливо критикуем друг друга за отдельные недостатки! Но зачем мне подвергать сомнению нашу общую мощь и взаимовыручку, зачем мне гадить в то место, из которого я пью святую воду наших общих социалистических идей — такого просто придумать невозможно!..

Сталин еще что-то говорил, он уже не помнил, что именно, но в чем-то оправдывался, а все сидели и молчали. Они, конечно, поверили Бухарину, как же, любимец Ленина, любимец партии, пример кристальной честности партийца. Но тут поднялся Ворошилов и, размахивая руками, стал кричать, что знает Сталина как боевого друга, и он никогда не подставлял спину под пули и всегда первым бросался выручать товарища. «Вот дурень, при чем здесь пули», — сердито проворчал про себя Коба, хотя ему было приятно, что Клим очертя голову бросился на его защиту. Ворошилов, будто услышав сталинское ворчание, резко свернул в нужную сторону.

— Поэтому я считаю это заявление товарища Бу-

харина низкой клеветой! — заявил Клим. — И попыткой внести раскол в наши ряды!

Клим, красный от возмущения, сел на свое место, и после такого ворошиловского перца уже все стали успокаивать Сталина и говорить Бухарину о недопустимости подобных вещей. Даже закадычный бухаринский дружок Рыков сказал ему:

— Н-н-никтолай Иваныч, я не п-п-понимаю, зачем т-т-тебе это понадобилось?! Ну, м-м-мы иногда м-можем в сердцах обозвать друг друга даже г-г-говнюками, но это не значит, что обсуждение данных п-п-поступков надо выносить на заседание П-п-политбюро. Нехорошо это...

Рыков, хоть и заикался, но сказал правильно. Со всем не глупый мужик этот Алексей Иванович. Сменил Ленина на посту Председателя Совнаркома в двадцать четвертом году, и неплохо работал, но Сталин и его вычистил из Совнаркома, а также из членов Политбюро. Все-таки они дружки с Бухариным. И Томского, их друга, тоже вычистил, и Сокольников — всех. Хватит. Поиграли в вождей и будет. Новые песни надобно петь.

3

Съездовский день закончился. К Сталину подошли Ворошилов с Молотовым. Каменная задница еще за десять шагов начал лыбиться и выгирать платком рот, точно Сталин полезет к нему целоваться. Но Молотов всегда так делал, когда зазывал его к себе пить водку. Коба очень наблюдательный. И точно: Ворошилов звал его и Кирова к Молотову на ужин. Киров жил у Сталина, поэтому их и приглашали вместе. Как подружек.

— А чего ты к Вячеславу приглашаешь, своей квартиры, что ли, нет? — пошутил Сталин.

— Ты же знаешь, какой у меня сейчас лазарет, — стал оправдываться Ворошилов.

— Товарищ Сталин с хорошими друзьями может и в лазарет пойти выпить, — улыбаясь в густые усы и раскуривая трубку, заметил Коба.

— Давай тогда ко мне! — махнул рукой Ворошилов. — Полина закуски перетащит, сядем рядком, погутаим ладком, а?..

— Я — «за»! — тут же согласился Молотов. Он всегда был «за».

Но Сталин отказался. Ворошилов кинулся уговаривать, даже сделал обиженное лицо. Как ребенок пятилетний. Сталин извинился, сказал, что устал, а им с Кировым надо еще поработать. Ворошилов огорчился. Уж очень Климу выпить хотелось, гуль-

нуть. А Молотов стал протирать пенсне, точно и не было никакого приглашения. Вячеслав знал, что Коба недолюбливал его жену, Полину Жемчужину, которая при всех всегда громко и нарочито восхваляла Сталина, одно это уже вызывало у Кобы подозрения. А кроме того, она была еврейка, а Сталин всегда не доверял евреям, а ей вообще перестал верить с того самого вечера, когда она убежала следом за его женой, Надей, и их не было часа полтора. Потом Полина вернулась одна и сказала, что они гуляли по Кремлю и она успокаивала Надю.

— А чего ее успокаивать? — удивился Сталин.

— Она плакала и была не в себе, а я ее успокаивала, — улыбнувшись, ответила Полина. — Надя очень впечатлительный, ранимый человек, Иосиф Виссарионович, — добавила она.

— Я тоже бывал ранен, — заметил Сталин. — И ничего, выжил...

Клим тогда рассмеялся этой шутке. А Надя в ту ночь застрелилась.

— Выпейте сегодня без нас, — сказал Сталин Молотову и Ворошилову. — Мы потом с Кирычем навестаем...

Кирычем звал Кирова Орджоникидзе, прозвище не ахти какое, но другое к Сергею Мироновичу и не лепилось. Как-то уж очень все его любили, причем люди самые разные. И Надя, угодить которой было трудно, она не любила ни Клим, ни Кагановича, приезду Кирова радовалась, как дитя. И странное дело: Бухарина, с кем Надя любила поговорить по душам, Коба жутко ревновал, а Кирова нет. И верил почему-то Кирову на слово, и не таил злобы, когда последний в чем-то с ним не соглашался. «Вот ведь что удивительно, — думал Сталин, — и в чем тут фокус?» Да если б он один, то все можно было бы объяснить, а то ведь и старые партийцы подходят к

нему на съезде и в голос хвалят. Другого Коба давно бы в порошок стер, а Кирова сам любит.

Со съездом вроде все ясно. Завтра голосование. Коба наметил своих людей в счетную комиссию, они не подведут. Сюрпризов никаких не будет. Те, кто его ненавидит — в особенности зиновьевско-бухаринская шайка, — проголосовать против не посмеют, знают: Сталин все проведает, и им тогда несдобровать. Поэтому за исход голосования он не волнуется, хотя и прославлению своего имени с трибуны не верит. Кроме Кирыча. Последний искренне считает его настоящим вождем. «Коба, что бы мы без тебя делали!» — восхищенно повторяет он каждый раз. Очень точное выражение.

«Вы бы делали то, что Троцкий приказывал, — проворчал про себя Коба. — Все бы по одной половине ходили!»

Троцкого все боялись. А Кобу Троцким не испугаешь. Он сам кого захочет на всю жизнь испугает.

«Пархатый жид, — пробормотал вслух Сталин, вспомнив Троцкого. — Ничего, ты у меня не умрешь своей смертью. Я тебя убью!» — он так проскрежетал зубами, что начальник охраны Паукер, шедший впереди, обернулся. Сталин зло махнул ему рукой: смотри вперед!

«И еще в тридцатом мне таких похвал с трибуны не пели, — с удовлетворением подумал он. — Тут же как прорвало всех. Хотя правильно говорят: хуже запоздалой любви ничего нет».

Он как-то сказал Молотову: «Тот, кто тебя сильно хвалит, тот и зарезать думает!» Молотов сразу заерзал взглядом, словно речь про него шла.

— Это шутка, — сказал Сталин и улыбнулся.

Заулыбался и Молотов.

— Но в каждой шутке смысла больше, чем в речах философа, — добавил Коба.

Они сидели у него за столом и ели пельмени. Вячеслав чуть пельменем не подавился, потому что перед этим на Политбюро Молотов пеной изошел, восхваляя Кобу.

«А ведь это я их всех научил, говорить одно, а думать другое», — подумал Коба. Хоть этому от него научились. Раньше правду-матку в глаза резали. Не стеснялись. Но научить-то научил, а теперь чувствует, что оставлять многих надолго с их подлыми мыслишками опасно. Мыслишки имеют свойство обретать материальную силу в массах, как указывал Карл Маркс. И вот тогда их обратно не затолкнешь и придется выжигать каленым железом. Поэтому не лучше ли некоторым сразу поставить карандашный крестик?..

Сталин усмехнулся. Что-то уж он раскрестился. Не дают покоя эти крестики... А как успокоишься, если он не просто карандашные крестики ставит, а поминальные уже заказывает, да еще на живые души. Он предлагал Молотову этим заняться. Тот прибежал к нему с выпученными глазами, губы трясутся: «Коба, как я могу без тебя, я же могу ошибиться, я не знаю этих людей, Коба...»

Как будто Сталин знает. Сталин многих тоже в глаза не видел. Но распознавать врага он обязан. Чутьем, по запаху, по одной фамилии. А есть сложные фамилии. Такая, как Смирнов, например. Что она означает? Смирнов, выходит, что смирный человек. А если такой, как Иван Никитич, который ненавидит Сталина, как злейшего врага? И получается, что ценность человеческой жизни зависит от того, как тот или иной враг реагирует на слово «Сталин». Морщится, значит, враг. Пугается, значит, ненадежный. Радует, значит, коварство замышляет.

— Но а как тогда понять, кто свой? — выслушав эти размышления, спросил Молотов. Коба, конечно,

был пьяненький, перебрал немного, вот и затеял этот ликбез.

— А просто, — сказал Сталин. — Свой проверяется лишь одним путем. Дашь ему револьвер и говоришь: готов за товарища Сталина жизнь отдать? Если готов — докажи, убей себя! И если человек стреляет в себя наповал, то, значит, свой, стопроцентно!

— Но он же тогда мертв... — растерянно проговорил Молотов.

— А вот мертвый и есть настоящий свой! — засмеялся Коба. — Шутка, конечно. Но в каждой шутке светится ум философа. Не я сказал, но разделяю.

Сталин смеялся до слез, потому что когда Молотов произнес эту фразу: «но он же тогда мертв», у него было такое лицо, словно его стакан мочи заставили выпить.

Ничего, теперь он всех научил работать со списками. Если попадается военный, Коба просит ставить свои крестики Ворошилова, а за всех остальных отвечает Председатель Совнаркома товарищ Молотов. И все как миленькие ставят. Ворошилов потом напивается, правда, до оскотинения и два дня ходит осоловелый, а Молотов оказался даже покрепче. Вошел во вкус.

Конечно, и тут не все ладно. Поздно начали работать со списками. Надо было не в двадцать седьмом, а раньше начинать, давно бы всех на жесткий учет поставили. А то что выходит: умрет сам по себе такой экономист-шелкопер, как Лурье-Ларин, которому давно пора в Магадане свой паек отрабатывать, а его вместо этого у Кремлевской стены хоронить приходится, да еще слезы лить, что мало пожил. Вот что обидно.

Сталин тяжело вздохнул. Конечно, он не от съезда устал. И не от похвал в свой адрес. Просто предыдущий, 1933 год выдался тяжелым. На Украине

разразился еще бóльший голод, чем в предыдущие два. Понятно, что по вине отдельных руководителей, но люди мерли как мухи, миллиона полтора полегло. Сталин, само собой, переживал. Знал: враги в него пальцем будут тыкать. Но он еще в начале тридцать третьего запретил публиковать в печати статистику о рождаемости и смертности, нечего пугать народ да подкидывать злобные фактики ненавистным буржум на Западе. Достижения он в докладе отметил: за три года население выросло со 160 миллионов с конца тридцатого до 168 миллионов человек на конец тридцать третьего года. Мало восемь миллионов? Ничего, еще прибавим, жизнь только начинается. Восемь, а может быть, десять миллионов пришлось поставить под расстрел, но это и есть болезнь роста: надо было избавляться от кулаков, саботажников, врагов всех мастей. И так будет до тех пор, пока не вырастим полноценного советского человека-труженика.

Они приехали домой с Кировым уже около девяти. Эта была другая сталинская квартира в Кремле. Ту, в которой застрелилась Надя в ноябре 1932 года, он отдал Бухарину. Не мог в ней жить. А Бухарина эти воспоминания не мучают. Чего он зацепился за Бухарина?.. «А-а!» — вдруг промычал Коба. Он вспомнил, как в дневной перерыв перед обедом случайно натолкнулся на одну неприятную сценку: Бухарин обнимал Кирова и что-то ему нашептывал на ухо. Нежно так за плечико обнимал и сиял всем лицом, к Кирову обращенным. Это и резануло. И настроение испортилось. И за обедом он сидел мрачный. Через полчаса появился Киров, стал извиняться, что запоздал, но о разговоре с Бухариным ни слова. Вот о чем они так долго говорили?

И вечером, когда провожались, Бухарин с чувством жал руку Кирову, явно напрашиваясь к ним в

гости барашка покушать. Если б Сталин позвал — вприпрыжку бы побежал. Но Сталин не позовет. Никогда. Пусть радуется, что из списков кандидатов в члены ЦК его фамилию не вычеркнул. Пусть немного погарцует и крылышки распушит. А Сталин опять их подрежет. Теперь уж не выпустит. Киров человек деликатный, он знает о распрах Кобы с Бухариным и тоже не позовет его в гости. Но в душе, наверное, хотел бы позлословить с Бухариным...

Сталин даже остановился, осознав всю опасность такой ситуации, но Киров, идя впереди, уже весело болтал о чем-то с Ворошиловым. «Нет, Киров так не думает. Мой Киров не может так думать», — пронеслось в голове. Коба взглянул на Паукера, шедшего с ним рядом. Встретившись взглядом с сияющей рожей Паукера, Сталин усмехнулся.

— Что у тебя чертики из глаз все время лезут? — недовольно спросил Сталин.

— А потому, что я чертов сын, — не задумываясь ответил Паукер. — На чертовой мельнице родился. Вот от меня черти и шарахаются!



Каролина Васильевна Тиль, экономка Сталина, к их приходу уже накрыла на стол. Поскребьшев позвонил, оповестил: Хозяин выехал. Она знает — к его приходу стол должен быть накрыт, горячие закуски разогреваться, чтобы он пришел, надел мягкие удобные бурки, помыл руки — и к столу.

На столе стояли две бутылки «Киндзмараули» и запотевшая водка в графинчике. Киров любил выпить пару рюмок водки под огурчики да грибки. Сталин всегда держал в доме русские разносолы, чтоб не говорили, будто он предпочитает только грузинскую кухню, и пореже вспоминали ходячую ленинскую острогу, будто этот повар любит острые блюда. Для него делают и сациви, и лобио, и шашлыки жарят, или как сегодня — жаркое из молодого барашка. Но рюмку водки, особенно с морозца, как сейчас, действительно лучше закусить соленым хрустящим огурцом или маринованным белым грибом. И не потому, что по-русски так принято. Так лучше на сердце ложится. Рядом с грибками стояла и тарелка с «габельбиссен» — немецкой селедкой в нежном винно-горчичном соусе, которую Коба за один присест мог съесть килограмма полтора, а наутро вставал с заплывшими глазами. Коба и раньше любил селедку. Будучи еще обыкновенным подпольщиком, он закатывал себе такой пир: покупал в лавке пару селе-

док пожирнее, с икрой, брал две крупные луковицы, уксус, полбуханки черного хлеба, и все это жадно съедал, обмакивая куски селедки в уксус. Эта привычка осталась и когда он стал вождем. Паукер, застав его однажды за такой «пирушкой» и проглотив кусок селедки с уксусом, выпучил глаза и чуть не помер от такой адской смеси. Через несколько дней он подсунил ему несколько баночек «габельбиссен». Коба проглотил их за десять минут и потребовал еще. Паукер побледнел.

— Мне надо их заказывать, — пробормотал он.

— Так пошли машину! — потребовал Коба.

— В Германию? — спросил Паукер, и Сталин, разгадав мертвенную бледность на его лице, рассмеялся. Он всегда предупреждал Карла: для начальника личной охраны Сталина не может быть такого слова: не могу! Он обязан делать невозможное. И вот теперь Паукер попался.

— Тогда проследи, чтоб эта селедка была только на моем столе, и наркомат торговли ее не закупал! — потребовал Хозяин.

И члены Политбюро, кого он зазывал к себе в гости, приходя к нему, первым делом спрашивали: «габельбиссен» есть? Все распробовали с легкой руки Кобы, который позже снисходительно разрешил снабжать селедкой «габельбиссен» и отдельных членов Политбюро.

Иногда, чтобы поддержать веселье, Коба приглашал за стол и Паукера, тот умел веселить кремлевскую публику, но сегодня Кобе захотелось остаться наедине с Кировым, и он отпустил охранника проветриться к его балеринкам. И опять же этот подлец Паукер приучил почти все Политбюро к Большому театру и только оттуда поставлял девочек Калинин, Енукидзе, Ворошилову. Последний настолько потерял голову, что для своей любовницы балерины от-

грохал виллу, третью по счету, и теперь ездил забавляться с ней туда. Зато Паукер был в курсе всех новостей и сплетен и заменял подчас для Кобы весь аппарат ОГПУ.

Они сели с Кировым за стол, и Коба тоже выпил рюмку водки, ощущая, как тепло постепенно начинает разливаться по телу. Он по-прежнему не спрашивал, о чем Киров секретничал с Бухариным, ожидая, что Сергей сам расскажет.

— А ты уже тронную речь готовишь? — разливая по второй и запасаясь закусками, спросил Киров. — Я видел, головы не поднимал.

— Это мне Ягода срочную работенку подбросил... — усмехнулся Сталин. — Вот и смотрел, как бы ребенка с водой не выплеснули...

Киров нахмурился.

— Я, конечно, согласен с тобой, что по мере развития социализма классовая борьба не только не затухает, а наоборот, усиливается, но вот нужно ли по любому поводу подключать к исправлению ошибок отважных бойцов ОГПУ? — неожиданно спросил Киров. — Ну, где принципиальные вопросы экономики, промышленности, тут, я понимаю, ошибки стоят дорого и наказывать надлежит сурово. А наши философы или историки, процессы над которыми твой Ягода устраивает, это как?

— Снова жалились тебе твои академики?! — ядовито заметил Сталин.

— Дело не в Платонове, о котором мы спорили, а в самом принципе! — простодушно заметил Киров. — Может быть, поставить для себя какой-то заслон. К примеру, культуру или науку не трогать...

— А что делают с человеком, заболевшим дифтерией или чумой? — спросил, хитровато щурясь, Сталин и, не дав Кирову ответить, сам закончил свою мысль: — Зараженного чумой не спрашивают: ты

кто? Языковед или политик?.. Его просто изолируют, так? Чтоб не заразил остальных. И если надежда есть, его лечат. А если невозможно лечить, то сжигают, чтобы зараза не захватила остальных. А если оставим тифозного лишь потому, что он большой историк, то он может заразить и политика, и экономиста. Вот у тебя, на Беломоро-Балтийском, разве была разносортница? Тут историки, а там генералы?! Всех больных лечат в одной семье! Строительство канала дало поразительные результаты в этом плане! Вспомни! Люди были охвачены энтузиазмом, делали по две нормы в смену, организовывали соревнование бригад, вот где мы увидели наконец настоящий социализм!.. Я вчера с Горьким говорил, он вспоминал, какое впечатление поездка на Беломоро-Балтийский произвела на бригаду писателей, они книгу выпустили, а драматург Погодин даже пьесу написал. Называется «Аристократы». Название мне не понравилось, но Горький говорит: хорошая пьеса. Там герои — твои строители, заключенные, отбросы общества, и труд превращает их в аристократов духа, так он мне объяснил. В этом году, говорит, будет поставлен спектакль, посмотрим. Побольше бы нам таких строек и таких аристократов духа выковывать. Мы тогда всех капиталистов за Можай загоним! — Сталин рассмеялся.

Киров всегда завидовал этой сталинской убежденности, точно он никогда не знал сомнений в своей жизни. Вот и сейчас Коба легко разбил доводы Кирова и доказал правильность абсурдного, на первый взгляд, принципа: принудительный труд воспитывает аристократов духа. По марксизму, всегда было наоборот: приветствовался труд свободный. Но Киров не хотел ввязываться в спор с Кобой. Последний во всех спорщиках сразу видел врагов, и доказать что-то ему было невозможно.

Киров поднял рюмку и провозгласил тост, чтобы все враги Кобы сразу же сдохли после последней капли, которая выльется из этой рюмки. Сталин засиял, засмеялся, брызнули радостные лучики из его глаз. Он очень любил этот тост.

— Спасибо, дарагой! Но пусть немножко-немножко останется этой заразы, иначе жизнь потеряет смысл: не с кем будет бороться! И чтобы у тебя до конца твоих дней оставался один ма-а-аленький явный враг, но с большим револьвером в руках и чтобы этот враг постоянно стрелял в тебя, но пули пролетали мимо и все попадали в твоих скрытых врагов! — Сталин всегда после любого тоста говорил свой, за который все в конце концов и пили, независимо от того, кто первый начинал говорить за столом.

Они чокнулись и выпили. У Кобы румянец появился на щеках. Он расстегнул пуговицы военного френча, под которым был глухой, до горла жилет такого же мышинного цвета.

— Странная жилетка, — взглянув, удивился Киров. — Без пуговиц. Сейчас модно такие носить?

— Очень модно, — усмехнулся Коба, — потому что это бронежилетка.

— Что, настоящий бронежилет? — Сергей Минович даже поднялся из-за стола и подошел к Сталину. Потрогал, погладил поверхность жилета. — И какой удар выдерживает?..

— Если будут бить из пушки, то поразят товарища Сталина, — улыбнулся Коба. — А пули ему не страшны.

— Тонкий какой! И тяжелый!

— Немцы, проклятые, делают! Вот что за нация?! Все умеют! — вздохнул Сталин.

— И как ты целый день ходишь, тяжело ведь! — посочувствовал Киров.

— А я стараюсь больше сидеть, — усмехнулся Коба.

— Сейчас хоть сними, плечи отдохнут!..

— А вдруг ты вытащишь револьвер и захочешь убить своего старого друга? — полушутя-полусерьезно сказал Хозяин.

Киров понимал, что это всего лишь грубоватая сталинская шутка, но рассмеяться не мог: глаза Кобы жгли его не шутливым, а взаправдашним огнем подозрений. Коба сам понял, что перегнул палку, и поднялся.

— Конечно, сниму, дарагой! Просто забываешь, что ходишь в этой штучке, — Киров помог Кобе снять ее, уложить на диван. — Ничего, я Паукеру скажу, он и тебе такую достанет. Карлуша все может. Тебе особенно надо, ты же любишь у нас на заводах, в цехах выступать, одного несчастного случая на заводе Михельсона нам хватит. Второго не надо!..

Как-то, подвыпив, Коба проговорился Кирову, что Фанни Каплан вовсе не стреляла в Ленина. Организовывал покушение командир боевого летучего отряда правых эсеров Семенов, а руководил им Авель Енукидзе по распоряжению Свердлова. Фанни была дежурной в тот вечер. В ее обязанности входило узнать, не выступает ли Ленин, и доложить об этом районному уполномоченному, что она и сделала в тот вечер 30 августа 1918 года. Стрелял в Ленина Протопопов, бывший начальник контрразведки левозеро-вского отряда Попова. Его взяли еще 7 июля и должны были расстрелять, но оставили для всякой деликатной работы. Он был прекрасный стрелок и должен был ранить Ленина, едва задев кожу. Положение тогда становилось угрожающим: в советах сидели эсеры, большевики теряли влияние в народе, сочувствие пролетариев и беднейшего крестьянства. Был архинужен толчок к сплочению масс вокруг пар-

тии и оправданию красного террора, который не прекращался с первых дней революции, усугубляя и без того плачевное положение большевиков. Протопопов же, видимо от волнения, чуть не убил вождя. К счастью, все обошлось, 3 сентября Ильич уже был на ногах, но одна из пуль попала в шею и застряла в нескольких миллиметрах от сонной артерии. Протопопова через два часа шлепнули. Расчет же Семенова оказался точен. Каплан все взяла на себя. Правда, Свердлов, чтоб не испытывать судьбу, уже 1 сентября забрал Каплан из ВЧК и перевез в Кремль, а 3-го комендант Мальков самолично ее застрелил и сжег тело.

И надо сказать, Свердлов в первый раз заставил Сталина себя уважать: покушение на Ленина всколыхнуло массы, прибавило сочувствия к большевикам, и они, висевшие на краю пропасти, выкарабкались, сохранили власть и теперь победили.

Киров всю ночь не спал, потрясенный рассказом, он знал, что Семенова не только реабилитировали на процессе правых эсеров в 1922 году, что само по себе было удивительно: главарь боевиков, организовавший убийство Володарского, Урицкого и покушение на Ленина, вдруг оказывается на свободе. Больше того, Киров встретил Семенова через месяц в санатории ВЦИКа. Он загорал, купался и чувствовал себя как победитель. Орджоникидзе тогда сказал Кирьчу: «Он у Дзержинского работает и был подсадным у Гоца и Чернова». Наутро Сергей Миронович стал расспрашивать у Кобы об этой истории, но Сталин махнул рукой:

— Не забивай себе голову! Это всего лишь легенда. Меня тогда в Москве не было, а Свердлов в начале девятнадцатого умер от испанки. Енукидзе, старый черт, божится, что ничего не знает, а арестовать Семенова и держать под «секретом» ему велел

Свердлов. Кингисеппа, человека Свердлова, кто конечно же был в курсе, поскольку возглавлял следствие, расстреляли эстонцы в двадцать втором. У Каплан же в сумочке обнаружили браунинг, но он был чист, из него не стреляли, да и несколько свидетелей показали, что стрелял мужчина, а не женщина. И Ильич, обернувшись, видел мужчину, то есть Протопопова, так что... — Сталин вздохнул, задумался. — Кто бы ни покушался, это было сделано вовремя. Когда убивают партийного вождя, то потом под это преступление можно легко подвести своих личных врагов и расправиться с ними, что Ленин и сделал в двадцать втором, вычистив из Республики последний эсеровский дух. Больше драться за власть было не с кем. Разве что со своими, что мы и продолжили после Ильича...

Киров вспомнил эту историю, когда Коба упомянул про завод Михельсона, где 30 августа скорее всего Протопопов стрелял в Ленина. А о том, что Каплан невиновна, Кирову говорили многие.

— Положение у нас с продовольствием неважное, — заметил Киров. — Мы требуем от рабочих темпы, и такие, что капиталистам не снились, а кормим хуже некуда. Я только тем и занимаюсь, что объясняю им наши продовольственные трудности. А как все это объяснить человеку, который у станка в голодный обморок падает?

— Да, хлебный вопрос — тяжелейший сейчас, — согласился Сталин. — Урожайность упала на три центнера с гектара, а во многих районах засуха. Вот кто виноват? Господь бог? Но если мы будем объяснять народу, что боженька нам дождей не дал, рабочий нас не поймет. Он справедливо скажет: с господом мы и без вас проживем, зачем вы нам нужны и какие вы руководители. А если мы придем к людям

и скажем: вас оставили без хлеба Зиновьев и Бухарин — это я к примеру, — мы их накажем, поставим другого человека, и хлеб будет. Тогда люди согласны будут немного поголодать, зная, что партия все видит, она беспощадна к врагам, и, истребив их, партия всех накормит. Надо рабочим так и говорить: расправимся с врагами — будет масло, хлеб и икра!

Сталин замолчал, раскуривая трубку, и сладко затаился, внимательно глядя на Кирова. О чем все же Киров говорил с Бухариным?.. Сталин специально упомянул это имя, но Киров даже бровью не повел. Старый конспиратор. Сталин не против, чтобы Киров говорил во время перерыва с Бухариным. Но последний способен на всякие подлые разговоры. Киров же простодушен, наивен и ему можно все внушить. Сталин боялся за Кирова. Он чувствовал, что с ним в последнее время что-то происходит, что-то его мучает. Но что?..

Они сблизились полтора года назад, когда застрелилась Надя. И тут опять примешался Бухарин! В каждой бочке затычка! 7 ноября 1932 года они собрались у Ворошилова отметить пятнадцатую годовщину Октября. Накануне Коба крепко поругался с Надеей. Она училась в Промакадемии и в последнее время стала задирать нос, критиковать его за неверные методы партийного руководства, оправдывая критику тем, что остальные члены Политбюро на нее уже не способны. И она вдруг разразилась пространной тирадой о том, что они, подразумевая Сталина и его Политбюро, разорили русского мужика, уничтожили самый плодородный слой крестьянства — кулака и середняка. Ибо только тот, кто умел трудиться, кто нажил своим потом и кровью богатства, он-то и мог помочь новой власти стать крепче. А голытьба, которая лодырничала и ничего не нажила, она и при

любой власти работать неспособна. Партия же, ошибочно сделав ставку на бедноту, искоренив кровавым путем зажиточного земледельца, привела страну к голоду. И как этого можно сегодня не понимать, не видеть, когда люди в деревнях мрут как мухи, уму непостижимо. И плоды этого бездумного варварства еще сторицей воздадутся нашим детям и внукам.

Она выговорила все это в запальчивости, видимо, долго копила в себе гнев. Надя бросила ненавистные Сталину слова о зажиточном кулаке прямо в лицо, и он закричал: «Заткнись или убью тебя!» Схватил пепельницу с окурками и запустил в жену. Надя увернулась, пепельница пролетела мимо и ударилась о стену. Коба оделся и ушел из дому. Долго бродил по двору, встретил Клима, тот затащил к себе. Они выпили по рюмке.

Раздумывая над своим припадком злобы, Сталин понял, чем он был вызван. Не столько гневными речами жены — этих дискуссий он уже наслушался в конце двадцатых, сколько бабьей глупостью собирать повсюду грязные сплетни и верить любому мужику, кроме мужа.

Недели две спустя, приехав на дачу в Зубалово, Коба неожиданно застал там Бухарина. Он гулял с Надей по парку под ручку и что-то взволнованно ей наговаривал, а у Нади уже слезы блестели на глазах. Коба тогда не знал, что ей шепчет этот бывший «любимец партии», чувствовал лишь, что нашептывает гадости про него, торопится выложить их до его приезда. Сталин побелел от злости, подошел к Бухарину, остановил его — Надежда ушла сразу в дом, видимо, чтоб с ним не встречаться, — и проскрежетал зубами: «Не трогай! Убью!»

— Ты что, с ума сошел, Коба? — испугался Бухарин.

Он подумал, что виной всему ревность, и стал говорить, что у него даже мыслей никогда таких не бывает. Коба не стал ему объяснять, по какому поводу он пришел в ярость, тем более что Бухарин стал рассказывать о своей поездке по Украине и о тех жутких картинах голода, которые он наблюдал. Вспухшие детские животы, отчаянные глаза, слезы, вой матерей. Люди едят друг друга, разную падаль и умирают сотнями в день. Он роздал голодным мальчишкам все свои деньги, что были.

Бухарин не говорил, кто виноват, но и без того было ясно, что виноват он, Сталин, он не послушал Бухарчика, до хрипоты защищавшего кулака, не послушал мудреца партии, решил идти своим путем и теперь пожинает страшный урожай последствий. Все это в еще более ярких красках он, видимо, напел и Наде, испоганив ее впечатлительную душу своими мерзкими рассказами.

И на вечеринке у Ворошилова 7 ноября Сталин все время пытался заигрывать с Надей. То кинул в нее шкуркой от мандарина, то, разозлившись, бросил окурком. Она даже не смотрела в его сторону, нарочно не замечая эти оскорбительные выпады. Тогда Сталин стал заигрывать с женой одного из военных, Гусева, красивой, яркой блондинкой, скатывая хлебные шарики и бросая в нее. Белокурая красавица смеялась, защищаясь ладонью, и строила Кобе глазки. Начались тосты: за пятнадцатую годовщину Октября, за великий Советский Союз, за Сталина, вдохновителя всех трудовых побед. Все поднялись, потянулись к Кобе, одна Надя осталась сидеть за столом, глядя в сторону.

— Эй, ты, пей! — сказал ей Сталин.

— Я тебе не «эй»! — резко ответила Надя, поднялась и ушла. Полина Жемчужина бросилась за ней. Потом она вернулась, сказала, что Надя успокоилась,

пошла домой. Но Сталин был уже взбешен. Так жестоко оскорбить его при всех, и все из-за того, что она, видите ли, не согласна с политикой партии по отношению к крестьянству! Вся страна согласна, а она одна не согласна. Гусев, муж красотки, с которой кокетничал Сталин, ушел на дежурство, его жена-блондинка смотрела на него дерзко и призывно, а Коба в тот вечер выпил больше, чем следует.

И он повез Гусеву на дачу в Зубалово. Ему захотелось отомстить Наде, преподать крепкий урок строптивой жене, и все. Он и к Гусевой-то не прикоснулся. Отправил ее спать наверх, хоть она и пыталась повиснуть у него на шее, выпил еще бокал вина и заснул как убитый. Часа через два позвонила Надежда Сергеевна. Дежурный, поднявший трубку, сообщил, что товарищ Сталин на даче и отдыхает.

— Кто с ним? — спросила Аллилуева.

Дежурный выдержал паузу, но соврать не смог:

— Жена Гусева...

Надежда Сергеевна положила трубку. Она давно уже думала о самоубийстве. Терпеть грубые выходки мужа у нее уже не было сил. Люди, которых она уважала, относились к ней с сочувствием. Тот же Бухарин, хоть и не говорил впрямую ничего о Сталине, опасаясь его мести, но смотрел на нее с такой грустью и тревогой, что у Надежды Сергеевны разрывалось сердце. Старые знакомые при встрече с ней натянуто улыбались и старались побыстрее расстаться. Ее боялись, потому что она была связана с ним. С его домом, в котором все чаще появлялись скользкие льстивые рожи, наподобие Лаврентия Берии или Карла Паукера. Оба сладкие и подлые до приторности. Ее тошнило от потных подмышек Берии и терпкого одеколону Паукера. Теперь он и Сталина приучил к этому же одеколону.

Развестись Коба ей не даст, а молчать она больше не сможет. И жить с ним. Чаша терпения переполнилась.

Этот звонок на дачу был последней каплей. Она хотела написать обо всем, что у нее накипело, но потом поняла, что он все равно не поймет. И написала лишь одну фразу.

Утром, вернувшись домой, он вошел в спальню Нади, увидел браунинг, подаренный ее братом и валявшийся на полу рядом с кроватью, кровавую дырку около виска. И такая жестокая злость охватила его, что чуть не бросился избивать ее, мертвую. Он даже замахнулся, но взвыла во весь голос Каролина Васильевна, стоявшая за спиной, и этот вой отрезвил его. На тумбочке возле кровати лежала записка. Сталин развернул листок, на нем рукой Нади была нацарапана всего одна фраза: «Надо быть воистину гениальным человеком, чтобы оставить без хлеба такую страну, как Россия». Сталин смял листок, отбросил в сторону и вышел. Потом он вернулся, чтобы подобрать его, но листок бесследно исчез. В спальне, узнав о несчастье, за этот час побывали четверо: Енукидзе, Жемчужина, Каролина Тиль, их домработница Корчагина, которая через две недели спятила и стала всем под большим секретом рассказывать, что это Сталин самолично стрельнул в жену. Коба призвал ее к себе и спросил: зачем она распространяет такие лживые страшные сплетни?

— Я сама видела, как вы выстрелили ей в висок, спящей... — прошептала домработница, не мигая глядя на Сталина.

Пришлось отправить Корчагину на Соловки. Но каждый из них мог подобрать тогда ту записку.

Обиднее всего было то, что жена даже после смерти плюнула ему в лицо, как бы напомнив слова Бу-

харина о полицейско-фельдфебельском произволе, который якобы творит Сталин по отношению к крестьянам. Это были совсем недавние обвинения Бухарина, брошенные им Сталину. Но после той стычки Сталин не позволил ему невредимым выйти из боя. Бухарин проиграл. Его выкинули из Политбюро, членов ЦК, но через три года он через Надежду жестоко отомстил Кобе. И после всего вождь отдал ему свою старую кремлевскую квартиру, а теперь даже оставил его фамилию в списке кандидатов в члены ЦК. Просто Коба знал: их поединок еще не закончен.

5

Никто не догадывался, какой это был болезненный удар для Сталина. И как тяжело ему было выходить из этой боли. Надежда поразила его в самое сердце: никто не мог сделать ему больнее. Она отреклась от него, как от прокаженного. Отреклась от своей любви к нему, отреклась от детей, которых родила от него. Ибо женщина может бросить мужа и найти другого, но женщина не имеет права бросать детей. А тут получалось, что ей стали противны даже его дети.

И в этот страшный миг жизни Кобы появился Киров. Улыбка во все лицо, восторженное сияние голубых глаз, крепкое рукопожатие. У Сталина аж дух захватывало: все косились на него, как волки, один Киров смотрел, как прежде, в семнадцатом, когда они познакомились, голубиным взором. Киров увидел, как Сталину тяжело, и старался развеселить его. Он даже вытащил его на охоту, все время шутил, подбадривал, говорил о его природной силе и мощи, о том, как он любит Кавказ и кавказских людей, от которых он никогда не терпел ни злобы, ни коварства и у кого он выучился мудрости. Это был такой миг, когда Сталину понадобился друг. Такой, чтобы можно было поговорить обо всем. О Наде. О женщинах. О врагах. От Кирова исходили искренность и простота, каких Коба давно уже не видел в своих соратниках. Нет, он не был агнцем среди них. 500

тысяч заключенных решительной волей согнал он на свой Беломоро-Балтийский канал, и сколько в первые годы людишек повымерло, пока бараки построили да утеплили, — не сосчитать. Север все-таки. Но вот поди ты, словно кровь к нему не приставала, и вины будто никакой за ним не было: смотрит на тебя, как дитя новорожденное.

Они вместе ходили в баню, парились, Киров клал его на лавку и мыл все тело, старательно, нежно, заботливо. Жена никогда этого не делала. Намылив, он мял Сталину шейные мышцы, продольные спинные, мял и объяснял, почему это делает. Мышцы устают, их надо распарить, размять, они будут лучше работать, лучше будет кровоток, легче сердцу. Коба любил слушать такие разъяснения. И после мытья Сталин чувствовал себя, как пушинка, легким и невесомым. Сходив в баню, они непременно выпивали по рюмочке водки. Киров напоминал ему фразу Суворова: «После бани продай последние штаны, но выпей!» Сталин, в первый раз услышав эту присказку еще в Туруханске от мужиков, расхохотался, он и не знал, что ее придумал Суворов.

— Надо сказать нашим киноартистам, пусть сделают фильм о Суворове! — сказал Сталин.

— Почему о Суворове, надо о всех русских полководцах, начиная с Александра Невского! — заметил Киров.

Сталин поддержал. Они потом часто ходили с Кировым в баню. Сталин ни с кем больше не ходил в баню, а перед Кировым он не стеснялся обнажать свое тело, показывать высохшую левую руку. Они болтали о бабах, о том, что Сталину не надо унывать, он еще молодой жених на выданье, а вот Кирову в этом смысле не повезло. Жена, Мария Львовна Маркус, все время болеет и говорит с ним только о лекарствах и врачах, и он оказался соломенным холос-

тяком. А натура — дура, требует свое! Они хохотали, смеялись, пили вино, болтая, как мальчишки, о всяких пустяках.

— Каганович мне свою племянницу сватает, Розу, — доверительно признавался Коба. — Что делать?

— Хороша племянница? — подмигивал озорно Киров.

— Хороша, — вздыхал Сталин. — И красива, и телом фигуриста, и на все готова даже до свадьбы.

— А зачем тогда жениться? — смеялся Киров.

— Каганович хочет, но меня смущает, что она еврейка, — вздыхал Коба. — А Лазарь мне говорит: у всех наших жены — еврейки: у Молотова, Кирова, видишь, тебя уже приплетает, стервец!

— Разве в этом дело, Коба? — перейдя на серьезный тон, сказал Киров. — У тебя же двое детей от Нади, примут ли они мачеху, вот о чем надо подумать. Думаю, вряд ли. Был бы ты один, какая разница — еврейка она или русская.

— Молодец, я так Кагановичу и скажу! А то он решил на меня свой хомут накинуть, да шиш ему! Тут недавно один делегат съезда с Сахалина спросил: правда, что у Молотова жена еврейка? Я отвечаю: у нас все нации равны, какое это имеет значение? Он мне говорит: да это понятно, что равны, но вот еврейка у него жена или нет?!

Киров так расхохотался, что и Коба не удержался от улыбки. Сталину нравилось, как Киров смеялся: так заразительно, что и самому хотелось. Может быть, поэтому Сталин и тянулся к нему, любил с ним разговаривать, болтать о пустяках и советоваться о серьезном, о своих проблемах, например, что делать с Зиновьевым и Каменевым, с Бухариным и вообще со всеми оппозиционерами. Он, никогда не имевший друзей, точно впервые за все это время обрел насто-

ящего и преданного друга. Не придурка Клима, способного только водку пить да песни орать, а очень нежного и заботливого брата.

Клим никогда не скажет: «Коба, завяжи шарф потуже, на улице сильный ветер!» А Киров не просто скажет, а подойдет и сам шарф поправит, зная, что левая рука Кобы почти бездействует. И сапоги Кирыч поможет натянуть, не стесняясь, что какой-нибудь Бухарин его сталинским лакеем окрестит. У Кирова это никогда не походило на раболепство, это был истинный дружеский порыв. Поэтому с тех пор Коба очень дорожил этой дружбой и, конечно, помужски ревновал Кирова к другим. Особенно к Орджоникидзе и уж лютой ревностью к Бухарину. К Серго еще не так, Серго был свой, а вот Бухарин для Кобы всегда оставался врагом. А врагу и колючего снега жалко.

Их разговор за столом снова перешел на съездовские дела, Киров, вспомнив одно из выступлений, заговорил о тяжелом положении Ленинграда, где он был не только первым секретарем обкома партии, но и руководил всем Северо-Западным регионом. Ленинград — флагман пятилетки, а реконструкция на Путиловском тянется уже несколько лет, нет денег. Зато один за другим строятся новые заводы. Зачем? Когда стоит перевооружить Путиловский, что гораздо легче и быстрее, и отдача будет в два раза больше.

Сталин кивал, делая вид, что соглашается с Кировым. Но он не любил Ленинград. Как не любил и Петербург, потом переименованный царем в Петроград, но еще не с такой силой, как потом невзлюбил Ленинград. С Петербургом была связана всего лишь одна неприятность: полковник Еремин из петербургской охраны быстро пронюхал, что Сталин, еще будучи послушником Тифлисской православной семинарии и состояя в подпольной социал-демократи-

ческой организации «Месаме-даси», одновременно подрабатывал и в охранке, которая, заботясь о своих сексотах в материальном отношении, а с деньгами у Кобы всегда было туго, помогала им и расти по партийной линии. У Еремина накопилось солидное дело на Кобу, в подробностях был представлен бакинский период, и Сталин запираяться не стал. Он подписал заявление о сотрудничестве, но сотрудничать с Ереминым не собирался, потому что знал: добром это не кончится. Еремин говорил с ним мягко и доверительно, нежно улыбаясь голубыми глазами и рассказывая историю о выдаче Сталиным охранке Степана Шаумяна, известного армянского революционера.

— Это была неплохая ваша работа, но грубоватая, мы будем работать тоньше, и я сделаю из вас настоящего дьявола, настоящего!.. — почти пел Еремин, и Сталин даже вспотел. Когда его прошибал настоящий страх, он всегда потел. Капля покатилась от шеи по спине вниз, и рубашка через минуту взмокла. Полковник не торопился, он пил чай с яблоками и улыбался, как ангел. Сталину понравилась эта манера ведения разговора: улыбаться и говорить страшные вещи. Он впоследствии незаметно для себя перенял ее, отмечая, как люди сразу теряются и попадают впросак.

А Ленинград он не любил по двум причинам. Потому что он Ленинград, напоминавший ему своим названием о том, кто не любил его, привечая этих еврейских выскочек Троцкого, Свердлова, Каменева, Зиновьева, Бухарина. Последний, конечно, не еврей, но натурой в них — такой же умник и задавака. А после переезда правительства в Москву в Петрограде стал заправлять Григорий Зиновьев. Через несколько лет благодаря террору полностью подчинивший себе этот чопорный и, казалось, нико-

му не способный подчиниться город. И именно Зиновьев по сей день метил в вожди, он единственный после высылки Троцкого был способен захватить власть и повести страну за собой.

«Любимец Ильича, мать его так!» — выругался про себя Сталин. Вслух он не любил ругаться матом. Сталину нужны были головы Зиновьева и Каменева. Их обоих. И голова Бухарина. Но в этой тройке верховодил Зиновьев, а компромат на Зиновьева можно было найти, арестовав его ленинградскую свору. Списки зиновьевцев в Ленинграде были составлены еще полгода назад специальной комиссией, назначенной Сталиным. Название этого дела придумал он сам: «Свояки», и всех зиновьевцев аккуратно подтянули к Троцкому и его контрреволюционной деятельности.

Осенью тридцать третьего ленинградское управление ОГПУ направило список зиновьевцев в обком партии для согласования вопроса об их аресте. В списке были две важные для Сталина фамилии: Румянцев и Левин, но Киров не дал их арестовать. Больше того, он лично хотел переговорить с Румянцевым, а значит, предупредить его. Зачем? Чтобы тот сжег компрометирующие материалы?

Ягода показал Сталину досье на Румянцева Владимира Васильевича: член партии с двадцатого года, участвовал в гражданской войне, с двадцать второго года член губкома комсомола, потом его первый секретарь. Делегат Тринадцатого и Четырнадцатого съездов партии, активный участник «новой оппозиции», за участие в ней в двадцать седьмом году был даже исключен из рядов ВКП(б). Написал письмо о выходе из рядов оппозиции и в двадцать восьмом был восстановлен в партии. С апреля 1934 года Румянцев был секретарем Выборгского районного Со-

вета Ленинграда. Он, конечно, знал многое, ибо с двадцать второго года постоянно встречался по работе с Зиновьевым и был его любимчиком. Это Румянцев в начале 1926 года провалил на пленуме губкома комсомола поправку представителей ЦК о признании губкомом правильными решений Четырнадцатого партсъезда, который осудил клику зиновьевцев, и Сталин хорошо это помнил.

Часы пробили 11 вечера, и Киров зевнул, прикрыв рот ладонью: завтра голосование, надо выспаться, а он уже четвертые сутки недосыпает. Киров сказал, что Сталин мучает его разговорами до четырех утра, потому что сам не может по ночам спать. Кирову как руководителю делегации надо перед голосованием провести совещание, настроить людей...

— Падажди, падажди! — с резким акцентом проговорил Сталин. Он, когда волновался, переставал следить за своей речью. — Что тебе нужно переговорить? За что агитировать? За себя? Так ты и так пройдешь, тебя все любят. Если кого и не любят, так это меня. Кое-кого приходится ругать, а с некоторыми и просто прощаться. Мне передают, что говорят старые партийцы: будто Сталин узурпировал власть! Ты слышал?!

— Нет, Коба, у нас так не говорят, — ответил Киров.

— У вас не говорят! — усмехнулся Сталин. — Я знаю, как у вас говорят! Так, что волосы на загривке дыбом встают... Давай выпьем!

Он наполнил бокалы, сам положил Кирову большой кусок нежного барашка, который зажарили для них с зеленью и перцем. Они пили уже «Хванчкару», ароматное сладкое красное вино, ели барашка, смакуя каждый кусочек и похваливая поваров. Сталин любил этот неторопливый ход долгого ужина с хоро-

шим мясом и вином, когда никуда не надо торопиться. «А сон, что сон, на том свете выспимся», — шутил он.

— За что хочу выпить?.. — проговорил Сталин, поднимая бокал. Он увидел в зеркале, стоящем в углу, свое отражение с улыбкой на губах и поймал себя на мысли, что улыбается почти так же, как жандармский полковник Еремин. Только ему никогда не удавалось изобразить свою улыбку доброй, легкой и искренне-сочувствующей. Она появлялась как приклеенная, с мрачным хитроватым проблеском в глазах, даже подозрительная. Но последнего оттенка Сталин сам не замечал.

Капля вина попала на брюки. Сталин сидел в расстегнутом френче, забыв постелить на колени полотенце. «Точно черт под руку толкает!» — подумалось ему. Коба вообще-то был аккуратистом и не любил неопрятности. Эта капля вывела его из себя и заставила нахмуриться. Но, встретившись с добродушным взглядом Кирова, Сталин снова расплылся в улыбке.

— Не знаешь, да?.. — лукаво спросил Сталин. — А я хочу выпить за тех художников, которые создали такой замечательный портрет такого талантливого человека, такого верного друга, какого я бы всегда хотел видеть рядом с собой!.. Талантливые люди были твои родители, пусть им земля будет пухом! И не будем никогда забывать тех, кто сотворил нас с тобой!..

Сталин уже потянулся бокалом к Кирову, но спохватился.

— Ой, не будем чокаться! Помянем! Пусть им будет там царство небесное, как говорила одна замечательная старушка в Туруханске!

— И твоих родителей, Коба! За твою маму, пусть

живет долго тебе на радость! Съездил бы, проведать ее.

— Летом детей хочу к ней отправить, — вздохнул Сталин. — Я ее в Тифлис переправил, определил человека, чтоб за ней приглядывали, семьдесят восемь лет, что ты хочешь, ей старый княжеский дворец выделили. Комнат десять, пятнадцать, я не знаю. Так мне пишут, она залезла в самую маленькую лакейскую каморку и оттуда не выходит. Спит на железной койке без матраца. Ну вот что с ней делать?..

Он махнул рукой.

Они выпили. Сталин положил на тарелку Кирова кусок заливного осетра.

— Коба, я лопну, если съем еще хоть один кусок! — взмолился Киров. — Что ты делаешь?

— Что я делаю?! — возмутился Сталин. — Разве это стол?! Да мой отец от стыда в гробу переворачивается, видя, за каким пустым столом я принимаю своего лучшего друга, своего брата! И не говори, пожалуйста! А ты знаешь, между прочим, что по русским обычаям, когда царь передавал какой-нибудь кусок мяса своему ближайшему боярину, то боярин этот должен был встать, поклониться царю и сказать благодарственное слово, и, уж конечно, обязательно съесть. Я благодарственного слова не прошу, но съесть придется!.. Что смотришь? Не веришь?.. А ты спроси там у своего Платонова, он знает!..

— Его уже нет в живых, — обронил Киров.

Повисла странная пауза, и Сталин нахмурился. «Как будто у Кирова один Платонов в историках числится!» — недовольно подумал Коба.

— Ничего, есть другие, кто все это знает! Я, например, хоть и не историк! — Сталин рассмеялся. — А что там за слухи ходят о том, что надо выдвигать

молодых, что Киров у нас в тени, что его двигать надо на первого секретаря ЦК, а Сталин узурпировал власть и не хочет ею делиться... Нет, слово какое нашли, а?! Узурпировал! А тут вижу: мой Киров стоит в обнимку с Бухариным. Думаю, э, брат что-то тут не то! Если уж мой брат стоит в обнимку с Бухариным, значит, я действительно власть узурпировал, а?!

— Коба, ты знаешь, как я к тебе отношусь! — обиженно проговорил Киров.

— Знаю-знаю, — примирительно сказал Сталин и процитировал: — «Принять к исполнению как партийный закон все положения и выводы отчетного доклада товарища Сталина» — так ты выразился в своем слове на съезде. Это хорошо. Я даже последнее слово брат не стал. Подумал: мой брат хорошо сказал. Это были лучшие слова! А все эти похвалы: «гениальный», «знамя народов», это мне не понравилось. Нет, конечно, приятно, что мой брат назвал меня самым гениальным человеком всех эпох и народов. Приятно, но надо быть скромнее. Потому что и до меня были замечательные люди! Был Иван Грозный, Петр Первый, наш Ленин был наконец...

Сталин задумался, стал раскуривать трубку.

— Ты осетринку еще возьми! А то обидишь, слушай! Специально для тебя с Волги привезли, а ты не кушаешь!.. И хренок возьми, кушай!..

Сталин уже захмелел, но, как ни странно, этот хмель отражался только на его речи. Глаза же следили за всем пристально и цепко.

Киров вздохнул и стал есть осетрину. Сталин снова наполнил бокалы.

— Я сегодня все чаще Ильича вспоминаю... Мы с ним ругались много, я спорил иногда до хрипоты, но сегодня честно скажу, вот как на духу: все его заветы никто так не исполняет, как я! Прямо слово в слово.

Если б он был жив, то порадовался бы! Я бы ему показал: вот твои слова, вот что я сделал. Вот твоя мысль, а вот я ее воплотил!.. Мы с ним тоже были одно время, как братья. Нас эти Давидычи все время ссорили. Вертелись вокруг него, как змеи ядовитые, и нашептывали: «Сталин — хам, Сталин — грубиян!» А потом меня встречали, в глаза улыбались и похвалы возносили! Ненавижу! Ну да ничего, главное — дело. А дело будет!.. Поэтому я и не хочу, чтоб они вокруг тебя хороводились. Оглянуться не успеешь, как окрутят, оболгут, обвертят, что за люди!.. Ты слышал, как Каменев ужом извивался? Сравнил меня сначала с Энгельсом, потом с Лениным, потом с Марксом, а потом со всеми вместе. Я бы даже порадовался, если б это было искренне. Но ведь лгут, сволочи! Комедию ломают, потешаются!..

Сталин дернул желваками, злые желтые огоньки блеснули в глазах. Налил себе вина и залпом осушил бокал.

— Бухарин вот решил похвалить меня, а ненависть никуда не спрячешь, назвал меня «фельдмаршалом пролетарских сил, лучшим из лучших». Специально из жандармского лексикона слово подобрал...

— Ты наговариваешь на него, Коба! Когда мы в кулуарах с ним болтали, он искренне восхищался твоими победами, говорил, какую ты гигантскую работу провернул! Империю вспять поворотил!.. — проговорил Киров.

— Не верь! — отрезал Сталин, и жесткие злые искорки снова вспыхнули в его желтых глазах. — Ты знаешь, как он меня в двадцать девятом году обозвал в своем заявлении?! Помнишь ведь!.. Фельдфебелем, который полицейский произвол, видите ли, творит по отношению к крестьянству! А теперь уже повысил

в звании. Фельдмаршалом сделал. Значит, я еще больший произвол творю. И не только против крестьян, но и против пролетариев!..

— Ну, так, Коба, любую похвалу в твой адрес можно наизнанку вывернуть, — заметил Киров.

— Не любую, Кирыч! — покачал головой Сталин. — Видишь ли, Бухарин умнейший человек, тонкий журналист, умеющий чувствовать слово... Это Клим может брякнуть иногда такое, что в ушах треск пойдет, а Бухарин никогда. Он всегда умел выбирать точные слова. И сейчас выбрал точное, с тем же началом: фельд-фебель, фельд-маршал. Чуешь это «фельд»?..

— Не знаю, — помолчав, вздохнул Киров. — Не верится в такое.

— Мне тоже раньше не верилось, — погрустнел Сталин. — Но за семнадцать лет тайной борьбы в партии я такого насмотрелся и наслушался, что поневоле поуменел. Они же все конспираторы, заговорщики, террористы в прошлом. Сыпать шифром для них, как стихи складывать. Они иногда выступают, а я слушаю и ничего не понимаю. Хочешь послушать, что твой Бухарин говорил, я специально записал.

Сталин вытащил из кармана кителя листок бумаги.

— «Мы — единственная страна, которая воплощает прогрессивные силы истории, и наша партия, и лично товарищ Сталин есть могущественный глашатай не только экономического, но и технического и научного прогресса на нашей планете. Мы пойдем в бой за судьбы человечества. Для этого боя нужно сплочение, сплочение и еще раз сплочение. Долой всяких дезорганизаторов!» — прочитал Коба. — Ты чувствуешь здесь подвох?

Киров пожал плечами.

— Ничего не чувствую, Коба...

— Он не глупый, этот Бухарин, он не работает грубо и примитивно, он делает тонко, комар носа не подточит! Вот он начал о стране и перешел к товарищу Сталину, глашатаю прогресса. Так ты и продолжай тогда о товарище Сталине, коли начал! Сказать, что Сталин могущественный глашатай технического и научного прогресса, значит ничего не сказать. И потом почему «могущественный»? И почему «глашатай»? Что, я только трезвоню о нем на всех углах и больше ничего не делаю?

— Но Коба...

— Нет, ты послушай! Сказав эти глупые незначительные слова в мой адрес, я считаю, лишь бы сказать, Бухарин вдруг напористо продолжает: «Мы пойдем в бой...» Кто это «мы»?! В какой бой он хочет идти? Кого он зовет к сплочению? И дальше вдруг заявляет: долой дезорганизаторов! До этого он называл лишь одного человека в своей речи — Сталина. Вот и выходит, что долой дезорганизатора Сталина! Я люблю русский язык и неплохо его знаю. Если бы такое сказал Клим, я бы внимания не обратил. Он лепит все что попало. Но Бухарин знаток не хуже меня, а может быть, и лучше. Он все тонкости языковые знает. Он лучший оратор партии! И что? Я смотрю на его дружка Рыкова, тот даже рот открыл: каждое слово ловит! А потом понял: они шифром переговариваются! И друг другу иной смысл сообщают, совсем не тот, что в словах выражен, а совсем другой! Все понимают одно, а те, кому надо, — другое!

Киров видел, как распалился Сталин, открывая ему эти тайны, и ему стало не по себе. Коба нес жуткий бред, но самое страшное заключалось в том, что Коба в него верил. Но этак кого угодно можно

будет обвинить в контрреволюционной агитации! Тот же Киров, к примеру, будет с трибуны докладывать итоги первого года новой пятилетки, а Сталин может расшифровать их как заговор против него и партии. Коба ждал сочувствия, восхищения его талантом разгадчика, но Киров не мог пересилить себя и сидел с мрачным видом, не зная, что сказать на все это сумасшествие.

— Я вижу, нагнал на тебя страху! — взглянув на Кирова, рассмеялся Сталин. — Ничего, пока я с тобой, Кирыч, нам эти шифровщики не страшны! Мы их быстро расшифруем и сдадим куда нужно!.. Я тут принял решение: ты становишься секретарем ЦК и переезжаешь в Москву. Хватит уже болтаться в своем Ленинграде! Вырос ты из региональных командиров, пора страной руководить!..

Сталин разжег трубку и внимательно посмотрел на Кирова.

— Но, Коба, у нас есть единственный партийный вождь — это ты! Я против тебя еще, сам знаешь, птенец желторотый... — испуганно ответил Киров, чувствуя подвох в этом предложении.

— Никакой ты уже не птенец, а крепкий, мощный орлишка! — твердо сказал Сталин. — А потом я — это есть я, никуда я не денусь, но мне нужны надежные, умные помощники! Вдвоем будем руководить. Я — первый, ты — второй, возьмем еще одного секретаря, Кагановича, он покладистый, и в три руки подтолкнем дальше вагонетку социализма! Договорились?..

— Для меня это, Коба, сейчас, как схождение снежных лавин с гор! — порозовев, сказал Киров. — Я даже не знаю, что тебе сказать...

— Ничего пока не говори! Подумай... Но знай, что я уже это решил, и все так и будет, — Коба

довольно улыбнулся. — Квартиру здесь, в Кремле, мы тебе подыщем... — И, заметив его растерянность, усмехнулся.

Это было в духе Кобы: готовить под конец неожиданный сюрприз. У Кирова даже сон прошел, и он не знал, то ли радоваться, то ли огорчаться этому известию.

— По Сергею Мироновичу Кирову теперь будем сверять ход нашей жизни!.. — важно сказал Сталин, цепко наблюдая за настроением друга. — И не думай, что не справишься. Как говорится, не боги горшки обжигают.



Предложение Сталина стать секретарем ЦК да еще переехать в Москву ошеломило Кирова. Конечно, ему было лестно получить такое предложение, но уезжать из Ленинграда он не хотел. Тому было несколько причин. В Ленинграде он чувствовал себя свободнее, хозяином положения: все решал сам, ни от кого не зависел, а став секретарем, пусть и вторым после Сталина, он просто обязан будет советоваться с ним по каждой чепуховине, больше того, соглашаться с ним во всем, жить и действовать по его указке. Он будет вынужден стать сталинской тенью, поддакивать ему, Сталин не любит, когда с ним спорят, придется хвалить его, может быть, даже наушничать, проводить с ним все вечера и опасаться, как бы Коба не заподозрил его в стоворе с кем-либо из членов Политбюро. Нет, у Кирова не было принципиальных разногласий со Сталиным, Кирову многое нравилось в сталинских поступках, даже то, как он решительно покончил со всякой фракционностью в партии, устранив Троцкого, Зиновьева, Каменева и того же Бухарина из активного политического бурления. Тогда, в конце двадцатых, Кирову казалось, что Коба прав: кулак — порождение буржуазной стихии, и он неминуемо потащит всех обратно в капитализм, поэтому его надо уничтожить как классового врага, и железной рукой провести повсеместную коллективизацию. Лозунг Бухарина «Обогащайтесь!», выдвину-

тый им еще в разгар НЭПа, защита богатого мужика на селе как основы хозяйствования — все это было чуждо и непонятно Кирову.

Сталин поначалу и не ругал Бухарина за этот кулацкий призыв, наоборот, он защищал его, ругали другие. Это уже потом Коба припомнил Бухарину «правый уклон», хотя Николай Иванович первым покаялся еще на Четырнадцатом съезде партии и признал свой лозунг ошибочным. Кирову же потребовалось несколько лет, пока он понял одну простую вещь: уничтожив зажиточного крестьянина на селе, они уничтожили не кулака-миroeда, а опытного хозяина, который своим горбом и мудростью заработал полновесные амбары с мукой да вырастил высокоудойных коров, а теперь, уничтожив этих хозяев, растащив их добро, большевики оставили взамен им ленивых голодранцев, которые никогда не только не умели, но и не хотели работать. И стоило бы им всем тогда прислушаться к Бухарину. Если б прислушались, не было бы страшного голода последних лет, который тщательно скрывает Сталин, но о котором хорошо знает каждый районный и областной руководитель, не было бы сегодня нищеты, разоренной деревни, на которую без боли и смотреть нельзя. Они, верные сталинцы, погубили ее, и теперь не хотят в этом признаться. И Киров молчит, потому что молчат все, потому что все виноваты...

После устранения Зиновьева и Бухарина их съезды и пленумы стали тише, спокойнее, монолитнее, и, может быть, это было необходимо. Киров раньше тоже рассуждал, как Сталин: надо заниматься делом, а не спорить, как лучше жить. Но, устранив споры из шумной партийной жизни, они бросились восхвалять Сталина, и нынешний семнадцатый съезд превратился в юбилей одного вождя, ничего нового никто не услышал. Киров понимал, что командовать

всей страной должен один человек. Да Сталин и не отдаст никому власть, поэтому «секретарская команда» создается больше для проформы: вот, мол, у нас тут демократия, мы коллегиально командуем. И остальные секретари ЦК — это его помощники, не более, и становиться таким техническим помощником Киров не хотел.

В последнее время у них с Кобой действительно сложились теплые отношения, но Киров начал уже уставать от сталинской дружбы. Во время приездов Кирова в Москву Сталин разрешал ему жить только у себя, а когда Киров останавливался у Орджоникидзе, Коба немедленно посылал за ним машину, привозил к себе и не отпускал ни на шаг. Киров захотел сходить на балет, Сталин идет вместе с ним. Нужно переговорить с Орджоникидзе как наркомом тяжмаша, Сталин посылает машину и привозит Серго к себе.

Поначалу Кирову даже нравилась такая трепетная дружба. Приезжая домой, он рассказывал жене, как заботливо его опекает Сталин, советуется с ним по пустякам, доверяет ему самые интимные подробности своей личной жизни. Изредка эти подробности даже приводили Кирова в смущение. Однажды Сталин сообщил ему, что у Нади, его погибшей жены, был любовник, и он даже один раз застал их врасплох.

— Как врасплох? — не понял Киров.

— Они целовались, — попыхивая трубкой и глядя в сторону, сказал Сталин. Он был при этом столь спокоен, что Киров решился задать совсем глупый вопрос.

— Ты сам видел?..

— Я не видел, как целовались, — ответил Сталин. — Но я видел, как они шли... Он держал ее за локоть, вот так! — Сталин встал и показал, но

Киров не усмотрел в этом жесте ничего особенного. Он тоже так иногда придерживает некоторых женщин. — Она давно его любила, поэтому и застрелилась... Поняла, что не может принадлежать ему...

Он вздохнул. Это была неслыханная новость. Орджоникидзе сказал, что Коба на банкете у Молотова оскорбил Надю, и она не выдержала. Но сейчас Сталин открывал Кирову совсем иные факты.

— А кто ее... — Киров не мог произнести это слово — «любовник».

— Бухарин, — спокойно сказал Коба, выстукивая пепел из трубки.

— Бухарин?! — изумился Киров.

— А он же помешан на бабах! — заметил Коба, выковыривая остатки табака. — У него было две жены, он их бросил, связался с шестнадцатилетней девчонкой, дочкой Ларина. А до этого Надю обхаживал...

Он стал снова набивать трубку табаком. Киров сидел потрясенный, не зная, верить этому или нет. Это казалось бредом. Он хорошо знал Надежду Сергеевну, она была красивой женщиной, но он никогда не замечал в ней какого-то особого интереса к мужчинам. То, что Коба ее ревновал, было известно многим, но чаще всего его ревность была беспочвенна: достаточно было Наде кому-то улыбнуться или посмотреть на мужчину более пристально, как Сталин уже возгорался ревностью. Но чтоб она целовалась, да еще с Бухариным, такого представить себе Киров не мог. Конечно, Бухарин всегда испытывал расположение к слабому полу, слыл дамским угодником, но не до такой уж степени, чтоб отбивать чужих жен или приставать к ним.

— У меня есть доказательства! — упрямо сказал Коба. — Но сейчас расправа с ним будет выглядеть

как сведение внутрипартийных счетов. Я чуть позже ему отомщу!

Он произнес это так спокойно, что Кирова прохватил морозный озноб. И, встречаясь после этого с Бухариным, он с сочувствием смотрел на этого остроумного, талантливого человека, не знавшего, какая мощная секира занесена над его головой. После этого случая Киров стал уже тяготиться этой дружеской опекой Сталина, а последний точно не хотел замечать этой перемены.

Однажды во время очередного приезда Киров, живя у Сталина, собрался навестить одну даму. Она работала в недавно открывшемся журнале «Огонек» и, приехав на неделю в Ленинград, должна была сделать большой очерк о балете. Их познакомили. Точнее, ей нашептали, что их первый секретарь обкома большой поклонник театра, часто бывает на балетных премьерах, и журналистке захотелось отразить этот факт в статье и выспросить мнение Кирова о ленинградских примах. Журналистка оказалась настойчивой и сумела добиться с ним встречи. Ее звали Эля, Эльвира. Худенькая, подстриженная под мальчишку, ироничная, с горящими черными глазами на смуглом скуластом лице, с тоненькой точеной фигуркой, она сразу же понравилась Кирову, и он предложил ей съездить за город, на охоту. Материал по балету она собрала, и можно было пару дней отдохнуть. Киров надеялся получить отказ, но Эля неожиданно согласилась. Она была достаточно умной женщиной, чтобы не понять, что скрывалось под оболочкой невинного вроде бы предложения: «Давайте-ка съездим на охоту!» Потому что в подтексте звучало иное: «Давай уедем на пару дней за город и побудем вместе» — так было в интонации и во взгляде, и Эля быстро все поняла. Но растерялась она лишь на мгновение — в ней жил дух авантюристки и

пойти на адюльтер с партийным вождем показалось ей заманчивым. Она согласилась.

Киров взял ружье, нужно было соблюдать хотя бы видимость приличий для охранников, хотя и тридцатилетний Лев Фомич Буковский, и пятидесятилетний Михаил Васильевич Борисов, два постоянных его телохранителя, давно работали с ним, хорошо знали привычки и характер Кирова и вели себя пристойно, делая вид, что ничего не происходит.

Все свершилось по принятым законам куртуазности, они оба постарались романтизировать это кружение по осеннему лесу, даже подстрелили двух куропаток и расстались с признаками благодарности друг другу за это неожиданное свидание.

Потом Эля уехала, изредка позванивала Кирову на работу, в основном по деловым поводам, а узнав, что Киров едет по делам в Москву, договорилась с подругой и взяла у нее ключи от дачи. Она так и сказала по телефону: «Хочу угостить теперь вас зимним подмосковным лесом», — хотя Киров без всякого энтузиазма принял ее приглашение. Он еще утром сказал Кобе, что во второй половине дня ему надо навесить одного товарища, и он, возможно, даже у него переночует. Сталин столь ревностно заинтересовался «этим товарищем», что Кирову пришлось все сказать прямым текстом, и Коба был удивлен не столько будущим свиданием Кирова с дамой, сколько тому, что до сих пор ничего о ней не слышал. Кирову даже показалось, что Сталин обиделся. Зато на следующий день он уже сурово отчитывал Кирова за его опрометчивую связь: его Эля дружит с каким-то Двоскиным, а тот явный троцкист, и Киров таким образом ставит себя в двусмысленное положение перед партией. Киров дал Кобе слово, что в дальнейшем будет разборчивее в подобных связях, и Сталин успокоился.

— Если уж так невтерпеж, то мы поможем найти тебе приличную особу для веселых занятий, — усмехнувшись, сказал Коба, дав тем самым понять, что все должно решаться с его одобрения.

И уж конечно, переехав в Москву, став секретарем ЦК, Киров будет вынужден и свои личные дела решать с позволения Кобы, а лишать себя этой отдушины он не хотел. И тому была еще одна причина. Года три назад Киров обратил внимание на молоденькую техсекретаршу из сектора легкой промышленности обкома. Он тогда готовил доклад по развитию легкой промышленности в регионе и постоянно запрашивал у сектора легпрома данные по выпуску одежды и обуви по разным годам. Сектор в помощь Кирову выделил латышку Мильду Петровну Драуле, молодую энергичную женщину с приятным овалом лица и светлыми сияющими глазами. Рыжеватые короткие волосы, открытый лоб, полосатая кофточка с узкой юбкой, подчеркивающие ее крепкую спортивную фигуру, невольно притягивали к ней внимание, когда она стремительно шла по длинному обкомовскому коридору, держа прямо спину, независимая и строгая, как и подобает быть женщине, много изведавшей и знающей себе цену. Но стоило ее кому-то окликнуть из давних знакомых, как улыбка, вспыхнувшая на губах, мгновенно меняла этот неприступный вид, придавая всему лицу то обворожительное очарование, какое никак нельзя было угадать еще секунду назад.

И Киров, познакомившись с ней, даже нашел предлог задержать Мильду Петровну у себя в кабинете подольше, расспросить: кто она, откуда, как давно работает в обкоме. А узнав, что разведка Юденича чуть не расстреляла ее в девятнадцатом и она чудом спаслась, он восторженно воскликнул: «Да вы героиня у нас, вас надо пионерам показывать!» Мильда так

заразительно засмеялась в ответ, что первый секретарь не мог не рассмеяться с ней вместе, мгновенно попав в плен ее удивительного обаяния.

У него и до Мильды были легкие романы, Киров никогда не позволял себе влюбляться всерьез, а тем более строить далеко идущие семейные планы, считая, что у человека должна быть одна жена, а с Марией Львовной они были вместе уже больше двадцати лет. Да, у них не было детей, но время их молодости совпало с подпольной революционной работой. Тюрьмы, ссылки, каторги, которые сопровождали его нелегкую жизнь, могли отпугнуть любую женщину, но Мария Львовна оказалась настоящей подругой революционера, и Киров не мог ее предать сейчас, когда занимал большой партийный пост, а ее уже мучили болезни. Они по-прежнему, как и в революционные годы, жили большей частью в разлуке. Она по полгода проводила в санаториях, а он мотался по заводам, селам и стройкам, ездил на пленумы, совещания, съезды, да и работая в Ленинграде, до полуночи засиживался у себя в кабинете.

Встретив Мильду, Киров вдруг почувствовал столь сильную вспышку влюбленности, что сначала растерялся. Ее крепкое белое тело, полуоткрытые полные губы, завораживающий взгляд, искрометная улыбка, ее смех -- все дразнило его, заставляло неметь в ее присутствии. Киров робел, становился скованным, замкнутым, неуклюжим, а его ораторский талант, которым многие восхищались, сходил на нет. Он не знал, как покорить ее сердце, и долго мучился, придумывая разные предлоги побыть с нею наедине: поехать на охоту, на дачу, на Финский залив, но Мильда отказывалась -- ребенок, муж, семья, столько хлопот по дому, что она выбивается из сил. Она улыбалась, восхищенно глядя ему в глаза, он лишь потом узнал, что Мильда с первой встречи влюбилась

в него и ничего особенного придумывать было и не надо.

— Но по тебе это нельзя было отгадать! — смеясь, возмущался он. — Ты так ловко все скрывала, что даже я, обученный в юности распознавать провокаторов и шпииков, ни на минуту не усомнился в том, что ты безумно любишь своего мужа и даже помыслить не смеешь о какой-либо измене!

— Так вам и надо, самоуверенным партийным павлинам, только и думающим о том, что любая женщина готова пасть в их объятия! — веселилась Мильда.

— Я другой, Миля, я совсем другой! — шептал он, целуя ее в мочку уха, и она не в силах была ему сопротивляться.

А тогда, не зная, что предпринять, он попросту вызвал ее на целую ночь для работы в Смольный, сославшись на то, что ему срочно к утру необходимо закончить доклад, хотя конечно же никакой спешки не было. Больше того, у него были свои секретарши, но Киров объяснил Мильде, что она хорошо знает материал, и они смогут управиться за ночь.

Киров еле дождался, когда уйдут Чудов и остальные секретари, а они, видя, что первый работает, тоже не покидали своих кабинетов, но Киров, разозлившись, не выдержал и отправил их всех домой в приказном порядке. К полуночи, когда Киров и Мильда остались одни, и ее уже бил сердечный озноб. И стоило ему взять ее за руку, привлечь к себе, как Мильда кинулась к нему на шею.

Они опомнились часа через два, Мильда спохватилась: скоро рассвет, а они еще и не приступали к работе, но Киров остановил ее.

— Доклад не к спеху, — улыбнулся он. — Это я все придумал, чтоб остаться с тобой...

— Я поняла, — помолчав, прошептала она.

И они стали встречаться. Мильда ничего не спрашивала у Кирова, не требовала объяснений, никогда ничего не просила, она влюбилась в него с такой страстью, что каждая их новая встреча проходила так, будто они встретились впервые. Киров помолодел, стал веселым, задиристым и мог работать круглыми сутками. Мильда же после каждой встречи потом несколько дней ходила, как во сне, живя лишь этими воспоминаниями и не замечая никого вокруг себя.

Так длилось почти три года. За это время Мильда успела родить мальчика, и обкомовские, кто знал о их связи, под любым предлогом приходили посмотреть на малыша, отмечая разительное сходство с Кировым. Это поначалу добавило слухов, хотя с рождением второго сына их связь на некоторое время приугасла. Мильда была сначала в декретном, а потом послеродовом отпуске, и не появлялась на работе. Но стоило рыжеволосой латышке снова объявиться в Смольном, стоило Кирову ее увидеть, и все вспыхнуло вновь с еще большей страстью. И по Смольному, а теперь уже по всему городу поползли новые слухи и сплетни, одна невероятнее другой. Что родившийся ребенок от Кирова, в этом никто уже не сомневался, и будто имя ему — Маркс — дал сам Сергей Миронович, хотя муж слезно просил назвать сына в честь своего отца Василием. Болтали и то, что теперь эта прибалтийская выскочка требует от Кирова, чтобы он бросил больную жену и женился на ней, что в честь рождения ребенка Киров подарил ей норковую шубу, а с каждой зарплаты он отдает ей по сто рублей, что никакая она не темпераментная, а такая же холодная, как и все латышки, но зато хорошая актриса, а поскольку все мужики полные дураки в этом деле, то Мильде ничего не стоит его дурачить. Находились и такие, что с пеной у рта доказывали, что Драуле — немецкая шпионка и готовит террорис-

тический акт против Кирова, и вот увидите, она скоро с ним покончит. Другие сомневались: если она шпионка, то зачем тогда родила от него и не застрелила раньше. А все потому, не успокаивались первые, что она вытягивает из Кирова советские секреты, он ей все разбалтывает.

А сходство замечала и она, и была даже уверена, что ребенок от Сергея, но, помучившись пару дней, решая, рассказывать Кирову об этом или нет, она выбрала второе, дав себе слово ни под каким видом не говорить ему об этом. Она знала о больной Марии Львовне и по-бабьи понимала, что счастье на несчастье не построишь, что судьба потом жестоко отомстит ей за то, что она разрушит жизнь сразу двум людям: своему несчастному мужу и жене Кирова, которые ничего ей плохого не сделали.

Со слухами, как известно, бороться почти невозможно, гэпэушники пресекали их, если кто-то осмеливался говорить об этом в пивной или другом людном месте, но сарафанное радио на коммунальной кухне не выключишь. И Чудов, второй секретарь Ленинградского обкома, с уважением относившийся к Кирову, уловив момент, осмелился рассказать об этих слухах Кирову. Михаил Семенович не стал ему рассказывать обо всем, опустил даже сплетни по поводу родившегося у Мильды ребенка, деньгах, шубах, привел два-три примера насчет того, что Мильда — немецкая шпионка, о том, что Киров собирается якобы жениться на Драуле и бросить свою больную жену. Чудов даже сказал, что эти слухи могут дойти до Марии Львовны, до ЦК, Сталина, и лучше было бы избежать их разрастания.

Киров был потрясен тем, что многие знают о его отношениях с Мильдой. И не только знают, но позволяют себе даже фантазировать разные гнусности.

Он был уверен, что их связь — тайна для всех обкомовцев.

— Но как избежать разрастания слухов, если они уже есть? — растерянно спросил Сергей Миронович.

— Есть, но... — Чудов не договорил. — Их лучше не питать новыми подробностями.

Чудов был деликатным человеком и не увидел бы ничего предосудительного в поведении Кирова, если б тот был рядовым партийцем, но Сергей Миронович — вождь партии, и его честь должна быть незапятнанной. Если б Мильда Петровна хотя бы не была замужем, то плевать на эти слухи, каждый имеет право на личную жизнь, но тут Киров как бы разрушает семью — ячейку общества, вот как на это могут посмотреть со стороны, а партия, ее вожди, наоборот, должны заботиться о ее укреплении, так записано во многих партийных документах. Чудов не раз мысленно вел этот разговор с Кировым, а теперь, затеяв его, как назло не мог вспомнить ни один из этих аргументов. «Что толку повторять, если он сам все это хорошо понимает», — подумал он.

— Я все понимаю, Сергей Миронович, — повторил Чудов, — но нужно хотя бы сделать так, чтобы Мильда Петровна работала в другом учреждении, это поубавит страсти, и слухи постепенно сойдут на нет. А так ее каждый день видят наши злоохотливые гусыни, да еще со счастливой улыбкой на лице, и у них от зависти глаза лопаются!

Киров грустно усмехнулся, стал пятерней зачесывать назад свои волосы. Когда он очень волновался, всегда так делал, точно волосы падали ему на глаза.

— Да, наверное, ты прав! — посерьезнел он. — Ладно, что-нибудь придумаем!..

И придумал. Попросил своего старого приятеля Георгия Ивановича Пылаева, уполномоченного наркомата тяжелой промышленности по Ленинграду,

пристроить Мильду в управление, которое он курировал. Пылаев пошел навстречу и взял Мильду сначала инспектором учраспредотдела с окладом 250 рублей, а потом перевел инспектором управления по кадрам с окладом уже 275 рублей. Это было даже в некотором роде служебным повышением. Все произошло в ноябре тридцать третьего. Три года длилась их безумная любовь, они встречались в основном по ночам, Киров дома оправдывался тем, что ему надо подготовить тот или иной вопрос для собрания, конференции или написать статью для газеты, а днем в суете сделать это невозможно, Мильда же отговаривалась тем, что ее вызывают стенографировать. Но предупреждение Чудова, пересказанные им нелепые слухи — все это немного отрезвило и даже испугало Кирова. Он, переведя Мильду в Управление тяжмаша, даже вознамерился все прекратить, тут-то ему и подвернулась Эля. «Клин клином вышибают», — подумал он, собираясь с ней на охоту, но эта мимолетная встреча радости не принесла, наоборот, он затосковал еще больше по Мильде. Однако приближался Семнадцатый съезд партии. В Ленинграде начались отчетные конференции перед съездом, районные, городские, потом прошла областная, Киров мотался по региону и все реже вспоминал Мильду. Ему даже стало казаться, что все прошло, отболело, он даже увлекся одной балериной, но увлечение растаяло как дым после первой же встречи. Балерина оказалась манерной, капризной и холодной как лед.

Киров увидел Мильду дня за два перед отъездом в Москву, она пришла за бумагами для Пылаева, сидела, пила чай в секретарской, рассказывала что-то смешное и сама заразительно смеялась, когда он вошел. Сергей Миронович, увидев ее, сделался сам не свой, его бросило в жар, он неестественно заулыбался и прямо в секретарской попросил ее зайти к

нему в кабинет, у него есть одна просьба к Георгию Ивановичу.

Никакой просьбы у Кирова не было. Он вызвал ее, чтобы на мгновение обнять, прижаться к ней, а когда бросился ей навстречу и обнял Мильду, то почувствовал столь сильный ответный порыв, что больше не сомневался: он любит ее, и одну только ее жаждал видеть всегда.

Так что переезд в Москву означал бы для Кирова еще и эту потерю. Мильда была замужем за неким Леонидом Николаевым. Он работал инструктором в Институте истории партии, у них было двое детей. Перетаскивать за собой всю семью Киров не мог да и не хотел: сплетни могут дойти и в ЦК, а это совсем уже ни к чему. Мужа Мильды он никогда не видел, она лишь говорила ему, что никогда его не любила. Они познакомились еще в Луге, и она его тогда пожалела. Он был слабый, болезненный, объяснился ей в любви и сказал, что застрелится, если она не выйдет за него. Она испугалась. «У него был такой взгляд, — рассказывала она, — что я поверила: он застрелится». А потом ей, наверное, думал Киров, льстила такая пылкая влюбленность, льстило, что Николаев приехал в Лугу из Ленинграда, там у него было жилье, и он хотел возвращаться, а Мильда и в Луге жила в общежитии, ей исполнилось двадцать четыре года, пора было задумываться о замужестве. Ведь никто до этого Николаева не предлагал ей руку и сердце. И в тот момент она, если и не любила его, то относилась к нему с симпатией. «Если ее муж такой, как она о нем рассказывает, то конечно, он не мог разбудить в ней настоящее чувство, — размышлял Киров, — а значит, Мильда говорит правду, что никогда не любила. Я сделал ее настоящей женщиной, а она меня настоящим мужчиной. Это стоит мессы, как говорил один из французских королей».

Сталину обо всем этом не расскажешь, хоть они и друзья. Киров знает, что он скажет: «Мы все не святые, и Ворошилов, и Калинин, и Енукидзе — все любят ходить по девочкам. Для этого есть Большой театр, есть Паукер, который все организует, по его просьбе мы взяли туда несколько хороших девушек, понимающих, в чем заключается их служение искусству, есть наш секретариат в конце концов, где можно по договоренности удовлетворить любой голод. Дальше секретариата эта история не пойдет, девушки там работают испытанные и закаленные. Никто такие вещи не осуждал и не собирается осуждать. Природу надо учитывать. Только не надо заводить вторую жену. Мы же не мусульмане, в конце концов, а марксисты. А для марксиста важно, что о нем говорят в народе. Народ все поймет, даже блядство, если оно в меру, — Коба любил порассуждать на эти темы, рассуждал мудро и категорично, не принимая никаких возражений. — А если захотелось любви, то записывайся в комсомол. В этом возрасте она позволительна. А в партийном лексиконе такого понятия нет. Есть жена, есть подруга для утех, есть друзья и товарищи по партии, я даже не терплю это пошлое слово «любовница», как будто мы по любви такую бабу выбираем. В русском языке есть много других слов на этот счет: зазноба, страстница, товарка. Что молчишь? Не согласен?..»

Что мог возразить Киров? Он даже в напряженные съездовские дни тосковал по Мильде и считал дни до отъезда. Они договорились: как только он вернется, они тотчас встретятся. В первую же ночь.

В перерыве перед голосованием Киров, оказавшись у телефона, позвонил Эле. Позвонил поблагодарить за статью, которую она ему прислала, и в любом случае отказаться от встречи, если Эля на ней будет настаивать. Он не хотел портить ей карьеру,

ибо повторная встреча вызовет у Кобы только раздражение, и в первую очередь против нее. Каково же было удивление Кирова, когда в редакции ему сказали, что такая у них больше не работает, она уволена за серьезные просчеты в работе. Когда же Киров спросил об этих просчетах, то гнусавый голосок на другом конце провода ядовито спросил: «А кто, собственно, ею так интересуется?» Киров замялся, сказал, что знакомый.

— Знакомым мы такие справки не даем! — похамски ответил гнусавый голосок и бросил трубку.

В другое время Киров бы поставил хама на место, но сейчас он испытал странную тревогу. Некий троцкист Двоскин, Эля, его мимолетная связь с ней и предупреждение Сталина связались в один клубок. Киров помедлил, хотел еще раз набрать номер и представиться, но в последний миг раздумал: мало ли из-за чего могли уволить даму, склонную к авантюрам. А Коба не опустится до такой глупости, как мстить какой-то девчонке. Киров попросит Серго проверить, что у нее случилось, и при случае помочь: она просто хорошая журналистка, и в этом был весь его интерес к ней.

Голосование на съезде прошло спокойно. Киров получил 1055 голосов, Сталин на один голос больше — 1056. Единогласно прошли лишь двое: все-союзный староста, Председатель ВЦИКа Михаил Иванович Калинин и председатель исполкома Ленсовета Иван Федорович Кодацкий.

10 февраля состоялся Пленум ЦК, на котором было избрано Политбюро из десяти человек. В Политбюро вошли Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов, Калинин, Орджоникидзе, Куйбышев, Киров, нарком путей сообщения СССР Андреев и уполномоченный Совнаркома по Дальневосточному краю Косиор. Кроме десяти членов Политбюро было избрано пять кандидатов в члены Политбюро — Микоян, Чубарь, Петровский, Постышев и Рудзутак. Помимо Политбюро состоялись выборы в Оргбюро ЦК, Сталин вместе с собой ввел туда и Кирова.

Секретариат избирался уже на заседании Политбюро. Сталин предложил образовать тройку секретарей: Сталин, Киров, Каганович и сдержанно похвалил кандидатуры двух предлагаемых им членов Политбюро. Киров сидел как на иголках, он волновался, не зная, как ему поступить: то ли уж стать закланной овцой сталинской братской дружбы, то ли попытаться сохранить свою далеко не девственную независимость. Киров дергался, потому что сейчас

его отказ прозвучит, как выпад против Кобы. Он хотел переговорить с ним о своем отказе еще вчера, перед нынешним заседанием Политбюро, но их пригласил к себе Орджоникидзе, отказать ему они оба не могли, вечер затянулся, Серго с Кобой пели грузинские песни, и скромная вечеринка затянулась до утра. Впрочем, разговор бы ничего не изменил. Коба сам сказал, что уже решил этот вопрос.

Киров понимал, что Сталину был нужен не столько Киров в Москве, сколько Ленинград без Кирова. Его второго секретаря Чудова Сталин первым не поставит, зная, что Чудов — человек Кирова, а переведет из Нижнего Новгорода того же Жданова, который из кожи лезет доказать свою преданность Хозяину. А Ленинград Кобе нужен, чтоб начать там большую чистку и прежде всего расправиться со сторонниками Зиновьева. Киров просматривал списки, которые составила специальная комиссия, сформированная Ягодой и направленная в Ленинград из Москвы еще в начале 1933 года. Комиссия была создана по приказу Сталина. Формальным поводом для ее создания послужили сведения, якобы полученные через резидентов в Париже, о существовании в Ленинграде мощного белогвардейского подполья, в которое втянуты даже члены партии. В списке, составленном комиссией, пока сто сорок человек и преимущественно это люди Зиновьева.

Первый список из сорока человек подали на подпись Кирову еще в сентябре того же тридцать третьего, большинство людей в списке были партийцами, участниками революции и гражданской войны, поэтому требовалась виза Кирова, что он не возражает против их ареста. Кирову удалось отбить двоих, но, как оказалось потом, самых важных для Сталина. Коба возмутился таким своевольным поступком друга, но войной на него не пошел, а придумал эту

переброску. Потом, если возникнут разногласия, можно будет легко заголокнуть Кирова в тот же Владивосток вместо Косиора, а исправившегося Косиора перевести в Москву.

Сталин давно практиковал такие перемещения с воспитательной целью, пользуясь испытанным лозунгом: «Так лучше для партии!» Теперь уже поздно что-либо менять, они сами породили своего божка, и он стоит не на глиняных ногах. Нет, Киров даже по-своему любил Кобу, он много сделал для страны, начал огромные стройки. Как он любит повторять: «Древний Рим с его водопроводом был построен на костях рабов, а мы построим социализм на костях наших врагов». До этого громоздкого афоризма Сталин любил другой, более краткий и эффектный: нельзя сделать омлет, не разбив яиц. Но румынский писатель Панайт Истрати ловко поддел советского вождя, заявив после поездки по стране, что видит лишь разбитые яйца, но не видит омлета. Коба больше не упоминал эту поговорку.

— Ну что, какие будут мнения, товарищи, по данному вопросу? — Услышал Киров sacramентальную фразу Сталина, после которой обычно никаких вопросов никто не задавал, и понял, что сейчас все проголосуют «за», и он будет вынужден подчиниться решению Политбюро.

— Можно мне сказать? — Киров услышал свой голос и даже удивился тому, что отважился на такой смелый шаг. — Я хотел бы отвести свою кандидатуру и дать мне возможность еще некоторое время поработать в Ленинграде. Закончить пятилетку, которую я начал, это очень важно, я затеял реконструкцию помимо Путиловского еще на ряде крупных заводов, Серго подтвердит, и хотел бы все это сам закончить...

Киров что-то еще собирался сказать в свое оправдание, но замолчал и сел.

С лица Кобы слетела улыбка, и он застыл как соляной столб, изумленно глядя на Кирова, словно тот нанес ему предательский удар в спину.

Еще до пленума Киров успел переговорить с Орджоникидзе. Он рассказал ему об идее Сталина и попросил поддержать его просьбу не выбирать его секретарем.

— А чего ты? — удивился Орджоникидзе. — Коба тебя любит, вы с ним сработаетесь... Да и некого, кроме тебя!

— У меня столько незавершенных дел в Ленинграде, что бросать их просто преступно! — нервно заговорил Киров. — Да и к Ленинграду я привык... Я прошу тебя, Серго!..

— Ты так просишь, словно тебя из партии хотят выгнать! — усмехнулся Орджоникидзе, и глаза его погрустнели. — Хотя я понимаю тебя, — неожиданно сказал Серго, лицо его потухло, став пепельно-серым. — Там у тебя самостоятельный фронт работ, а тут, конечно... Сам бы так поступил на твоём месте.

Встретив этот изумленный сталинский взгляд, в котором тотчас непроизвольно вспыхнули искорки яркой злобы, Киров неожиданно растерялся и, поднявшись, снова стал сбивчиво объяснять, что хотел бы закончить вторую пятилетку в Ленинграде, что еще не имеет должного опыта для такого ответственного поста, как секретарь ЦК, что ему нужно подучиться, а тут сразу такая ответственность. Сталин справился с этим ударом друга, погасил злость, достал трубку и стал неспешно набивать ее табаком. Он всегда так делал, когда ему нужно было выдержать паузу и подумать. Киров умолк и сел.

— Скромность товарища Кирова всем известна, — улыбнувшись, неторопливо начал Сталин, — но я тоже исхожу не только из своих наблюдений. Вот на съезде наши старые партийцы меня упрекну-

ли. Говорят: Киров энергичный, сообразительный, прекрасный оратор, почему бы не сделать его секретарем?.. Это не мое мнение, товарищ Киров! А что касается неумения, то, как известно, не боги горшки обжигают. Вам уже тесно в Ленинграде, надо переходить на оперативный простор, и наш ЦК только выиграет от того, что вы, товарищ Киров, станете его вождем!..

— А чего тут обсуждать, — сердито бросил Ворошилов. — Раз партия сказала: надо, значит, надо!

— Давайте голосовать, — взглянув на Сталина и кивнув в знак согласия с ним, предложил Каганович.

— А я считаю, надо поддержать просьбу Сергея Мироновича, — неожиданно проговорил Орджоникидзе, и Сталин, не ожидавший такого со стороны Серго, изумленно посмотрел на друга. — Киров прав, — продолжил Орджоникидзе, — он начинал в Ленинграде пятилетку, затеял ряд важных строек и теперь справедливо просит дать ему возможность их закончить ударными темпами не только в срок, но даже раньше срока! Ленинград — это мощный индустриальный центр, и я, как нарком тяжелого машиностроения, буду очень обеспокоен, если в такое напряженное время произойдет там замена первого лица...

Валерьян Куйбышев, уязвленный тем, что Сталин предпочел Кирова, а не его в должности второго секретаря ЦК, решил поддержать просьбу Сергея Мироновича: зачем брать в секретари ЦК человека, который не хочет быть у власти? Куйбышеву осточертел уже его Госплан, Совет труда и обороны, которыми он руководил: власть не там, власть — в партии, в ее высших органах. Мало кто помнил в ЦК, что именно Куйбышев был секретарем ЦК РКП(б) с апреля 1922-го по апрель 1923 года, еще до Сталина, и Куйбышев на три года раньше, чем Киров, стал

членом Политбюро ЦК. Это тоже надо бы учитывать при таких назначениях.

— Я тоже считаю, что Киров нужнее сейчас в Ленинграде, — подавив гнев, как можно спокойнее заговорил Куйбышев, глядя Сталину прямо в лицо и выдерживая его тяжелый взгляд. — То, что Сергей Миронович справится с обязанностями секретаря ЦК, я не сомневаюсь, но здесь, в Москве, у нас крепкий партийный костяк, а вот в Ленинграде ни в обкоме, ни в Ленсовете такой мощной фигуры, как Киров, нет и поэтому забирать его сегодня из Ленинграда в Москву значит обескровить ленинградскую партийную организацию, а мы не имеем права делать этого!..

Члены Политбюро зашумели, кто-то, Кирову показалось Андреев, даже сказал: «Правильно!» Ворошилов с Молотовым растерянно посмотрели на Сталина, который, не ожидая этих разногласий, застыл у стола. Выступление Куйбышева резко переломило ситуацию. Сталин помрачнел, положил трубку в карман.

— Прошу меня простить, но поскольку я на первом же заседании нового состава Политбюро не нахожу поддержки у его членов, то мне самому надо подумать: подхожу ли я к этой должности секретаря Бюро и не снять ли мне свою кандидатуру с секретарей ЦК. — Сталин выдержал паузу, взял папку и вышел из комнаты заседаний.

Несколько секунд все молчали, ошеломленные заявлением Сталина.

— Товарищи! — подскочил Молотов и, волнуясь, заговорил, взмахивая правой рукой. — Почему мы отделяем Ленинград от ЦК и всего Союза?! Я думаю, что, находясь на посту секретаря ЦК, товарищ Киров с большей пользой будет работать и на ленинградскую пятилетку, координировать ее темп. И потом не

надо забывать, что товарищу Сталину нужен такой энергичный и напористый помощник, как Сергей Миронович! Надо же подумать и о товарище Сталине, он у нас не двуличный!

Орджоникидзе с грустью посмотрел на Кирова, и тот разгадал его взгляд. Серго давал понять, что Сталина не переупрямишь. Раз он захотел, чтоб Киров стал секретарем, то либо это будет так, либо Киров станет его злейшим врагом. Надо выбирать. Куйбышев тяжело вздохнул, выгасил бумаги и стал просматривать, точно все остальное его не касалось. Он знал, что Сталин его не любит и сделает все, чтобы протащить в секретари своего послушного Кирова, который смотрит ему в рот. Но что-то с Кировым, видимо, случилось, коли он вышел из подчинения. Но Клим уже шумел больше всех, напирая на то, что такая высокая честь оказана Кирову, а он повел себя по-мальчишески, начал упирается.

Договорились так: если Сергей Миронович хочет оставить за собой Ленинград, то пусть идет к Кобе и решает этот вопрос с ним напрямую, но секретарем его избирают и возражения Кирова во внимание не берут. На этом первое заседание Политбюро временно закрыли до выяснения данного вопроса, и Молотов помчался к Сталину докладывать, как они все порешили, чтобы дать ему время обдумать проблему с Кировым.

Сергей Миронович впервые за все это время почувствовал себя гадко и противно, словно его выбрали, как нашкодившего котенка. Лазарь Каганович, поднявшись, даже сказал, что он не ожидал столь несерьезного отношения Кирова к тому выбору, с которым товарищ Сталин вышел на Политбюро, и что подобные решения принимаются не с кондачка, а после долгих деловых проработок. Ворошилов обиделся на то, что срывается пьянка. По старой тради-

ции первые заседания вновь избранного состава Политбюро завершались пышным дружеским обедом. Киров знал, что аппарат и канцелярия Сталина уже солидно к такому моменту подготовились. Поскребывшись лично гонял всех помощников за деликатесами, встречал икру, высланную из Астрахани, и для аппарата это был торжественный момент: знакомство с новыми членами Политбюро, если таковые имелись, с новыми секретарями ЦК, с кем секретариату и техперсоналу предстояло работать до очередного съезда. А Киров взял и все испортил. И эту «испорченность» ощущали и остальные, смотрели на Кирова, как на паршивую овцу, которая своим видом портит все стадо. Поэтому после временного закрытия заседания Политбюро никто не расходился, все понимали, что аппарат и помощников обижать нельзя, они старались, и сейчас Киров сходит к Сталину, даст согласие, и все восстановится.

— Иди-иди, не томи душу! — сердито махнул на него рукой Клим, и Киров пошел. В коридоре его догнал Ежов, заведующий отделом кадров ЦК, скромно сидевший на заседании Политбюро в уголке и не принимавший участия в общем разговоре.

— Сергей Миронович, вам не следует так поступать, — горячо заговорил он, хватая Кирова за руку. — Мы уже все документы заготовили, и товарищ Сталин не видит другой кандидатуры на пост секретаря ЦК. Я думаю, вам надо пересмотреть свое решение!..

Большие уши Ежова горели огнем, точно случилось нечто невероятное.

— Я думаю, мы уладим этот вопрос, — кивнул Киров, заходя в соседний кабинет, где сидел Сталин, просматривая бумаги, принесенные ему Паукером, дымил трубкой, не обращая внимания на задумчивого Молотова, покорно ожидавшего прихода Кирова.

Увидев его, Молотов, просияв, поднялся, ободряюще ему кивнул и вышел из кабинета. Этот кивок означал, что Сталин поостыл и за Ленинград крепко драться не будет. Красногубый же Паукер нахально стоял перед столом и не хотел уходить.

Сталин взглянул на Кирова, потом на Паукера.

— Чего тебе еще? — грубо спросил Коба у Карла.

— Ну а это, — Паукер показал на бумаги.

— Разберусь, не сейчас! — отрезал он, и Паукер, напевая фривольную мелодию из оперетки, вышел из кабинета.

— Вот шалопай! — усмеялся Коба, но уже без всякой злости.

— Коба, извини, что так все получилось, я хотел еще раньше с тобой переговорить, но ты знаешь, вчера мы у Серго пошумели, и там было неудобно заводить эти разговоры... — начал Киров, присаживаясь на стул.

— А с Серго и с Валерьяном ты нашел время переговорить, — обиженно сказал Сталин.

— С Серго мы сегодня парой фраз перебросились, а с Валерьяном я не говорил, — честно признался Киров.

Сталин попытлел трубкой, внимательно глядя на Кирова, точно новость, которую ему сейчас сообщили, поразила его в самое сердце.

— Выходит, Куйбышев сам до такой глупости додумался? — спросил он и сам же себе ответил: — Надо же такое ляпнуть: я хочу обескровить партийную организацию Ленинграда! Н-да... Это серьезное обвинение.

— Если ты настаиваешь, Коба, я готов бросить Ленинград и переехать хоть завтра в Москву, просто пойми меня по-человечески: придет новый человек, ему полгода потребуются во все вникнуть, а город, сам знаешь, не простой, там еще не каждого примут,

а я знаю всех руководителей от первого уровня до низового, знаю их сильные и слабые стороны, знаю как с кем работать. И потом есть еще такая естественная боязнь не справиться на новом месте. Там я вроде бы на своем, а тут не хочу быть тебе обузой...

Киров умолк. Сталин продолжал молчать, покуривая трубку. Лицо Кобы в такие минуты превращалось в непроницаемую маску, и любой самый опытный собеседник терялся, не зная, что Сталин может ему ответить.

— Я конечно же горд тем доверием, которое мне оказал ты и остальные члены Политбюро. Я вообще считаю тебя, Коба, своим крестным отцом. Ты заметил меня тогда, в семнадцатом, когда я приехал рядовым делегатом с Кавказа, и я всегда с тобой советовался, ты знаешь, поэтому для меня работать с тобой большая честь, и я, честно говоря, просто волнуюсь... — Киров достал платок, отер пот со лба.

— Это так они топят, что у нас тут как в бане, — недовольно заметил Сталин, поднялся и открыл форточку. — Я им дал нагоняй один раз, пригрозив на Колыму отправить, вот они и стараются!

Сталин, увидев неподдельное волнение друга, потеплел и улыбнулся.

— А эта женщина, как ее, — Сталин краем глаза заглянул в бумажку, — Мильда Петровна, она не держит тебя там? — спросил вдруг Сталин. Киров вздрогнул и смутился.

Он ждал любого вопроса, даже о погоде — Киров хорошо переносил ленинградские северные ветры, а московская хлябь и летняя жара в столице его угнетали, да и Мария Львовна не любила московскую погоду, — но Сталин попал в болевую точку всех кировских сомнений. Судя по всему, он был давно и хорошо осведомлен о его личных делах. Ему не надо было даже устремлять на друга свой острый взгляд с

рысьим прищуром, чтобы увидеть, какой душевный переполох вызван этим вопросом. Киров никогда не умел притворяться, и теперь, усмехнувшись, он только махнул рукой.

— Ты же все знаешь, Коба, — пробормотал Киров. — Она у меня больше не работает, и мы уже месяца три не встречаемся...

— Знаю-знаю, — закивал Сталин, — как и то, что о твоих отношениях говорил весь Ленинград. А ты один, как мальчишка, ничего не замечал, пока уж младшие твои коллеги тебя не урезонили...

«Неужели Чудов все рассказал?! — обомлел Киров. — Нет, он не мог! Чудов был необыкновенно щепетилен в таких вопросах. Но как Коба мог узнать о разговоре, который происходил у меня с Чудовым с глазу на глаз в его кабинете?! Подслушивание исключено, я подключал экспертов, они не нашли ни одной щели, а за закрытыми дверями голоса не слышны, это тоже проверялось. Да и говорили мы поздним вечером... Кто же тогда?»

— Я ведь и перетащить тебя хочу, чтоб похерилась эта история, — помолчав, продолжил Сталин. — Ребенок-то твой? — спросил вдруг Коба.

— Какой ребенок? — покраснел Киров.

— Вскоре после вашего близкого знакомства у нее родился мальчик, и все говорят, на тебя похож... — улыбка выплыла на лицо Сталина.

— Кто все?

— Это неважно, но говорят.

Сталин прищурился, взглянул на растерянного и подавленного Кирова. Он давно уже хотел расспросить Кирова о его латышской пассии, но не торопился и ждал удобного случая. Теперь он настал, и Коба чувствовал себя хозяином положения. У него в такие минуты даже переставала ныть сухая рука, которую он в шутку называл личным барометром.

— Я не знаю, — пробормотал Киров, его даже в пот бросило. — Мне говорили о слухах...

— Дыма без огня не бывает, — рассмеялся Сталин. — Она не глупа и хочет поглубже втянуть тебя в омут, чтоб потом козырным тузом выставить ребенка. Представляешь, какой будет скандал? Секретарь ЦК изменяет больной жене с вертихвосткой! Нет, Сергей, тебя надо срочно спасать! Ты запутался! Я уж не говорю о моральной стороне этого вопроса...

Это был любимый конек Сталина: моральный облик советского партийца. Но Киров не ожидал, что слухи о его связях с Мильдой докатились и до Кобы. Но больше всего Сергея Мироновича поразило, что Сталин ни разу не заговорил с ним об этих слухах и Мильде один на один, дома, когда они вели всякие душевные беседы, а выставил эту новость сейчас, точно угадав потаенные мысли Кирова.

— Я не хочу думать, что ты все это затеял из-за нее! — задумчиво проговорил Сталин, выпуская кольца дыма и глядя в окно. — Какой же ты тогда большевик, если бабу готов променять на партию?! Я все-таки и сейчас уверен, что товарищ Киров — настоящий, проверенный временем большевик!.. Мне тоже бывает трудно... — Коба выдержал паузу. — Без Нади... И я тоже мужчина. А кавказский мужчина, ты знаешь, как это все тяжело переносит. Иногда хоть на стенку лезь!.. Но стоит мне вспомнить о своих товарищах по партии, которые облекли меня столь высоким доверием, и я, стиснув зубы, начинаю думать о наших врагах. Им будут только в радость такие мои слабости. Я порой даже думаю, что они специально подстроили Надину смерть, чтоб посмотреть: выдержу я или нет. Но я выдержал. И ты, Сергей, тоже выдержишь!

У Сталина даже слезы навернулись. Он сунул

трубку в слабую левую руку, правой вытащил платок, вытер глаза.

— Теперь другой вопрос: твой Ленинград, — продолжил Коба. — Есть тут, как ты говоришь, резоны или нет? Думаю, есть. Город действительно сложный и управлять им не просто. Я долго размышлял: справится с ним товарищ Жданов или не справится?.. И пришел к неутешительному выводу: пока не справится. Маловато у него партийных силенок. Поэтому мы оставляем пока за тобой Ленинград, на год, не больше, чтобы ты постепенно закончил там все дела, но и от поста секретаря ЦК освободить не можем. Вторым тогда будет Лазарь, ты третьим, а в конце года будем решать окончательно. Договорились?..

— Договорились, товарищ Сталин! — радостно согласился Киров.

— Ну, ты тоже, «товарищ Сталин», — передразнил Сталин Кирова. — Мы вдвоем говорим, по-дружески, можно без церемоний!

— Хорошо, Коба! — Киров обрадовался, как ребенок.

— Я ведь на что обиделся: могли обо всем этом дома переговорить, раньше, а сейчас вот в какое ты меня положение поставил? — хмуро проговорил Коба. — Я хотел, чтоб были три освобожденных работающих секретаря ЦК. Сейчас остается два, ты будешь секретарь не освобожденный, а совмещенец, сидящий на двух стульях. Мне же нужна третья рабочая лошадка. Хорошо, я приглашу в секретари Жданова, он избран в Оргбюро, это не страшно, но тогда товарищ Прамнек Эдуард Карлович, что сейчас второй в Горьком, станет там первым секретарем обкома за счет вышедшего Жданова, первый же секретарь Горьковского обкома партии обязан по статусу быть кандидатом в члены ЦК, его нужно доизбирать, а съезд уже кончился. Вот как быть?!

Киров тяжело вздохнул. Сталин был прав. Своим отказом он внес чехарду в партийную расстановку кадров. Киров стал извиняться, но Сталин только тяжело вздохнул.

— Неужели она такая же красавица, какой была моя Надя, что авторитетный вождь партии, каким является товарищ Киров, потерял из-за нее голову? — спросил Сталин. — Вот уж новость в наших рядах!

Киров не нашелся, что ответить Сталину.

Заседание Политбюро продолжилось. Сталин доложил, что, подумав, решил согласиться с предложением товарища Кирова, а также с резонными замечаниями членов Политбюро Орджоникидзе и Куйбышева, которым благодарен за весьма своевременную подсказку, и оставить за Кировым Ленинград еще на один год ввиду исключительности данного региона.

Сталин бросил внимательный взгляд на Куйбышева, который напряженно вслушивался в его слова.

— Но при этом Киров останется секретарем ЦК, — объявил Сталин, и Ворошилов, просияв, взглянул на Кирова, словно это он нашел столь мудрый компромисс. — А руководство Северо-Западным регионом и Ленинградом будет как бы одной из обязанностей Сергея Мироновича как секретаря ЦК, при условии, конечно, что он найдет время и для общесоюзных дел. А поскольку создалась такая необычная ситуация и товарищ Киров становится не освобожденным секретарем ЦК, то необходима еще одна кандидатура, освобожденного секретаря!

Сталин сделал упор на слове «освобожденного» и оглядел членов Политбюро. Клим заерзал на стуле, точно сейчас предложат его фамилию. Куйбышев, сидевший впереди, оглянулся и бросил неопределенный взгляд на Кирова, словно говоря: «Я же не могу

сам себя предлагать, давай, я тебя поддержал», но что мог сделать Киров, если знал, кого выбрал для себя Коба.

— Мы тут с товарищами посовещались в аппарате ЦК, — Сталин взглянул на Ежова, и тот, чуть приподнявшись, кивнул головой. — И решили вынести на ваше обсуждение кандидатуру товарища Жданова, первого секретаря Горьковского крайкома партии. Нам советуют смелее выдвигать молодых, что ж, будем выдвигать. Партии нужна смена, новая кровь, как думают члены Политического Бюро?..

Первым поддержал Жданова Молотов, за ним Каганович, потом Клим, Серго. Проголосовали единогласно. Сталин посмотрел на Ежова, тот убежал и вскоре привел Жданова, гладенького, сытого, с легким брюшком и чуть выступающим вторым подбородком. Киров вспомнил, как Чудов рассказывал, что в Горьком крестьяне мрут от голода и есть даже несколько случаев людоедства. «Интересно, как при таком отчаянном голоде Жданова разносит как на дрожжах», — не без злорадства подумал Киров. Жданов, услышав о таком высоком назначении, прослезился от радости, захрипел и готов был броситься Сталину на шею. «Сталин знал, кого приближает, — подумал Киров. — Жданов будет его верным и послушным псом, готовым исполнить любой приказ».

На банкете Жданов пропел Сталину великую здравицу, заявив, что Ленин только начал строить социализм, но всю главную работу сделал Сталин, поэтому его коробит, когда партию называют только ленинской, она должна называться ленинско-сталинской, а фактически просто сталинской.

— Что, прямо сейчас будем менять название партии или все же закончим столование? — не без ехидства поддел оратора Коба. Но лишь немногие за столом, хорошо знавшие характер вождя, смогли уло-

вить иронию в прозвучавшем вопросе. Сталин спросил об этом серьезным тоном, каким только что вел первое заседание Политбюро.

Жданов растерялся. Он говорил в аллегорическом смысле, а тут такой прямой вопрос. Все притихли за столом, глядя на нового секретаря ЦК.

— Я думаю, лучше обсудить этот вопрос после банкета, он требует тщательной проработки, — промямлил Жданов.

— Значит, пока еще не будем менять название партии? — уточнил Сталин и, поднявшись, сказал, что уметь правильно начать великое дело пролетарской революции тоже очень важно. Французские робеспьеры продержались два года, а Советская власть в этом году отметит семнадцатую годовщину, и вся ошибка вождей французской революции заключалась в том, что они не так начали и не с того. Думали больше о себе, а не о народе. А коммунисты сначала думали о народе, а потом о себе.

Сталин предложил тост за великую ленинскую партию во главе с нынешним составом Политбюро. Все зааплодировали, а Жданов сидел раскрасневшийся от конфуза. Киров, наблюдая за этим столкновением, подумал, что он, наверное, был не прав, думая о Сталине хуже. Сталин действительно мудрый вождь и политик, очень трезвый и проницательный, и ему, Кирову, еще многому надо учиться у товарища Сталина.

Перед отъездом в Тбилиси к Сталину зашел с корзиной вина и фруктов Лаврентий Берия, впервые избранный на семнадцатом съезде членом ЦК. Он долго благодарил Сталина за то большое доверие, которое ему было оказано на съезде, и Коба, устав от потоки его восхвалений, поморщился.

— Хватит, — по-грузински сказал Сталин. — Давай о деле.

Они сидели вдвоем за столом, и можно было говорить обо всем свободно. Коба окинул взглядом корзину с фруктами, потом посмотрел на Берия.

— Ты такую же корзину профессору Бехтереву относил? — спросил Сталин.

Берия помертвел, не зная, что ответить.

— Что, язык проглотил?

— Да, — кивнул Берия.

— Что «да»? — не понял Сталин.

— Такую же...

— Здесь вино тоже отравленное? — усмехнулся Сталин.

— Иосиф Виссарионович, — побелев, залепетал Лаврентий, — как вы можете такие подозрения говорить...

Он поднялся, дрожа от испуга, но Сталин повелительным жестом усадил его обратно.

— Сядь, это шутка! Совсем шуток уже не понимаешь?.. Что с тобой, Лаврентий?.. — Сталин помолчал, наполняя вином бокалы. — Ты мне говорил как-то, что, когда приносил корзину с фруктами этому профессору психиатрии, он был в номере не один...

— С ним сидел один молодой человек, видимо, его ученик, — предположил Берия, насторожившись. — Сэмь лет прошло...

— Профессор знал одну важную тайну, и я думаю, что он успел рассказать своему ученику некоторые подробности... — начал было Сталин, но запнулся. — Это неважно. Мне теперь необходимо для полного спокойствия, чтобы и этот ученик не смог распускать грязные слухи о моих делах. И поскольку ты оказал тогда мне эту услугу, я бы хотел покончить... и с этим учеником. Но ты один можешь его узнать.

Я запросил анкетные данные и фотографии всех ленинградских делегатов того съезда...

Сталин поднялся, принес из другой комнаты папку, развязал тесемки, передал папку Лаврентию. Берия взял ее, стал просматривать фотографии.

— Вот он! — воскликнул Берия, передавая анкету и фотографию Сталину.

Коба взглянул на анкету: «Ганин Виталий Сергеевич, доктор медицины, тридцать печатных работ, две монографии: «Психические отклонения среди детей и подростков» и «Паранойя». — Сталин дернул желваками, прочитав название второй книги. — Жена, Ганина Аглая Федоровна, врач-невропатолог, медпункт Управления тяжелой промышленностью, двое детей, дочь, 4 года, сын, 6 лет...» К анкетам были приложены две фотографии, его и ее. На фотографии у Ганина было красивое открытое лицо, волнистые волосы, чуть насмешливый взгляд. Жена — яркая брюнетка с большими темными глазами. Берия взглянул на фотографию жены и застонал.

— Коба, это не женщина, это пэрсик! — причмокнул он. — Я бы с такой... — Лаврентий перехватил суровый взгляд Сталина и умолк.

— Пошли кого-нибудь из своих, — сказал Сталин. — Ты теперь фигура заметная, инкогнито не проскочишь. Но все нужно сделать так же тихо, деликатно...

— Обоих? — спросил Берия.

— А как сам думаешь? — усмехнулся Сталин.

— Понял, батона, муж да жена — одна сатана. Женщина у нэго хороша, сам бы от такой не отказался! Пэрсик!

— Будут у тебя еще бабы! — мрачно обрезал его Сталин. — Кто о чем, а вшивый о бане!

Он вытащил из кармана и поставил на стол тем-

ный аптечный пузырек. Берия впился в него взглядом.

— Вот капли нашего Аптекаря... Тут на все Политбюро хватает, — рассмеялся Коба, и Берия, вспомнив упрек Сталина о шутке, тоже залился тенорком, но вождю этот смех совсем не понравился, и Лаврентий осекся. — Но умно надо все сделать. В Ленинграде крепкие ребята в ОГПУ, если возьмутся за твоего посланца, душу из него вытрясут, поэтому на крайний случай надо будет придумать красивую историю о ревности или любви, и уж совсем хорошо, чтобы и твой посланец сгинул совсем и дальше этого стола наш разговор не ушел.

— А кто такой Аптэкарь? — спросил Берия.

— Кто слишком много знает... — Коба не договорил, но Берия знал концовку и тут же радостно выпалил.

— Тот рано умирает! Все сделаю, батоно, как сказали! — преданно воскликнул Лаврентий и поднял бокал. — Спасибо за это великое доверие, дорогой Иосиф Виссарионович!

Берия встал и первым выпил бокал вина до дна.

— У меня такое предчувствие, что некоторым моим землякам уже тесно за Кавказским хребтом и пора выходить на большую дорогу жизни, — улыбнувшись, заметил Коба. — Если все сделаешь как надо, осенью подыщу тебе здесь работу...

Берия на мгновение замер, точно хотел понять: не ослышался ли он, а утвердившись в том, что не ослышался, порозовел и, волнуясь, проговорил:

— Более преданного человека у вас никогда не было и не будет, батоно! За вас, товарищ Сталин, я готов любого врага самолично растерзать и сам умереть!

Берия сел на место.

— Ну и дурак! — усмехнувшись, бросил Коба. —

Ты, я вижу, совсем там одичал, в Тбилиси. Надо делать так, чтобы и волки были сыты, и овцы как бы целы. Русский народ очень мудрый, и нам с тобой этой мудрости еще надо учиться. Бери пример с товарища Кирова. Он ни перед кем не заискивает, ни у кого ничего не просит, а ему все сами дают. Вот как так?

Берия замороженно слушал Кобу и, пожалуй, впервые задумался о Кирове. «А ведь действительно, так и выходит: все ищут дружбы с Кировым, все его хвалят, все им восторгаются, а он вроде бы совсем незаметный, — подумал Лаврентий. — Вот как так?..»

3

Трамвай позванивал на каждом повороте, и скрежет колес продирает ознобом кожу. Мильда не любила резкие звуки, хоть и давно привыкла к трамвайному лязгу. В обычные дни, добираясь «электрической черепахой» до работы, она почти не замечала скрипа и скрежета, занятая собственными мыслями, но сегодняшний день оказался особенным.

В девять утра, придя на работу, она отнесла начальнику управления на подпись папку с кадровыми приказами и забрала те, что он подписал вчера. Вернувшись, она стала расписывать копии приказов по отделам. Зазвенел телефон. Он стоял у нее на столе. Мильда сняла трубку и услышала знакомый голос:

— Здравствуйте, Мильда Петровна, — теплый приветливый баритон с легкой хрипотцой, который она узнала бы из тысячи голосов. «Сережа!» — пронеслось у нее в мозгу, и на лицо тотчас вылезла предательская улыбка. Щеки разругались, и Мильда с трудом подавила вспыхнувшее волнение. К счастью, все ее сотрудницы в отделе кадров были заняты выверкой годового отчета и сидели не поднимая головы.

— Здравствуйте, я вас слушаю, — проговорила Мильда, и голос ее потеплел. Молоденькая помощница Драуле Зина Сапожкова все же уловила в голосе начальницы странные нотки, с любопытством взгля-

нула на нее, но Мильда Петровна махнула ей рукой: работай, это не тебя.

— Рад слышать твой голос, — тихо произнес Киров. — Одну минуту! — он звонил из своего кабинета.

«Он вернулся! Он здесь! Позвонил!» — радостным колокольчиком прозвенело в душе у Мильды.

Она слышала, как кто-то вошел в кабинет к Кирову, как забубнил отдаленный мужской голос, что-то объясняющий, но Сергей Миронович неожиданно оборвал вошедшего:

— В чем дело? Кто вас звал?! Выйдите вон! Когда вы мне понадобится, я вас приглашу!

Киров отложил трубку, снял другую.

— Я же сказал: ко мне никого не пускать! Будете лишены премии в конце месяца! — резко выкрикнул он в трубку и бросил ее.

От этого грубого начальственного окрика Мильда вся сжалась, точно кричали на нее. Раньше она этого не замечала за Кировым, а теперь «точно его подменили в Москве», пронеслось в ней.

Киров взял трубку, заговорил прежним ласковым голосом, и она понемногу успокоилась.

— О съезде ты, наверное, знаешь из газет, поэтому распространяться не буду, скажу лишь, что работы прибавилось вдвое: и Ленинград, и ЦК теперь...

Этим сообщением он сразу же успокоил ее, что никуда не уезжает, слухов о его переезде в столицу уже разнеслось немало, и Мильда, конечно, тоже волновалась. Если Киров переедет в Москву, свет в ее окошке померкнет. Надо будет настраиваться на тяжелую, нудную и тоскливую жизнь с нелюбимым мужем, который воображает себя то великим теоретиком марксизма, то будущим большим пролетарским писателем. За свои тридцать лет ее муж, Леонид Николаев — она даже не взяла его фамилию, оставив

свою, Драуле, и он до сих пор ей этого простить не может, — написал две или три статейки для провинциальной лужской газетки, переделав для этой цели годовые укомовские отчеты. Он пытался продолжить «писательскую жизнь» и в Ленинграде, козыряя своей должностью инструктора в Институте истории партии, но ему вежливо дали понять, что в его услугах не нуждаются.

Теперь вечерами он читал «Капитал» Маркса, но, одолев две страницы, засыпал, рассказывая наутро, что он усвоил, но делал это весьма своеобразно: брал книгу и читал ей вслух эти же страницы, отчего ее утренняя жизнь превратилась в мучительную пытку. Мильда даже не допивала свой чай и убегала на работу, ссылаясь на то, что ее просили прийти пораньше.

— Я хотел бы видеть тебя прямо сегодня, — прошептал Киров. — Как ты?

— Хорошо, — ответила она.

— Тогда я выписываю пропуск, а машина будет тебя ждать на прежнем месте. Договорились?..

— Да...

— До встречи...

— Хорошо, — еле слышно проговорила она и положила трубку.

— Кто это? — спросила Зина.

— Из обкома, — ответила Мильда. — У них опять завал, просили подъехать два доклада помочь перепечатать.

— А мне можно? — спросила Зина. — Они хорошо платят?..

— Я спрошу, они не всех еще приглашают, это уж меня по старой памяти, — ответила она, раздумывая, что она скажет мужу. Он запретил ей брать ночную работу, вдвоем они неплохо получали, во всяком слу-

чае, им хватало, и особой нужды в подработке не было. Надо будет что-то придумать.

— А хочешь, я одну напечатаю бесплатно, пусть они посмотрят, скажешь, не успевала, подругу попросила, она тоже хорошая машинистка, вот если оказия какая, то можно и ее привлекать, — не унилась Зина.

Она была коммуновка, родители погибли в гражданскую, приехала в Ленинград из Рыбинска, сама нашла работу, добилась общежития. Энергии и пробивной силы Зине было не занимать. Однажды на танцевальном вечере она подошла к самому Чугуеву, начальнику их управления, пригласила его танцевать и не выпускала минут двадцать, о чем-то с ним весело балагуря и смеясь.

— Хороший мужик, — вернувшись к Мильде, бросила она, — приглашал на рыбалку в воскресенье. Это у них пароль такой: на рыбалку или на охоту. А там понятно для чего.

— И ты поедешь? — спросила Мильда.

— Не знаю, может быть. Мне бы комнатку сейчас, метров двадцать в коммуналке, а то надоело в общежитии. Вот тогда можно будет и мужа подыскивать. А пока, девка, гулять надо! — бросила Зина ей.

Мильда нахмурилась. Это была уже явная грубость — обратиться к ней с такими словами. Какая она ей девка?! Зина числилась ее помощницей, и служебные отношения диктовали совсем иной тон отношений.

— Извини, это я себе сказала: «пока девка, гулять надо!» — поняв перемену настроения Мильды, тотчас выкрутилась Зина, переиначив и смысл фразы. Мильда всегда поражалась этому виртуозному хамелеонству Зинаиды, по-своему оправдывая ее: станешь сиротой — ко всему приспособишься. Но свое сиротство и революционную смерть родителей Зина

ловко использовала и в миг опасности выставляла их как щит. И надо сказать, щит отражал удары судьбы. Зина умела быстро прикинуться жучком, лечь на спинку и шевелить лапками: сдаюсь, сдаюсь и больше не дерусь. Вот и свою двадцатиметровку в коммуналке она все же у Чугуева выпыганила.

— Хочу на шубу себе скопить, — поделилась своей мечтой Зинаида. — Сейчас можно беличьё недорого купить. А я хочу лисью, знаешь, с таким большим мехом, рыжую, у меня даже дыхание спирает, когда я воображаю, что надена ее. А через обкомовский распределитель она как беличьё на базаре стоит, — бросив работу и прильнув к Мильде, зашептала Зина. — Вот почему я и хочу с завканцелярией обкома познакомиться. Да я ей бесплатно целый год готова все подряд печатать, лишь бы записочку или талон на шубу получить. Ты как с ней?

— Никак, — ответила Мильда, хотя хорошо знала заведующую канцелярией обкома. «Нет, пускать ее туда опасно», — подумала Мильда.

— Жалко... Чугуев говорит, это только через обкомовских, не ниже заотдела или завканцелярией, — вздохнула Зинаида, дав понять, что с Чугуевым она на коротке и при случае могла бы тоже помочь.

Она вернулась на свое место, и на ее обиженном лице помимо досады можно было прочесть и злобу, словно Мильда нарочно не хочет помочь Зине приобрести лисью шубу. «Вот дрянь», — подумала Мильда.

Трамвай сделал очередной поворот, и Мильду бросило вправо, прижав к замерзшему окну. Машина Кирова ждала ее у Московского вокзала. Это было удобно во всех отношениях, но главное — не бросалось в глаза. На привокзальной площади всегда сто-

яли машины, кого-то провожая, кого-то встречая, а потом до Смольного от Московского рукой подать.

Муж устроил ей скандал, хотя она попыталась объяснить, что отказаться было никак невозможно, звонил сам Пылаев, ее уговаривал, работа срочная, надо распечатывать материалы семнадцатого съезда, а к такой работе не всех еще и привлекают, но Леонид и слышать не хотел ее жалких оправданий. Ушел к детям и не появился даже к ужину. Но Мильде было все равно. Если б муж запер ее в комнате, она бы через окно сбежала. Он теперь дня три не будет с ней разговаривать. Ходить молчком, наткаться на нее и шарахаться в сторону. Противно.

Они познакомились в Луге, в январе 1925 года. Николаева поселили в то же общежитие, где жила Мильда, и он, увидев ее, застыл на месте, а потом подошел и первым представился.

— Лев, — сказал он, подав потную слабую руку.

Она так и стала его звать, через месяц с удивлением узнав, что настоящее его имя Леонид.

— Леонид мне не подходит, — ответил он в ответ на ее недоумение. — Я Лев, это мое настоящее имя.

Лев был тщедушным, полтора метра ростом, с длинными руками и сутулой фигурой. Но лицо — открытое, мягкое, с нежными линиями губ — скрадывало недостатки фигуры. Он стал поджидать Мильду после работы, провожал до самой двери и непременно напрашивался в гости. Приходил вечером и сидел с семи до одиннадцати, разглагольствуя о перманентной революции Троцкого, и девчонки, с которыми Мильда жила в комнате, уже в начале десятого начинали громко во весь голос зевать, давая понять, что «перманентнику» пора уходить. Утром он сопровождал Мильду до работы, она жаловалась, что не высыпается, тонко намекая на его засиживания, а он рассказывал ей, что Наполеон спал по четыре часа

в сутки, правда, в ванне с соленой водой. А поскольку ванна не всегда под рукой, то он приспособился обматывать голову тряпкой, вымоченной в соленой воде.

— Вот, подожди! — Николаев остановился, стал открывать портфель, но замки заедало, он нервничал, а Мильда опаздывала на работу. Она думала, что он хочет всучить ей яблоко или какой-нибудь бутерброд, в одиннадцать часов после короткой физзарядки следует что-нибудь съесть. Наконец Леонид открыл портфель и вытащил грязную желтоватую тряпку. — Вот эта тряпка, которой я голову обматываю, — похвастался он. Мильда готова была убить его.

Ни слова не говоря, она бросилась бежать в уком и опоздала всего на четыре минуты. Ей сделали замечание. Примчись она минутой позже, ей пришлось бы писать объяснительную, и могли вклеить выговор. С дисциплиной у них было строго.

В Луге Николаев работал управделами укома комсомола, Мильда — заведующей сектором учета в укоме партии. Она была членом партии с 1919 года, он вступил в ВКП(б) год назад, ее все любили, единодушно выбрав председателем товарищеского суда, его же еле терпели за заносчивость и самомнение.

Так продолжалось месяца два, пока Николаев не набрался храбрости и не объяснился ей в любви, предложив стать его женой. Мильда ничего не ответила, лишь пожала плечами. Еще через неделю он встретил ее поздно вечером у общежития и сказал, что если она откажет ему, то он покончит с собой. Николаев даже вытащил револьвер и, откинув барабан, показал, что он набит патронами. Мильда испуганно посмотрела на него.

— Да ты не бойся, есть и разрешение! — усмехнулся он и вытащил карточку, на которой была его

фотография в буденовке. — Я его в восемнадцатом еще приобрел, в гражданскую, а разрешение выдано вот, второго февраля 1924 года. Бой отличный, я проверял недавно.

— А ты воевал? — стараясь перевести разговор на другую тему, спросила Мильда.

— Я? Хотел, но... Не получилось.

— Зачем тебе тогда револьвер?

— Разве мало врагов? — спросил Николаев.

— С врагами борются чекисты...

— Есть и невидимые враги, — туманно ответил Николаев.

Ей шел уже двадцать пятый год, возраст почти критический для незамужней женщины. Луга — маленький городок, почти поселок, и претендентов на ее девичье сердце пока не находилось. Николаев оказался первым, кто попросил Мильду стать его женой, а ей давно хотелось иметь семью и детей. И ультиматум Леонида покончить с собой, если она не согласится стать его женой, хоть и пугал, но льстил ей. Еще никто не говорил ей таких слов, никто не хотел умереть ради нее. Мильду немного раздражало его занудство, то, с какой назойливостью он старался выказать ей свое расположение, свою любовь, но это не самый страшный недостаток в мужчине. Хуже, когда женщина нужна мужчине только для сладких утех, а таких предложений Мильда получала предостаточно. Николаев собирался осенью уезжать в Ленинград, и ей тоже хотелось уехать, начать новую жизнь в большом городе, полную тайн и романтических загадок. Николаев был младше ее на три года, для девушки это тоже важно, и, взвесив все преимущества, она согласилась.

Трамвай подползал к Московскому вокзалу, Мильда поднялась, прошла к выходу и неожиданно увидела мужа в соседнем вагоне. Он сидел боком к

ней, надвинув на лоб старую беличью шапку, худенький, шупловатый, подняв воротник вытертой кожаной куртки, которую Мильда сама подбивала ватным для тепла. Едва она посмотрела в его сторону, он повернулся к ней спиной, надеясь, что его не заметят, хотя оба вагона шли полупустые, время около десяти вечера, темно и холодно.

Мильда пристыла у входа, лихорадочно раздумывая, что ей делать. Кировская машина подойдет к десяти. К этому часу в Смольном оставались лишь дежурные, изредка секретари и заведующие отделами, у кого накапливалась срочная работа, но чаще всего ее брали на дом. Сергей Миронович не приветствовал ночных бдений своих подчиненных, хотя сам любил засиживаться до утра.

Она присела на пустое сиденье, оставалось несколько секунд до остановки трамвая, и надо было на что-то решаться: выходить или ехать дальше. Но если выйдет, то он увидит, как она садится в машину, номера ее известны каждому ленинградцу, а за машинисткой никто таких машин не посылает. Значит, муж ей не верит и, может быть, давно следит за ней, еще с тех последних встреч с Кировым перед его отъездом в Москву. Уж очень ловко Николаев все это проделывает.

Трамвай остановился. Мильда по инерции вышла, двинулась вдоль вагона, звякнул звонок, она оказалась напротив последней двери, и какая-то неведомая сила будто подтолкнула ее в спину, заставила снова запрыгнуть на подножку и войти в вагон. Трамвай тронулся. Николаев, стараясь соблюдать конспирацию, двинулся вперед, а оглянувшись, увидел удаляющийся вагон и ее фигуру в желтоватом вагонном сумраке. Трамвай дернулся, заскрежетали провода, выбросив облако желтых искр, и оба вагона стремительно помчались вперед, а Николаев все еще

стоял на привокзальной площади, глядя ей вслед, понимая, что его провели, облапошили. Мильда его обнаружила и открывать свои секреты ему не собирается.

Выйдя на следующей остановке, она вернулась назад, но не стала подходить к машине, находившейся на прежнем месте, оглядев сначала внимательно площадь перед вокзалом. Николаев не глуп, он понимает, что если Мильде надо было сойти у Московского вокзала, то ее должен кто-то здесь ждать, и она обязательно вернется. И она его высмотрела. Он стоял у входа в вокзал, заняв самую удобную точку для обзора, откуда вся площадь просматривалась как на ладони. Мильда знала: он упорный, он будет караулить ее часа полтора, пока не поймет, что она уже не придет. Мильда пошла обратно. Ничего, она доберется сама, а он пусть дежурит в своей куртке на ватинчике в пятнадцатиградусный мороз с ветром. Завтра сляжет, будет ходить с перевязанным горлом и мученически смотреть на нее. «Страдалец чертов, навязался на мою шею!» — она ругалась, потому что следующая остановка была далеко, а ветер с мелким колочим снегом бил в лицо, и глаза слезились.

Пока Мильда добралась до трамвайной остановки, ее высквозило всю, руки заоченели так, что пальцы почти не двигались. Она завернула за угол, чтобы спрятаться от ветра, и стала ждать трамвая. А он все не шел, и провода не вздрагивали. «В это время они, наверное, ходят редко, — подумала она, — а из-за снега и ветра могла случиться поломка... Сережа там ждет, волнуется...» Ей так нравилось это имя — Сережа, что она готова была повторять его каждую минуту. Так она приплясывала, глядя на провода и вслушиваясь в ночную тишину, но было тихо: лишь завывание ветра да шелест снежинок. Одинокий мужчина с поднятым воротником овчинного ту-

лупчика прошел мимо и как-то странно посмотрел на нее. Потом замедлил шаг, оглянулся и еще медленнее двинулся вперед. У Мильды екнуло сердце. В руках у нее была сумочка, а ночные грабежи совершались регулярно. Жертв чаще всего убивали, чтоб не оставлять свидетелей. Обо всем можно было услышать в трамвае, и Мильда, добираясь до работы, узнавала все городские новости, о которых газеты чаще всего не сообщали. И хоть в сумочке у нее ничего не было, кроме новенького паспорта, который ей выдали совсем недавно, пудреницы, помады, ключей от дома, нескольких шпилек, десяти рублей с мелочью, канцелярских скрепок, карандаша и носового платка, но зато сама сумочка, произведенная в Германии, была очень красивая, из натуральной кожи, с золотыми застежками. Сережа привез ее из Москвы. И стоила она совсем недорого: двадцать семь рублей. На рынке, конечно, таких красивых нет, но есть другие сумочки, тоже иностранные, они меньше трехсот не стоят. Сережа подарил ей сумочку на день рождения.

Мужик в тулупчике прошел еще несколько метров и остановился. Оглянулся и зорким глазом осмотрел Мильду. И конечно же заметил сумочку. Как назло, на улице никого не было, трамвайные провода не покачивались, и одинокий фонарь желтым подслеповатым глазом мигал на целый квартал. Мильда стояла под фонарем и не могла сдвинуться с места. Ее парализовал страх. Можно было броситься обратно к вокзалу, но в трех метрах от фонаря плотной стеной подступала черная темень, а бежать было далеко и скользко. Она стояла, оцепенев, и мужчина тоже стоял неподвижно, очевидно раздумывая, что ему делать. Сейчас все злые, голодные, и самый мирный обыватель становится волком. Поэтому Сережа и посылает за ней машину: одной опасно прогуливаться в такое отчаянное время.

Будь Мильда повнимательнее, она бы заметила, что незнакомец следит за ней от самого ее дома. Он ехал тоже в соседнем вагоне вместе с ее мужем и тоже хотел выйти у вокзала, но наметанным глазом сразу же заметил ее странное беспокойство и успел впрыгнуть вместе с ней в вагон и проехать лишнюю остановку. Потом прошел следом за ней до вокзала и успел спрятаться в подворотне, когда она повернула назад, чертыхаясь и проклиная бабью непоследовательность. Он был профессионалом, личным агентом Хозяина и имел кодовое имя: Шуга. Однажды он сказал Хозяину: «Да я так шугну его, он после этого и возраст свой не вспомнит!» Речь шла о каком-то ухажере Надежды Сергеевны из Промакадемии, Коба одно время очень ревновал жену. С тех пор к нему и прилепилось это прозвище: Шуга.

Вот уже почти два года с тех пор, как Хозяин и Киров сблизились, он следил за Мильдой и Кировым, докладывая, как складываются их отношения, выполняя и отдельные мелкие поручения — собирая компромат на зиновьевцев, Сталин не доверял Медведю, начальнику Управления ОГПУ в Ленинграде. И вообще Шуга как бы работал здесь один, заменяя целое следственно-сыскное управление. Правда, за это время он уже наработал кое-какие прочные связи, завел своих осведомителей, дружков, кое-кого даже из секретарей Кирова. Хозяин ему так и приказал: «Врастай в город, это важно!» И он врал. Отношения Кирова с Мильдой прервались три месяца назад, но перед отъездом на семнадцатый съезд они снова сблизились. Шуга в те январские дни лежал с температурой сорок и проследить за их встречах не смог, а Хромой, как он называл в своих отчетах завербованного им агента, работавшего в секретариате Кирова, без его указаний никакой самостоятельности не предпринимал. Он действительно не-

много прихрамывал и пользовался исключительным доверием ленинградского Хозяина, что во многом облегчало всю работу. Но ту январскую встречу Шуга в своем отчете даже не указал, пойдя на определенный риск: если в Ленинграде работает второй агент, и он укажет это свидание, Шуге придется отвечать по всей строгости и быть крепко битым. Не мог же он написать в донесении Хозяину, что три дня валялся в лежку с температурой. Больничные дни в его профессии не полагались. Поэтому, узнав о намеченном свидании после возвращения Кирова из Москвы, Шуга решил лично удостовериться, что оно состоится: тихо проводить Мильду до здания обкома, а там в секретарской уже сидел наготове Хромой, который аккуратно запишет все разговоры Кирова и Мильды с помощью особого аппарата — диктографа. Коба с помощью Паукера купил в Америке три таких записывающих аппарата. Один находился у Ягоды в ОГПУ, другой — у Сталина в Кремле, третий — у Шуги.

Когда он миновал Мильду на остановке, у него вдруг мелькнула дерзкая мысль: а что, если познакомиться с ней? Все равно она его уже увидела. Было бы неплохо проводить ее до обкома, поболтать, стать другом, тогда все новости можно было бы получать из первых рук. Хоть это было и против всех правил его профессии — входить в контакт с тем, за кем он вел наблюдение, но Шуга не терпел догматов. Мастер, а он считал себя Мастером, изобретает собственный стиль, собственные правила игры, и поэтому побеждает. Пока он решал этот тактический вопрос, то обнаружил, что Мильда приняла его за бандита и испуганно прижимает сумочку к своей груди. Кроме того, он видел, что она совсем закоченела, а этак недолго было схватить и воспаление легких.

Он не торопясь двинулся к ней, но Мильда испу-

ганно попятилась назад, поскользнулась, упала, а поднявшись, что есть мочи помчалась в сторону вокзала.

«Вот дура!» — выругался Шуга.

— Эй, девушка! Подождите! Я ничего вам не сделаю! Да подожди ты! — закричал он ей вслед и тоже бросился за ней.

Бегал он неплохо. Это тоже как бы входило в профессию: умение уносить ноги. Поэтому расстояние между ними стало заметно сокращаться, и он понял, что перехватит ее раньше, чем она успеет выскочить из темноты улицы на освещенный пятачок площади.



Киров посмотрел на часы и немного обеспокоился: без двадцати одиннадцать, ехать от вокзала максимум десять минут, а Мильда никогда раньше не опаздывала. «Неужели что-то случилось?» Шоферу он приказал ждать до одиннадцати. Через полчаса он должен подъехать. Будет обидно, если она не придет. Он соскучился, привез ей подарки: ситцевый платок, черно-белый в горошек, и какую-то немецкую помаду. Последняя стоила дорого — десять рублей, подsunул ему ее Паукер, заявив, что любая женщина растает от счастья, заполучив такую парфюмерию. Паукер давно лезет к нему в друзья, намекнул, что к следующему приезду достанет и такую же «жилеточку, как у Папы».

Перед отъездом Кирова в Ленинград Сталин вдруг заговорил о том, что ему не на кого опереться в Политбюро. Никто ничего не предлагает, все ждут, что скажет Сталин, а когда он вносит свои предложения, все морщатся. Куйбышев только и ждет, чтобы занять его место, а теперь обиделся, что Сталин взял в секретари не его, а Жданова.

— Даже с банкета ушел не простившись, — усмехнулся Коба. — А почему я должен брать в секретари его, а не тебя? Кто в Госплане будет работать? Клим уже давно рвется перейти на какую-нибудь хорошую партийную должность! Армия, видите ли, ему осточертела! А что ты сделал для армии?! Моло-

тов по каждому вопросу бегают советоваться. А чтобы держать их всех под контролем, кнутом погонять, на это совсем времени не остается...

Он шумно вздохнул, и в глазах у него промелькнула растерянность. В такие минуты Киров испытывал к Сталину почти братскую нежность, он казался ему сиротливым и потерянным. И эти десять лет после смерти Ленина Кобе дались нелегко. Киров хорошо помнил Четырнадцатый съезд партии, когда вопрос о пребывании Сталина на посту генсека встал особенно остро.

— Мы против того, чтобы создавать теорию «вождя», мы против того, чтобы делать «вождя», — громогласно заявил Каменев, выступая с трибуны съезда. — Я неоднократно говорил это т. Сталину лично... я неоднократно говорил группе товарищей-ленинцев, я повторяю это на съезде: я пришел к убеждению, что тов. Сталин не может выполнить роли объединителя большевистского штаба... Мы за то, чтобы внутри наша верхушка была организована таким образом, чтобы было действительно полномочное Политбюро, объединяющее всех политиков партии, и вместе с тем, чтобы был подчиненный ему и технически выполняющий его постановления секретариат... Мы не можем считать нормальным и дураком, что это вредно для партии, если будет продолжаться такое положение, когда секретариат объединяет и политику, и организацию, и фактически пред-решает политику...»

Это был мощный удар по Сталину. Что тут поднялось в зале: свист, выкрики, шум. Одни кричали: «Неверно! Чепуха!» Другие выкрикивали обратное: «Мы не дадим вам командных высот! Сталина! Сталина!»

Рыков, председательствующий на этом заседании, долго не мог утихомирить разгоряченный зал.

— А кого вы предлагаете? — кричали из зала.

Каменев, конечно, имел в виду прежде всего себя и Зиновьева, но не сказал — побоялся. Сталин сидел в президиуме, натянутый как струна, с бледным лицом, хотя эта бледность проявлялась в том, что кожа на лице серела, приобретала землистый оттенок. Неизвестно, чем бы закончилось выступление Каменева, не объяви тогда Рыков десятиминутный перерыв.

Уже чуть позже, на пленуме, Сталин заявил, что просит освободить его от обязанностей генерального секретаря ВКП(б), что он просил об этом и раньше и вовсе не держится за этот пост. Наоборот, ему с каждым годом все труднее справляться со столь тяжелой нагрузкой, но председательствующий на пленуме, тот же Рыков, отвел просьбу Сталина. И все же вопрос поставили на голосование. Лишь один голос был против, остальные за Сталина. Тогда он сам предложил ликвидировать институт генсека. Но и тут Рыков отвел просьбу Сталина как уловку для того, чтобы не стать генеральным секретарем. Предложение Рыкова приняли единогласно. Это было, кажется, уже в 1927-м... А теперь и Рыкова нет. Сталин убрал его вместе с Бухариным. Уже сейчас, на семнадцатом съезде, в кулуарном разговоре с Кировым у Бухарина нечаянно вырвалось: «Если б знали тогда, в двадцать седьмом, соломки бы подстелили».

Да, тогда они могли бы удовлетворить просьбу Сталина, и генсеком мог стать Рудзутак, Каменев или Зиновьев. Но Рудзутак бы долго не продержался, а Зиновьева никто не хотел: он в Петрограде проявил себя разнузданным тираном, пролившим немало крови. В партийной среде отличался высокомерием, и возражений, даже самых разумных, не терпел. Так что если б тогда генсеком избрали Зиновьева, стало бы еще хуже, и в витринах на улице Горького повсе-

местно торчали бы портреты Зиновьева, а не Сталина.

Странно все складывается. Коба теперь ночами не спит, все думает, как бы оторвать голову Зиновьеву, а ведь именно Григорий Евсеевич сделал Сталина в 1922-м генсеком. Он протаскивал его вверх еще на Одиннадцатом съезде партии в 1921 году с явной целью использовать мрачного и грубого Кобу лишь как ширму, таран в борьбе против Троцкого, который тогда никого к Ленину не подпускал. Зиновьеву даже в голову не приходило, что сынок неграмотного грузинского крестьянина из какой-то деревеньки Диди-Лило может всерьез рассчитывать на власть в огромной русской стране. Но в двадцать первом Ленин остроумно заметил Григорию: «Не советую, этот повар будет готовить только острые блюда». Но если Зиновьев что-нибудь задумает, сбить его с цели невозможно. Коба сопротивлялся, но Зиновьев стукнул кулаком по столу и сказал: надо!

— Тогда предлагаю организовать тройку, — сказал Коба Зиновьеву. — Ты, я и Каменев.

— Согласен, — кивнул Зиновьев. Это «Политбюро» на троих держалось вплоть до начала двадцать пятого года, когда Григорий Евсеевич вдруг прозрел и понял, что генсек Коба никакая не «ширма» и передавать власть вдохновителю не только не собирается, но исподволь копит силы, чтобы убрать его с Каменевым. Страшное прозрение наполнило Зиновьева таким невероятным гневом, что он впервые совершил грубую стратегическую ошибку, начав объединяться против Кобы с тем, кого сам только что развенчал и стер в порошок — с Троцким, подарив Сталину столь быструю и на редкость удачную возможность легко разделаться с обоими. И Коба этого шанса не упустил.

Киров, размышляя обо всем этом в ожидании

Мильды, отметил для себя, что, на первый взгляд, проникновение Сталина во власть постороннему человеку покажется случайным. Если б не болезнь Ленина в конце двадцать первого года, который не мог уже руководить Зиновьевым и всем политическим процессом в стране, если б не еврейское «хитроумие» Григория Евсеевича, который, чтобы свалить «бонапарта Троцкого», единственного, как он полагал, его соперника после Ленина, и сделал Сталина генсеком, да если б не его амбиции потом, когда он решил дать Кобе «последний и решительный», возможно, вся история СССР была бы иной. Возможно. Но Киров помнил, как Коба при нем наставлял китайских революционеров: «Главное, тихо, незаметно, ползком проникнуть в аппарат новой власти, занять там ключевые посты и через них удовлетворять свои насущные потребности». Сталин играл с Зиновьевым, прикидывался деревенским простачком, отказываясь становиться генсеком, ссылаясь на отсутствие опыта в канцелярских делах. Зиновьев радостно похмыкивал, слыша, как Сталин жалуется на скуку и мелочность аппаратной работы для революционеров и еще настойчивее его агитировал, обещая свою помощь и покровительство. И дальше Коба снова не сфальшивил, предложив негласный «триумvirат»: официально лишь он считался генеральным секретарем и тройки-Политбюро фактически не было. И в 1927-м он переиграл уже и Рыкова, когда настаивал на своем отводе из генсеков, на ликвидации института генсека. И сегодня должности генерального секретаря как бы не существует. Они четверо — Сталин, Киров, Жданов, Каганович — равноправные секретари. Но попробуй только Жданов или Каганович решить какой-нибудь самый простенький вопрос самостоятельно, Сталин быстро покажет то место, куда Макар телят не гонял. Он Кирова и к Ленинграду ревнует.

Жизнь здесь идет без его ведома. И это Сталина беспокоит. Поэтому он и хочет отобрать у Кирова Ленинград.

Сергей Миронович уже всерьез разволновался, что Мильды до сих пор нет. «Нет, явно что-то с ней случилось!» Он поднялся, заходил по кабинету, не зная, что предпринять. Надо дождаться возвращения машины. Это первое. А потом уже взяться за энергичные меры. Разбудить Медведя, поднять на ноги милицию. В конечном счете он ждет своего секретаря, чтобы работать, готовиться к докладу. А кто что подумает — ему наплевать. Даже мнения Кобы он здесь учитывать не будет. Если ему нравится Роза Каганович, которая, лаская, называет его царем, своим боженькой, вот и на здоровье, пусть утешается с ней. А то он хочет уже и личную жизнь своих ближних подданных регламентировать на свой лад.

Прощаясь, Сталин протянул Кирову книгу Гитлера «Моя борьба», изданную в твердом переплете, с желтой обложкой, на которой чернела фашистская свастика.

— Мы для узкого круга перевели и издали, — сказал Коба. — Врага надо знать в лицо, — усмехнулся он. — Хотя какой Гитлер враг, он сам признает, что марксизм — это лучшее учение из всех и многое ему дал. Я тебе тут одну только фразу хочу показать, — Сталин открыл книгу, быстро нашел нужную страницу в середине объемистого тома и ткнул пальцем во второй абзац. — Вот, вслух прочитай!

Киров взял книгу и прочитал вслух:

— «Прежде чем побеждать внешних врагов, надо сперва уничтожить противника внутри своей страны...»

— Мудрые слова! — сказал Сталин и процитировал вслух другое изречение Гитлера: — «Я иду впереди своего народа как его первый солдат: а за мной,

пусть это знает весь мир, идет народ...» Ну как сказано? Нет, что ни говори, а он очень умен, этот Адольф! «Горе тому, кто слаб!» — восклицает он, и опять он прав. А знаешь, что говорил Ленин? «Важно в решающий момент, в решающем месте быть сильнее, победить!» Что говорит наша пословица? Важно быть в решающем месте в решающий момент, так? Но Ленин ее точно переделывает, он говорит: важно быть сильнее, а значит, горе тому, кто слаб! Знаешь, читаю Гитлера и такое иногда ощущение, будто с Лениным разговариваю. А иногда он словно у меня с языка слова снимает! Вот стервец!..

Сталин помолчал, потом вдруг сказал:

— «Я должен приучить самого себя быть жестоким» — как просто и в самую точку! Горе тому, кто слаб!

Лишь сейчас, вспомнив этот разговор перед отъездом, Киров оценил всю прозорливость слов Сталина: он говорил о том, чего ему не хватает, чтобы стать настоящим вождем, наравне с ним. «Голубиная душа!» — любил повторять Коба в первые годы знакомства с Кировым. Но от той голубиной души теперь у Кирова и перьев не осталось. Она превратилась в крепкое мускулистое тело, которое, может быть, еще и уступает по прочности железу, но руками ее не разорвать. «Наверное, и у Сталина есть срок, — подумал Сергей Миронович. — И просто так, одним голосованием на Политбюро его уже не свалить — всех передушит за одну ночь, едва они заикнутся об этом. А если переезжать в Москву, то не для того, чтобы быть на побегушках у Кобы. Если переезжать, то брать власть в свои руки. Коба никого не устраивает. Он сделал свою черную работу, разгромил оппозиционеров, но, громя их, так увлекся, что поневоле продолжает выискивать врагов среди трупов. А для того, чтобы занять место Кобы, я должен при-

учить себя быть жестоким. Коба прав в одном: горе тому, кто слаб!..»

Киров так разволновался от этих мыслей, что на мгновение даже забыл о Мильде. Дверь в коридор была приоткрыта, и он вдруг услышал странный скрип, как будто кто-то выдвинул ящик письменного стола. Сергей Миронович вышел в полутемный коридор, где горела одна дежурная лампочка, огляделся. Из-под двери соседней комнаты секретарей пробивалась полоска света. Киров вошел в секретарскую. Один из его помощников, Алексей Гудовичев, продолжал работать. Увидев Кирова, он поднялся.

— Привожу в порядок стенограммы секретариата за прошлый год, чтобы сдать в архив, — пояснил он.

Гудовичева Киров знал еще с гражданской. Его тогда ранили в ногу и с тех пор он прихрамывал.

— На сегодня хватит, Алексей Иванович, идите домой, — приказал Киров.

— Но, Сергей Миронович, вы сами разрешили мне остаться сегодня, чтобы закончить эту работу, а потом я живу за городом и уже не сумею попасть домой, — оправдываясь, забормотал Гудовичев.

— Домой! — угрожающе повторил Киров, бросив на помощника столь жесткий взгляд, что Гудовичев, помедлив, кивнул и стал собирать бумаги, разложенные на столе.

Киров лишь на мгновение ощутил некоторую неловкость: любому руководителю негоже переиначивать свои распоряжения да еще выходит, что он выгоняет человека попросту на мороз ради своих утех; куда он пойдет в столь поздний час, но, вспомнив рассуждения Кобы о жестокости, подумал, что с таких мелочей все и начинается. Надо выгравлять в себе остатки этой ненужной жалости, иначе ему стоит идти в управдомы, а не в секретари ЦК.

Гудовичев неторопливо спрятал стенограммы в

стол, закрыл его на ключ, разложил аккуратно на столе канцелярские принадлежности, причесал расческой волосы, продул ее, сунул в карман. Киров стоял на пороге. Гудовичев же медлил, точно ожидая, что Киров переменит свое решение, что-то начал искать в шкафу, но, так и не найдя, снова вернулся к столу, выдвинул один из ящиков, рылся несколько минут, закрыл ящик и лишь тогда стал одеваться. Закрыл секретарскую на ключ и, прихрамывая, двинулся по коридору.

— До свидания, Алексей Иванович, — бросил ему в спину Киров.

— А, до свидания, извините, Сергей Миронович, я задумался и забыл попрощаться, до свидания, — Гудовичев обернулся, напряженная улыбка мелькнула на его лице. Все это показалось Кирову странным, но он услышал знакомую частую дробь ботиночек в конце длинного обкомовского коридора, и сердце его мгновенно наполнилось радостью: Мильда! И он тотчас забыл о Гудовичеве, бросился ей навстречу. Она, увидев его, побежала к нему, запнулась, упала, он поднял ее на руки, прижал к себе. Она была как ледышка.

Киров на руках принес ее в кабинет, снял ботиночки, стал водкой растирать ноги, руки, заставил выпить сто грамм, а потом раздеться донага, и, уложив на кожаный диван, растер до красноты все тело.

В кабинете было тепло, он укрыл Мильду пушистым пледом, который она, купив за сумасшедшие деньги, подарила ему на прошлый Новый год, угостил ее шоколадом, и Мильда стала рассказывать, как ее только что чуть не убили. Она рассказала сначала о муже в трамвае, как он вышел на той остановке у вокзала, и постепенно дошла до грабителя, который ее поначалу приморозил, а потом, увидев, что его жертва совсем скрючилась от холода, кинулся ее гра-

бить. Она с криком бросилась прочь, в сторону вокзала, но, на ее счастье, шофер отъехал от вокзала на четыре минуты раньше. Она увидела фары машины, и Семен, так звали шофера, тоже сразу узнал ее. Он резко затормозил, выскочил из машины, выхватил пистолет и несколько раз выстрелил: сначала в воздух, а потом в сторону бандита. Тот перепугался и бросился наутек.

— А могла бы и лежать на трамвайных рельсах с пробитой головой! — повеселев от выпитых ста граммов водки, говорила она. — Этот негодяй даже кричал мне, чтоб я остановилась! — добавила Мильда.

— Ты запомнила его лицо? — спросил Киров.

— Нет, — подумав, ответила Мильда. — У него воротник был поднят, а потом я так перепугалась, что ничего не видела вокруг.

— Значит, жить будешь долго! — прошептал он, обнимая ее.

— Для меня главное, чтоб ты жил долго-долго! — прошептала Мильда. — Так долго, сколько вообще не живут!..

— А сколько не живут? — спросил Киров.

— Ну, лет сто, наверное...

— Сто лет живут, — сказал он. — Я когда работал на Кавказе, там был один старец, ему исполнилось сто двенадцать лет. И крепкий старик, еще по женщинам похаживал... — Киров усмехнулся. — Сталину пятьдесят пять, он на семь лет меня старше, а выглядит моложе. И тоже долго проживет.

— А отчего живут долго?

— Горный воздух, спокойная жизнь, никаких грабителей, хорошее вино, да мало ли почему... Как дети?

— Все хорошо...

Мильда почувствовала, что не случайно был задан этот вопрос, и замолчала.

— А у тебя есть с собой их фотография?

— С собой нет. А что?

— Так, ничего, — он помолчал. — Когда мы познакомились, ты ведь еще не была беременна?

— Почему ты спрашиваешь? — Мильда смутилась.

— Ты не ответила, — напомнил он.

— Нет, — не сразу проговорила Мильда, и щеки ее запылали.

— Я об этих дурацких слухах. Даже Сталин о них знает.

— Сталин? — Мильда даже приподнялась с дивана и посмотрела на Кирова. — А откуда он...

Она не договорила.

— Он все знает. И о тебе, и обо мне, все.

— Но зачем?

Киров усмехнулся. Он хотел ей сказать, что политики иногда тоже занимаются перетряхиванием грязного белья, но раздумал.

— Вожди тоже обыкновенные люди, а Коба к тому же мой друг, вот ему и интересно, кто такая Мильда Петровна и чем она сумела приворожить сердце секретаря ЦК да еще родила сына, который, как все уверяют, на меня похож. — Киров улыбнулся. — А вновь испеченному секретарю ЦК тоже хочется знать, по-пустому ли болтают, или же дыма без огня не бывает. Что скажешь?

Мильде очень хотелось сказать: да, это твой сын, Сережа, но она вдруг испугалась. Что-то странное, пугающее послышалось ей в интонации Кирова. Так расспрашивают, когда не хотят знать правду. И во взгляде, хотя он улыбался, таилось что-то неискреннее, недоброе. Мильда сжалась, точно от озноба, Киров обнял ее и прошептал:

— Что ты молчишь?

— Нет, это не твой сын, пустое болтают, — ответила она.

— Жаль... А я уж расчувствовался...

— Если ты хочешь, еще не поздно, — смущаясь, сказала она.

— Теперь уже поздно, — твердо ответил он. — В сорок восемь уже поздно становиться отцом.

«Как хорошо, что я ему не сказала», — подумала Мильда.

Он поцеловал ее. Они не заметили, как большая стрелка часов стала спускаться к шести утра, и лишь тогда Мильда опомнилась, стала одеваться. Обычно в начале седьмого, когда начинал ходить городской транспорт, она уходила, чтоб не попадаться на глаза ранним служителям Смольного, да и утром надо было накормить детей, а в девять быть на работе.

За стенкой храпел охранник Борисов.

— Давай выберемся как-нибудь на охоту, — предложил Киров. — Дня на два, чтоб тебе утром не надо было бежать по морозу.

— А что я скажу дома?

— Я договорюсь, Пылаев оформит тебе командировку дня на три с какой-нибудь инспекцией, — успокоил ее Киров. — Это мне сложнее вырваться. Сейчас начнется кампания по обсуждению итогов съезда, надо будет встретиться с городским партактивом, выехать куда-нибудь в район, но я сумею выбрать пару денечков. Договорились?

Она кивнула. Киров снова поцеловал ее. Он как-то сказал: «Я люблю с тобой целоваться».

— Почему? — спросила она.

— Сам не знаю, — ответил он, и они засмеялись.

Ранним утром, возвращаясь домой, она снова тряслась в переполненном трамвае, зябко поеживаясь. И хоть с утра термометр показывал всего минус десять, но из-за большой влажности стекла обледе-

нели, покрывшись толстым слоем изморози, люди жались друг к другу, пытаясь сохранить тепло. Мильду укачивало, клоня в сладкую дремоту, и на мгновение она задремала, потеряв счет остановкам, а очнувшись, поняла, что прозевала свою, выскочила из трамвая и, видя, как толпа штурмует встречный одновагонник, пешком двинулась обратно. Стрелки больших уличных часов показывали десять минут восьмого, через час ей надо убежать из дому и она, спохватившись, побежала по улице, подгоняемая злым ветром в спину.

Николаев не спал всю ночь. Это было видно по его лицу с темными кругами под глазами, он дождался утра и возвращения Мильды, потому что ему хотелось заглянуть ей в глаза, самому утвердиться в страшных подозрениях, которые его терзали. И она не смогла скрыть своего счастья, как ни старалась. Он помрачнел еще больше, ушел в свою комнату, хлопнув дверью.

Мильда для детей сварила пшеничную кашу, заправила ее растительным маслом, поджарила картошки мужу на завтрак, наскоро умылась, поцеловала детей — семилетнего Леню и трехлетнего Марксика, пристально взглянув на последнего. У него был такой же разрез глаз, как у Сергея, круглое лицо, широкие скулы и высокий лоб. Она вдруг прижала его к себе и несколько секунд стояла с ним неподвижно посреди комнаты, точно кто-то хотел его отнять у нее. Малыш притих в материнских жарких объятиях и с удивлением смотрел на нее. Она поцеловала его и убежала на работу, не простившись с мужем. Ей не хотелось его видеть.

10

Николаев опоздал на работу минут на пятнадцать. Чувствовал он себя после бессонной ночи и полуторачасового дежурства на вокзале весьма скверно. Видимо, его крепко просквозило на ветру, и он часов до трех утра никак не мог согреться. Потом, напившись горячего чаю, он задремал, сидя за столом, и очнулся, лишь услышав, как открылась входная дверь. Он бросился в прихожую. Мильда старалась на него не смотреть, опускала голову, но Николаев все же увидел счастливый блеск в ее глазах, и сердце его дрогнуло. Он понял: она была с н и м. Машина Кирова ждала ее целый час, но, заметив присутствие мужа, Мильда добралась до Смольного трамвая и уж конечно никакой стенографией они не занимались. В ее сумочке, подаренной скорее всего Кировым, хотя Мильда сказала, что получила премию и отважилась купить такую красивую вещицу, о которой давно мечтала, никаких бумаг не оказалось, зато лежал ситцевый платок и помада немецкого производства. Леонид не стал спрашивать, откуда эти вещи, Мильда подняла бы скандал, что он роется в ее сумочке, но и дураку ясно откуда. Стенографистке такие презенты не дарят. Помада стоит рублей двадцать — двадцать пять и платок рублей десять — пятнадцать. Вот тебе сорок рублей, половина зарплаты рабочего на заводе. И этот счастливый блеск. У него вдруг так сжало сердце, что потемнело

в глазах. Он вытащил ее из этой зачуханной Луги, привез в Ленинград, а она просто неблагодарная свинья. И этот Киров ведет себя, как азиатский хан, поганя чужих жен. Ходили слухи, что у него были романы с заезжей московской журналисткой, а потом с балеринами из Мариинки. Месяца три он Мильду не трогал, и вот все началось снова.

В глубине души Николаев еще надеялся, что это его болезненные фантазии, не более, что Мильду действительно вызвали подработать, а там кто-то из секретарш предложил по дешевке из обкомовского распределителя платок и помаду, почему не взять, когда знаешь, что подработаешь. Да и потом Мильда получала зарплату на двадцать пять рублей больше, чем он, 275 рублей, и к празднику ей выдавали щедрый продуктовый паек, поэтому она имела право купить себе такую безделицу, как платок или помада. Лишь бы только она была с ним. Он погибнет, если она бросит его.

Николаев услышал, как хлопнула входная дверь, выскочил в прихожую, но Мильды уже не было, она ушла. Она ушла, не поговорив с ним. Может быть, она обиделась на то, что он следил за ней? Но он хотел, как лучше, он хотел просто проводить ее. Одинокой женщине с такой сумочкой опасно ходить по улицам. Николаев хотел броситься за ней следом, догнать ее, попросить у нее прощения, помириться, но теща уже звала его за стол, завтракать, и он отложил примирение до вечера.

Не успел он прийти в институт, как его вызвали в партком. Секретаря Абакумова на месте не оказалось, но его поджидала заместительница по оргработе Леокадия Георгиевна с ярко накрашенными чувственными губами и хищным разлетом бровей. В свои сорок лет она была еще весьма привлекательна и очень любила нравиться мужчинам. Злые языки поговаривали, что и с директором института Лида-

ком у нее когда-то был бурный роман, но в последнее время Леокадия Георгиевна опекала молодых.

Николаев уже приготовился к защите, полагая, что будут распекать за опоздание, но Терновская, предложив ему присесть, с ходу его огорошила.

— Леонид Васильевич, идет партийная мобилизация на транспорт, партия хочет укрепить его крепкими партийными кадрами, каждая организация выдвигает лучших представителей из своих рядов, и мы, посоветовавшись на заседании парткома, решили выдвинуть вас по этому призыву... — Терновская не скрывала своего удовлетворения тем, что они решили вышвырнуть Николаева из института.

До этого он работал в Рабоче-крестьянской инспекции инспектором цен, мотался по магазинам, штрафовал, ему пытались всучить взятку, Николаев возмущался, писал акты о попытке подкупа должностного лица, его заклинали детьми и всеми святыми, молили о прощении. Он рвал написанный акт, забирал кусок грудинки, банки консервов и уходил, а дома плакался Мильде и твердил, что его посадят. Воровать он не умел, брать взятки тоже. Мильда упросила Кирова перевести мужа на более спокойную работу, и культпропотдел договорился с директором Института истории партии Отто Августовичем Лидаком, что он зачислит Николаева к себе в сектор истпарткомиссии инструктором с окладом 250 рублей. Лидак поначалу сопротивлялся: у них все же научный институт, ему нужны специалисты историки, а брат бывшего инспектора цен, не имеющего высшего образования, как-то несолидно. Но Лидака уговорили, заявив, что человек писал в газету, самообразовывается, да и берет он его с испытательным сроком, и Отто Августович согласился. Культпропотдел быстренько сочинил ему письмецо: «Тов. Лидак!

Сектор кадров направляет Николаева по договоренности для использования по должности».

Мильда, получив эту бумагу, естественно, не стала рассказывать мужу, кому он обязан таким перемещением. Она сослалась на то, что печатала для завсектора какие-то бумаги и попросила его о таком одолжении. Он тоже когда-то работал в Луге и по давней симпатии помог найти место инструктора.

Николаева в институте встретили в штыки. Тотчас просочился слух: обкомовский блатной, и наиболее ретивые, проходя мимо, обжигали его злым взглядом, точно он был белогвардейский недобиток. Но Николаев поступил учиться в Коммунистический университет и сумел внушить к себе уважение хотя бы тем, что начал строчить докладные директору, указывая на недостатки в своем секторе и большие траты рабочего времени на всякие чаепития, обсуждения новых кофточек и даже чулок. Директор был вынужден учесть эти замечания и даже на одном из собраний отметил бдительность товарища Николаева. Он так и сказал: «Учитесь бдительности у товарища Николаева!» Последний был горд этой отметкой, не понимая, что его просто высекли: Лидак дал всем понять, что стукача Николаева надо опасаться. Леонид Васильевич же, наоборот, поощряемый таким вниманием к себе, вдруг стал выступать на собраниях и критиковать ведущих специалистов за нерасторопность. Директор лишь укажет в своем слове, что такие-то безбожно затягивают все сроки со сдачей методических разработок по отдельным разделам истории партии, а Николаев тут же обрушивается на разгильдяев со всей партийной суровостью, говоря о сталинских темпах пятилетки и что им, летописцам победоносного шествия социализма, негоже плестись в хвосте. Николаеву не столько хотелось пригвоздить нарушителей производственного графика к

позорному столбу, сколько просто произнести речь, чтоб его послушали и сказали: да, этот Николаев — головастый партиец, ему пальца в рот не клади. Ну и, само собой, как ему казалось, он помогает директору вытягивать институт из прорыва.

Он уже в коридоре стал ловить Отто Августовича и подсказывать ему свои соображения не только по части наведения исполнительской дисциплины в отделах и секторах, но, читая методические разработки научных сотрудников института, неожиданно стал находить в них серьезные несоответствия со статьей вождя Сталина «О некоторых вопросах истории большевизма», опубликованной в печати еще в октябре 1931 года и давно забытой, но в которой, как утверждал сам товарищ Лидак — Николаев разыскал и его выступление на одном из партсобраний, — были даны установки для всей их работы. Отто Августович не мог не говорить этих слов, его обязывал к этому обком партии, хотя в душе он считал статью вредной и даже изуверской. Неважно, что сделал или не сделал «подлинный большевик» в свое время, утверждал Сталин, все факты и документы необходимо проверять текущим моментом. К примеру, написал товарищ Бухарин популярную в двадцатых годах работу «Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз», и много в ней было ценных мыслей, но после этого позволил втянуть себя в оппозиционный блок с Каменевым, попытался внести раскол в ряды партии, значит, и эта работа его вредная и оппозиционная. Значит, и до этого времени он был оппозиционером и лишь хорошо маскировался. А уж о Троцком и говорить нечего. А те, кто пытается вспомнить о его вкладе в революцию, тоже скрытые контрреволюционеры. Не было никогда хорошего Троцкого, был только плохой. И Бухарин никогда не был «любим-

цем партии», что бы там ни писал Ленин. Маскировался под любимца, втерся в доверие к Ильичу.

— Нет, ты мне объясни, Михаил Семенович, — ревел от негодования Лидак, сидя в гостях у Чудова, — я теперь так должен мыслить?! Значит, долой весь объективный ход истории, и мы теперь будем перекраивать ее под вкусы товарища Сталина? А завтра он Плеханова объявит недоумком, а послезавтра Сократа? Что ты молчишь? Что мне делать? Разве можно переписывать историю, исходя из текущего момента?!

Они давно дружили с Чудовым, поэтому Лидак и мог себе позволить говорить с ним без всяких околичностей.

— Тише! Чего ты разорался?! — Чудов из опасения, что кто-то может подслушать столь опасные речи, доносящиеся из его дома, даже прикрыл форточку, хотя Лидак с разрешения хозяина надымил так, что у Чудова разболелась голова. — Ничего умного я тебе не скажу, у нас, как ты знаешь, существует партийная дисциплина и принципы демократического централизма, подчиненность сверху донизу. В ЦК постановили — взять на вооружение эту статью, вот и бери! Не согласен — у тебя есть право оспорить выводы статьи. Напиши свою, пошли в тот же «Большевик». Они, может быть, в порядке дискуссии ее и опубликуют...

— А потом мне Коба голову снимет, — обронил Лидак.

— Ну чего ты от меня хочешь? Чтобы я бросился в бой защищать твои принципы?! — вскипел Чудов.

— А своих у тебя уже нет? — заметил Отто Августович.

— Да, своих принципов у меня уже нет! — отрубил Чудов. — Я секретарь обкома и стою на страже

интересов партии. А ее политику вырабатывает ЦК, тот же Киров, к примеру, вот с ним и дискутируй!

Они чуть не поссорились в тот вечер, и Лидак, уже обученный бюрократическим уловкам, скрепя сердце провел партсобрание на тему статьи Сталина, издал приказ, чтобы все руководствовались ее основными положениями, и как бы списал все в архив, предпочитая не вспоминать ни статью, ни установки. Каково же было негодование Лидака, когда этот прыщ Николаев, раскопав сталинскую статью и решив быть святее самого римского папы, стал свертывать ее выводы с теми методичками, которые писались сотрудниками института. Он с удивлением обнаружил в них ссылки на Бухарина, а в одной из статей даже упоминание Троцкого. И хоть последний просто значился в перечислительном ряду, но сей факт Николаева так возмутил, что он не постеснялся ворваться к Лидаку в кабинет и выложить ему на стол крамольные методички.

Лидак был вынужден согласиться с Николаевым.

— Но Бухарин еще не враг, — осторожно заметил Отто Августович, сдерживая растущее раздражение против этого рахитичного и скользкого буквоеда, который, сам того не ведая, наступил на большую мозоль Лидака.

— Но Бухарин, по резолюциям последних пленумов ЦК, — лидер новой оппозиции, который вносит раскол в ряды партии, значит, он и вчера им был, — не унимался Николаев, не желая уходить из кабинета, и даже плюхнулся в кресло, что особенно взбесило хозяина. — Надо так и указывать в брошюре, а то молодые коммунисты будут введены в заблуждение...

— Я разберусь с этим недоразумением, товарищ Николаев, — мрачно выговорил Лидак и, поднявшись, чуть не силой выпроводил плюгавого нахала из кабинета.

Вот ведь беда, этот недоучка, бывший слесаришка и инспектор цен — Отто Августович читал его анкету, — прав, и стоит ему накропать донос в ЦК, Лидака вычистят из директорского кресла в два счета, а то и — страшно подумать — из партии. Да, теперь уж многое надо менять по сравнению с тридцать первым годом и, если дальше так пойдет, то придется переписывать методички каждый год.

После съезда в Институт истории партии пришла мобилизационная разнарядка — направить одного сознательного коммуниста на транспорт. Лидак долго смотрел в эту бумажку, уже злясь в душе, что опять растаскивают кадры, но, вспомнив недавний визит Николаева, просиял. Он вызвал к себе партсекретаря Абакумова и отдал приказ:

— Готовь представление на Николаева! У нас больше некого...

— А обком не будет возражать? Они же его направили.

— С обкомом я разберусь, это мои заботы!

— Но у него белый билет, его по состоянию здоровья не взяли в армию, — попробовал было напомнить Абакумов, но директор взглянул так свирепо, что партторг возражать больше не стал. Абакумов знал о дружеских отношениях Лидака с Чудовым и подумал: если возникнут трения, последний своего друга прикроет, но на всякий случай поручил известить Николаева о решении парткома Терновской, а сам, сославшись на дела, поехал советоваться в райком.

Николаев, услышав эту новость, несколько секунд сидел окаменевший, не понимая, что случилось, ведь он так хорошо начал работать в институте, подавал такие идеи, сумел даже разобраться в серьезных ошибках, которых никто не заметил, и доложил о них в тот же момент Лидаку. Почему же его устраняют из института? Это какая-то ошибка.

— Это не ошибка, — радостно улыбнувшись, ответила Терновская. Ей лично просто не нравился Николаев, она вообще не любила низкорослых и уродливых мужчин. — Мы долго обсуждали самые разные кандидатуры и подумали, что именно вы с вашей энергией и партийной принципиальностью необходимы на транспорте. Это самое узкое звено в нашем городе, — продолжила Терновская. — Утром просто невозможно сесть в трамвай, все жалуются, и нам надо непременно развивать эту важнейшую отрасль! И тут нужны крепкие, сильные... духом партийцы...

Леокадия Георгиевна запнулась, потому что слова «крепкие и сильные» по отношению к тщедушному коротышке Николаеву прозвучали как издевка.

— Но почему я? — прошептал Николаев.

— Тут несколько причин, Леонид Васильевич, — Терновская, насладившись мгновением торжества, взяла себя в руки и заговорила вполне уважительно. — Во-первых, в вашей учетной карточке мы увидели, что вы раньше работали слесарем на заводе, а трамвай, так сказать, техническое детище, во-вторых, вы зачислены к нам в штат 16 октября 1933 года, сейчас март 1934-го, то есть вы проработали у нас меньше полугода. Не успели еще влиться в коллектив и поэтому вам легче будет расставаться с нами...

Терновская, произнеся эти слова, даже изобразила на лице грусть предстоящего прощания.

— А потом вам надо расти, а в институте без специального исторического образования для вас нет перспективы роста...

— Я учусь в Коммунистическом университете! — парировал Николаев.

— Я имела в виду академическое образование, а на транспорте вы можете достигнуть руководящих высот, и мы еще будем вами гордиться...

— Я не хочу, чтобы вы мной гордились! Я приношу в этом институте пользу побольше вашей! — истерично выкрикнул Николаев.

— Вы смеете так говорить о работе парткома?! — возмутилась она.

— Я смею говорить о своей пользе!

— Нет, вы сказали, что партком института не приносит никакой пользы! — взвилась Терновская. — Как вы посмели так выразиться о членах парткома?! Это уважаемые люди!

Николаев откинулся на спинку стула и стал хватать ртом воздух, на него навалилось странное удушье, глаза у него расширились, и, казалось, он вот-вот упадет в обморок. Леокадия Георгиевна испугалась, схватила графин и, набрав в рот воды, стала прыскать на Николаева. Наполнила стакан и подвинула к нему.

— Выпейте воды и возьмите себя в руки! Вы же мужчина в конце концов!..

Николаев взял стакан, но рука у него дрожала, и он половину выпил на себя. Выпив воды, он немного успокоился. Спорить с Терновской бесполезно, она его ненавидит, надо идти к Лидаку. Он-то знает, какую пользу приносит Николаев, и не позволит разбрасываться такими кадрами. Тем более что его направили отдел культпропа обкома партии. Они же должны понимать, что такая рекомендация стоит многого.

— Постановление парткома уже вынесено, и вам как партийцу следует просто подчиниться партийной дисциплине, — ядовито улыбнувшись, сказала Терновская. — Это мой вам дружеский совет.

— Я не смогу, — пробормотал Николаев. — У меня белый билет, я по состоянию здоровья даже освобожден от службы в Красной Армии, а вы сами сказали, что на транспорте нужны крепкие, сильные

люди! Я слабый человек и этого не скрываю! — выбрав другую тактику, заговорил он.

— Не упрямитесь, Леонид Васильевич, — сделав строгое лицо, заговорила партийная дама. — Вы хорошо знаете, что такое партийная дисциплина, решения партии не обсуждаются, их выполняют. У вас еще вся жизнь впереди! Начинать же ее с пререканий и склок, как делаете вы, никому не нужно... — она протянула ему выписку из решения парткома. — На транспорт требуются разные люди, разных профессий, и там в первую очередь нужны люди сильные не физически, а духовно, и мы, выдвигая вашу кандидатуру, руководствовались прежде всего этим обстоятельством! Немедленно отправляйтесь в райком, получите повестку и удачи вам!

— Ни на какой транспорт я не пойду! — решительно заявил Николаев и вышел из парткома.

К себе в сектор он не пошел, а сразу направился в кабинет Лидака. Директор оказался на месте, но у него были люди, и строгая секретарша Варвара Семеновна Николаева в кабинет не пустила. Он попал к Отто Августовичу лишь через два часа. Лидак молча выслушал его сбивчивую речь в свою защиту и коротко сказал:

— Ничем помочь не могу, это решение парткома...

— Но вы же член парткома, — пробормотал Николаев

— Да, и голосовал «за», — ответил честно Лидак. — На транспорте вы принесете больше пользы. — Отто Августович посмотрел на него с таким неприкрытым презрением, что Николаев даже потерял дар речи. — Извините, Леонид Васильевич, у меня через полчаса совещание, я должен подготовиться!

Николаев вышел из кабинета Лидака, чувствуя, что все сговорились против него. Он хотел позвонить

Мильде, чтобы она связалась с завсектором кадров культпропа обкома партии, но, вспомнив об утренней размолвке, положил трубку.

Все складывалось отвратительно. На Николаева уже смотрели как на чужака, все знали о мобилизации на транспорт, каждый радовался, что его миновала чаша сия, и никто к Николаеву не обращался с просьбами. Его просто не замечали. А Лившиц из соседнего отдела так и сказал: «А ты чо тут делаешь? Тебя же на транспорт послали!» И нахально улыбнулся. Николаев сложил методички, которые не успел еще прочитать, на край своего стола и ушел. Часы показывали половину первого. Через полчаса обед, но идти в столовую института он не решился. Все будут смотреть, как он ест их суп и кашу с биточками. На улице шел снег и медленно ползли трамваи. Николаев смотрел на них с ненавистью. Он не пойдет на транспорт. Он добьется отмены этого дурацкого решения. Пусть посылают того же Лившица, Грише голько двадцать пять, он молодой, пусть посылают его. Николаева знобило. Потрогал лоб: горячий. Он еще утром подумывал пойти в больницу и взять больничный лист. Так и надо было сделать.

Николаев пришел в больницу, выстоял очередь, взял градусник и через пять минут, зайдя в кабинет, отдал его пожилой врачихе.

— На что жалуетесь? — спросила она.

— У меня температура, знобит, — ответил Николаев.

Врачиха показала ему градусник. Ртутный столбик замер на делении 36,7.

— У меня была температура, — пробормотал он.

— Когда снова появится, приходите, если вам нужен больничный, а если вас знобит, выпейте чаю с медом, закутайтесь потеплее и поспите, а то у вас глаза красные, — подсказала врачиха.



С утра, занимаясь приказами, подписывая их у Чугуева и разнося по отделам, Мильда еще держалась, но к одиннадцати часам, когда нужно было заняться выверкой годовых отчетов, ее стал одолевать сон. Как назло, не пришла Зинаида. Несмотря на всю свою стержовность, она работала быстро, за ней не надо было проверять. Чугуев еще утром, краснея, обронил, что Зинаида Павловна почему-то звонила ему в кабинет и сообщила, что заблела.

— Сейчас многие болеют, грипп, — кивнула Мильда, не заметив его смущения.

— Да, гриппуют много, — обрадовавшись, что Мильда его поддержала, согласился Чугуев.

Глаза сами по себе закрывались, и Мильда с трудом разлепляла веки, но долго удерживать их не могла, то и дело погружаясь в сладкую ватную дремоту. Голова падала на грудь, Мильда вздрагивала, испуганно озиралась по сторонам, замечая любопытные взгляды сотрудниц, делала строгое лицо, но через несколько минут все повторялось сначала.

На беду Мильды, у них в отделе было очень тепло, даже жарко, форточку еще осенью задраили наглухо, и духота действовала одуряюще. Не выдержав, Мильда поднялась, вышла в коридор. Свежая волна воздуха и коридорная прохлада немного взбодрили ее. Она

решила сходить в туалет и омыть лицо холодной водой.

Наклонившись над раковиной, она долго плескала воду на лицо, потом намочила платок и протерла виски. Вошла молодая женщина врач в белом халате. Здесь же, на втором этаже, в соседнем крыле размещался медпункт Тяжмаша. Несмотря на скромное название, это была небольшая поликлиника, в которой работали врачи по всем направлениям, имелся даже свой гинеколог.

Мильда улыбнулась врачу и кивнула ей. Они часто встречались по утрам, и между ними установилась странная симпатическая связь: видя друг друга, они обе начинали почему-то улыбаться. Так продолжалось некоторое время, а потом они стали и здороваться кивком головы, хотя ничего друг о друге не знали.

Врачиха, стройная брюнеточка лет тридцати, с короткими прямыми волосами и темно-кариими приветливыми глазами, с кокетливой родинкой на левой щеке прошла в кабинку и через минуту, вернувшись, стала мыть руки.

— Вам нехорошо? — заметив странное состояние Мильды, спросила врачиха.

— Я сегодня ночь не спала и у себя в кабинете просто засыпаю, ничего не могу поделать, проваливаюсь и все. Перед сотрудницами неудобно, вот и вышла, — улыбнувшись, проговорила Мильда.

— Хотите кофе? — предложила врачиха. — Это бодрит...

— А это удобно?

— Мне-то да, я дежурю, а вот вам...

— Я только отпрошусь у своего начальника и приду, — пообещала Мильда.

Они сидели в кабинетике невропатолога, пили кофе, и Аглая рассказывала о себе. Семь лет назад на

съезде невропатологов и психиатров она познакомилась с одним молодым ленинградским щеголем, ей было тогда двадцать пять, ему тридцать, он защитил уже кандидатскую и являлся помощником знаменитого профессора Бехтерева, а она только начинала врачебную практику в Смоленске после окончания медицинского института. Тогда, в 1927-м у них завязывался легкий роман, но ее старшая коллега, с которой она жила в одном номере, не уехала вечером к своей сестре, а на следующий день неожиданно умер Бехтерев, и Виталий Ганин, так звали ее ухажера, повез тело профессора в Ленинград. В Москву он больше не вернулся.

— А что было потом? — увлекшись ее рассказом, взволнованно спросила Мильда.

— Потом... — Аглая улыбнулась. — Я уехала в Смоленск, начала работать и почти забыла своего милого знакомца, как вдруг в один прекрасный день, шел уже март 1928 года, ко мне в кабинет с букетом мимоз зашел пациент. Это был Виталий... Так я попала в Ленинград, начала работать в Психоневрологическом институте, но потом у нас родился сын, а еще через год появилась дочь, в институте начались какие-то политические игры, и я решила перейти сюда. Для большой науки я не рождена, а здесь тихо, спокойно, да и платят больше, — она снова улыбнулась.

— А ваш муж?..

— Он работает в институте, уже доктор наук, профессор, раньше заведовал отделением, но сейчас у него какие-то нелады с руководством, я его спрашиваю, а он отмалчивается... — Аглая закусила губу, улыбнулась. — Страшное время... — прошептала она.

— Страшное? — удивилась Мильда.

— Я, наверное, не то сказала, — смутившись,

проговорила Аглая. — Странное... Одна буква, и все меняется. Еще налить кофе?

— Мне неудобно...

— Ерунда какая!

Аглая поднялась, сварила еще кофе, поставила чашку перед Мильдой.

— Бутерброд хочешь?

— Нет, спасибо... А сон и вправду ушел, — заулыбалась Мильда.

— А вы замужем? — спросила Аглая.

Мильда кивнула. Она неожиданно для себя стала рассказывать Ганиной о своих сложных отношениях с мужем, про то, как влюбилась и теперь запуталась еще больше, рассказала о вчерашней слезке и как не мил ей становится дом, даже дети, потому что он там, и что делать, она не знает.

— Так и невроз недолго заработать, — сказала Аглая.

— Что? — не поняла Мильда.

Аглая, как могла, популярно объяснила Мильде, к каким серьезным нервным последствиям может привести такая двойная жизнь и как нервы влияют на деятельность остальных органов.

— Так я, выходит, уже ваша пациентка, — усмехнулась Мильда. — Вот уж не думала!..

— А кто он, ваш... — Аглая не договорила.

— Муж?..

— Нет, другой...

Мильда задумалась.

— Он там, — она кивнула на потолок.

— Ваш начальник? — уточнила Аглая.

— И ваш тоже, — ответила Мильда.

— Я не понимаю...

Мильда молчала. Она была не рада, что заговорила на эту тему.

— Я как врач обязана хранить тайну своих паци-

ентов, а моя профессия предполагает знание самых интимных тайн жизни больных, без этого я не могу им помочь...

— А вы можете помочь? — удивилась Мильда.

— Я могу, — твердо сказала Аглая.

Мильда назвала фамилию. Аглая несколько секунд молчала.

— Я интересовалась этим, потому что в такой ситуации можно легко снять все проблемы, решив что-то кардинально, а здесь, насколько я понимаю, мой совет не подойдет. Тогда вам для себя надо определить свои отношения с каждым из партнеров. Извините, но это профессиональный термин в нашем деле. Как только вы скажете себе: это мой муж, он меня устраивает в том-то и том-то, а это мой любовник, он прекрасен в том-то и том-то, и если их соединить, мог бы получиться идеальный для меня человек, но такого я еще не встречала и пока вынуждена сама соединять разные половинки, как, может быть, и случилось в вашем примере. Такой разговор с собой, а лучше с врачом и есть начало лечения. Потом надо выяснить все неудобства данной ситуации и рассмотреть те сложности, которые при этом возникают, устранимы они или нет. Если неустранимы, подумай, сможешь ли ты долгое время их выдерживать. Если не сможешь, за исходную позицию надо брать оптимальный вариант.

К примеру: ты обеспеченная женщина, у тебя есть мама, которая помогает тебе воспитывать детей, и муж как бы совсем не нужен, а любимый человек у тебя есть. Стоит ли тогда героически сносить такие мучения: слезку, ревность, скандалы, тем более все это отражается на детях. Или муж необходим для детей, они его любят, он хорошо зарабатывает, обожает тебя и ради семейного благополучия, ради детей ты обязана разрушить возникшую любовную привя-

занность. Это трудно, но когда есть более высокая цель, как, например, дети, собственное душевное согласие, тогда легче и понять что-то в себе. Вот такие варианты вполне сознательно надо проработать, я намеренно выбрала это слово — проработать, ибо это работа души, трудная, большая, как генеральная уборка квартиры, и ты сама увидишь: тебе вдруг станет легко выбрать один из вариантов, который ранее казался невозможным...

Аглая поднялась, закрыла дверь кабинета на ключ, открыла форточку, достала длинные папироски и закурила.

— Ты не куришь?

— Нет...

— А я иногда балуюсь.

Странно, но даже после этого разговора с Аглаей Мильда почувствовала некоторое облегчение.

— Мы сами иногда все усложняем, — согласилась Мильда.

— Мы не усложняем, — поправила ее Аглая, — мы просто не хотим внятно объяснить себе то, что с нами происходит. А когда объясним, становится все легко и просто.

— И ты с каждым так разговариваешь?

— Нет, конечно, — Аглая усмехнулась. — Если я буду так разговаривать, меня выгонят с работы. Потому что у нас представление о врачах как о людях, которые выписывают таблетки и микстуры. Хотя на самом деле я должна так разговаривать, чтобы понять причину невроза. Мой муж написал об этом большую статью, но ее не стали печатать, посчитав вредной и почему-то троцкистской. И даже прорабатывали по партийной линии. Он ходит сейчас хмурый и подавленный, зарабатывает невроз, потому что не видит выхода. А заниматься болтовней... Тут наш журнал «Невропатология и психиатрия» напечатал

статью «За большевистское наступление на фронте психоневрологии», полный бред, ибо какое большевистское наступление и при чем здесь фронт, я до сих пор не понимаю. Так вот, нас заставили всерьез изучать эту статью и писать обязательства по этому «наступлению»...

Аглая вздохнула и усмеянулась. Потушила папироску, пошире открыла форточку.

В дверь постучали. Аглая прикрыла форточку, поправила шапочку. Мильда поднялась.

— Я, наверное, пойду...

— Посиди! Это моя коллега, она за папироской заходит. — Аглая открыла дверь. На пороге стоял молодой грузин с букетом роз.

— Аглая Федоровна Ганина? — восторженно глядя на нее, спросил он.

— Да, это я, — недоуменно ответила она.

— Я от Мераба Котэлия, вы с ним были вместе на съезде, из Тбилиси. Помните? Вы еще танцевали с ним на банкете... — напомнил молодой человек.

— Да-да, конечно, помню, — с трудом вспоминая врача Котэлия, ответила Аглая.

— Я его племянник, вот приехал в Ленинград, он очень просил занести вам эти цветы и еще он прислал корзину с фруктами и вином, но она у меня в гостинице...

— Проходите. — Ганина отошла в сторону, пропуская в кабинет незнакомца.

— Я, наверное, помешал, у вас прием, — увидев Мильду, смутился вошедший и застыл у порога.

— Я все-таки пойду, мне уже пора. — Мильда снова поднялась.

— Одну секунду, Мильда Петровна, — остановила ее Аглая. — Я прошу прощения, но мне необходимо закончить прием пациентки...

— Да-да, я, собственно, на минуту, чтобы вручить

эти розы, — заулыбался незнакомец. — Вот, прошу! — он вручил пышный букет. — Когда вам можно будет занести вино и фрукты?

— Но мне несколько неловко, мы были с Мерабом едва знакомы.. — проговорила Аглая.

— Вы знаете, он все время, когда мы собирались за столом, рассказывал о вас, может быть, он тайно был влюблен в вас, но постеснялся признаться, сейчас уже дело прошлое, родители заставили его жениться, у него трое детей, две девочки, и вот недавно родился мальчик, он даже откуда-то узнал, что и вы вышли замуж за... — незнакомец заглянул в бумажку. — За Виталия Сергеевича Ганина, так?

— Да, — сказала Аглая.

— Ну, вот видите! — непонятно чему обрадовался юноша. — Он просил меня передать, чтобы вы, Аглая Федоровна, не подумали о нем плохо. Он все время повторял: скажи Аглае Федоровне, что я, то есть он... — пришедший наморщил лоб, вспоминая слова. — А можно, я прочту все по бумажке, как он записал, чтобы все точно было?..

— Пожалуйста, — мрачно отозвалась Аглая, и Мильде даже стало неудобно за ее такую негостеприимность.

Племянник вытащил из кармана записку.

— Мераб Котэлия велел передать мне так: «Я от чистого сердца вспоминаю о тех незабываемых днях в Москве и хочу, чтобы два таких прекрасных человека, как Виталий Сергеевич и Аглая Федоровна, два великих психиатра Советского Союза были всегда здоровы, очень счастливы и очень богаты!» Вот все, что он просил передать на словах... — одним духом выговорил незнакомец, пряча в карман бумажку, и Мильда, растрогавшись его вдохновенной речью, умиленно посмотрела на него.

— Спасибо, — сдержанно и с какой-то нервной

стервозностью, как показалось Мильде, ответила Аглая.

Незнакомец тоже почувствовал эту скрытую злость и отступил к порогу. Мильде даже стало неловко за Аглаю: человек среди зимы привез такой роскошный букет роз да еще корзину с вином и фруктами, произнес трогательные слова признания и любви, а его чуть не выставляют из кабинета.

— Я бы мог занести вам вино и фрукты? — пригасив восторженный пыл, спросил незнакомец.

— Извините, как ваше имя? — спросила Аглая.

— Гиви. Гиви Мжвания...

— А я вам могу куда-нибудь позвонить?

— Я остановился в «Астории», но, к сожалению, не запомнил номер своего телефона, — развел руками Гиви. — А вам я могу позвонить?

— Да, конечно!

Аглая вернулась к столу, записала на бумажке номер своего телефона, передала его Гиви.

— Вечером мы с мужем обычно бываем дома, — нервничая, сказала она. — Звоните!..

— Спасибо! — он расплылся в ослепительной улыбке, влюбленно глядя на нее. — Я обязательно позвоню! И потом фрукты такие нежные, могут испортиться...

Гиви поклонился, бросил внимательный взгляд в сторону Мильды, заставив и ее смутиться, и ушел.

— Надо же: зимой целая корзина фруктов! — восторженно воскликнула Мильда.

Аглая закрыла дверь на ключ, подошла к столу, небрежно бросила цветы, выгасила папироску, закурила и отошла к окну. Она была явно чем-то обеспокоена. Мильда несколько секунд молчала, не понимая, что с ней происходит. На лепестках роз сверкали капельки воды. Мильда вдруг подумала, что ей никто еще в жизни не дарил роз. Она осторожно взяла

цветы, чтобы вдохнуть их сладкий аромат, но тотчас последовал резкий окрик Аглаи:

— Не трогай!

Мильда испуганно отбросила от себя букет.

— Извини, я немного разнервничалась, — погасив папиросу, проговорила Аглая.

Она подошла к столу, допила свой кофе, взглянула на Мильду и улыбнулась.

— Я просто вспомнила одну неприятную московскую историю. — Она обхватила себя за плечи и зябко поежилась. — Там тоже была корзина с фруктами... Мне, наверное, потребуется твоя помощь... Ты смогла бы?..

Аглая вопросительно посмотрела на нее.

— Конечно, — с готовностью ответила Мильда.

12

Киров, разгребая нижние ящики большого письменного стола в своем рабочем кабинете, неожиданно наткнулся на старый доклад Бухарина, сделанный еще 17 апреля 1925 года и отпечатанный на машинке. Киров стал листать пожелтевшие страницы и нашел собственной же рукой отчеркнутый абзац с жирным знаком вопроса на полях. Бухарин писал: «В общем и целом всему крестьянству, всем его слоям нужно сказать: обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство. Только идиоты могут говорить, что у нас всегда должна быть беднота, мы должны теперь вести такую политику, в результате которой у нас беднота исчезла бы».

Слова были настолько точные, яркие, а главное — мудрые, что Кирова даже бросило в жар. Он вспомнил, как тогда, в двадцать пятом на Бухарина набросились за эти слова, обвинив его в «протаскивании» кулака в пролетарские ряды. Даже Крупская не удержалась от обвинений в его адрес, и Бухарин на четырнадцатом съезде был вынужден покаяться и публично отречься от своего лозунга: «Обогащайтесь!»

Но Киров в двадцать пятом не только не понимал этих слов, он был против этого лозунга, против усиления позиций кулака в деревне, он был за бедноту, за коллективизацию, за наращивание ее темпов даже

насильственными методами. Киров удивлялся позиции Сталина, который в двадцать пятом горячо поддерживал Бухарина, заявив с трибуны: «Не дадим вам его крови, так и знайте!»

Сталин всегда умел говорить коротко, емко и точно, иногда подпуская и грубоватое словцо, которое быстрее находило отклик в зале, нежели обкатанные фразы Бухарина. Но на семнадцатом съезде Бухарин сказал прекрасную речь, особенно о фашистах: «Они проповедуют открытый разбой, открытую скотскую философию, окровавленный кинжал, открытую поножовщину».

И надрессированные сталинские партийцы, которым было дано указание нагло освистывать кающихся Каменева, Зиновьева, Рыкова, Томского и Бухарина — а Сталин устроил из покаянных речей этой пятерки гнусный фарс, заставив их не просто каяться, а лизать его сапоги, прославлять гениального вождя, чтобы потом устами других ораторов обвинить бывших ленинских соратников во лжи и двурушничестве, — никто из помощников Кобы даже не свистнул во время выступления Николая Ивановича. Стояла мертвая тишина...

Киров захолопал первым, за ним подхватили и остальные, но сдержанно, с опаской. Коба посмотрел на Кирова и, подняв руки вверх, дал команду поддержать речь Бухарина. Лишь после этого вал аплодисментов погустел.

Сергей Миронович выбросил доклад в мусорную корзину, но подумав, вытащил его оттуда и снова забросил в стол. Киров искал свои записи по шестнадцатому съезду партии, который проходил в 1930 году. Он готовился к выступлению на одной из заводских партконференций, чтобы поделиться, так сказать, своими впечатлениями о «съезде победителей». Это он, Киров, так назвал съезд. Но в голову

лезли совсем другие мысли и другие впечатления. В 1928 году в стране на крестьянских подворьях было 29 миллионов коров. В 1934-м их осталось только девятнадцать. Но это в личных крестьянских хлевах. В сталинских же колхозах коров было чуть больше двух миллионов. Вот и все победы. О чем же можно трубить, о каких достижениях?

Киров взглянул на большой, во весь рост портрет Сталина, висевший на стене в его кабинете, и тяжело вздохнул. Коба об этом знает, но молчит.

Зазвенел телефон. Киров вздрогнул от длинного резкого звонка, бросил взгляд на часы: половина восьмого. Снял трубку.

— Сергей Мироныч? Это тезка, Серго, беспокоит, — с легким акцентом загудел в трубке басовитый голос Орджоникидзе. — Как успехи?..

— Рад тебя слышать, дорогой Серго! — обрадовался Киров. — Как Зинаида Гавриловна? Как здоровье?

— Слава богу, гриппом отболели, а другие болезни, как добрые друзья, всегда рядом. Как ты, как Мария Львовна?

Это был давний ритуал: первые вопросы о женах, о здоровье, лишь потом о главном.

— Я твою просьбу, Сергей, выполнил, — перешел к делам Орджоникидзе. — Дама твоя работает в «Труде», в отделе писем, часто мотается по командировкам, словом, жизнь не сахар. Я даже заезжал к ней, мило поговорили. А неприятности были вот какие: перед съездом она делала материал, отчет о районной партконференции и все якобы напутала: дала не те фамилии делегатов, не те цифры, а их ей продиктовал по телефону второй секретарь райкома, и она клянется, что записала с его слов и сама никаких ошибок не допустила. Конечно, ее вина, что не съездила, не выверила, не дала ему подписать, тогда

бы к ней никаких претензий, но, знаешь, как у них: срочно в номер, все надо сделать за полчаса, аврал, словом, ее подставили, тут я ей верю. Она плакала, когда все это рассказывала. А за такие вещи, сам понимаешь, по головке не гладят. Еще легко отделалась. Но вот кто секретаря райкома впутал в это дело, кому все это понадобилось, сие, как говорится, покрыто мраком тайны. Я уж ее расспрашивал, может быть, он имел какие-нибудь виды на нее, девушка она симпатичная, нет, говорит, они даже не встречались. И у нее такое ощущение, будто кто-то все это подстроил. Она работала в отделе искусства, а подобными вещами занимался отдел партийного строительства, и вдруг ее перебрасывают туда, помочь сделать номер, дают конкретное задание, полчаса времени, и все это случается... Н-да... Передавала тебе большой и нежный привет, поздравляла с избранием в секретари, грозилась нагрянуть в Ленинград, но пока ее туда почему-то не пускают. Вот вкратце такие новости, — доложил Орджоникидзе.

— Спасибо, Серго, я твой должник!..

— Э, какой должник! О чем ты говоришь!.. Это я перед твоим отъездом не собрал вас всех у себя. Зина расхворалась, и я пошел на попятную, до сих пор простить себе не могу!..

— Теперь буду чаще приезжать, чаще будем видеться! — рассмеялся Киров.

— Если дадут, — с грустью добавил Серго, имея в виду ревнивый нрав Хозяина.

— Как Коба?

— Тоже болен. Позвони ему...

— Хорошо...

— Ну, все, привет от моих! Приезжай, обнимаю тебя!

Серго положил трубку. Киров несколько минут сидел молча, обдумывая услышанные вести. Потом

взялся за трубку, чтобы позвонить Кобе, но в последний миг раздумал, решив позвонить завтра с утра. «Эля могла и сама все напугать, глупо придумывать интриги там, где их нет», — подумал Киров.

Он снова стал набрасывать тезисы к докладу, но вспомнив, что не нашел свои записи по шестнадцатому съезду, опять полез в ящики стола. Зазвонил телефон. Киров с досадой посмотрел на него и, помедлив, снял трубку.

— Это я, — послышался тихий женский голос, и он узнал голос Мильды. — Я не вовремя?

— Ты всегда вовремя, — с нежностью сказал Киров.

Мильда никогда не звонила сама, стараясь не навязываться Кирову, это был первый звонок за все пять лет их нежных отношений.

— Что-то случилось? — спросил он.

— Нет, просто захотелось тебя услышать...

— А ты почему на работе?

— Надо к завтрашнему утру закончить большой отчет, вот и пришлось задержаться. Я одна у себя и решила тебе позвонить...

— Молодец, значит, еще не забыла, — пошутил он.

— Как я могу забыть... — прошептала она.

— Послезавтра мы могли бы встретиться, — предложил он.

— Я согласна...

— А почему ты не отказываешься? Не говоришь, как ты устала и как я тебе надоел, — переходя на иронический тон, спросил Киров, и на другом конце трубки повисла пауза. Мильда не умела шутить на эти темы. — Это шутка...

Киров рассмеялся и поймал себя на том, что стал шутить так же грубо и провокационно, как Коба.

— Извини, я действительно пошутил. Просто устал, как черт, вот и ёрничаю. Ты не обиделась?

— Нет, — ответила Мильда.

Ее нежный голос вызвал в нем прежний любовный пыл. Он уже хотел ей сказать, как сильно он ее любит, но спохватился. На станции телефон могли прослушивать.

— Тогда послезавтра на том же месте, в тот же час. Договорились?

— Хорошо, — сказала Мильда и положила трубку.

«Научиться бы так экономно и сильно говорить, как Мильда, а где необходимо, так же молчать, — подумал Киров. — Цены бы мне не было».

Он повеселел. Мильда всегда придавала ему дополнительную энергию, он это чувствовал и, может, поэтому никак не мог с ней расстаться. Ему даже расхотелось работать. Он сложил бумаги и поехал домой, наметив перед сном закончить тезисы.

В городе было темно и пустынно. Редкие прохожие попадались на улице. Москва в такие же вечерние часы казалась шумливей и радостней. «На то она и столица», — подумал Киров. Но его больше привлекало строгое одиночество ленинградских улиц с редкими припозднившимися жителями, зимний таинственный полумрак, в котором дремали каменные львы и таранил мглу ночи острый шпиль Петропавловского собора. Закованная в гранит столица Петра как бы сама отторгала ненужный людской шум и суету. Здесь Кирову и дышалось, и думалось свободней, а прямые линии проспектов наполняли его душу суровым горделивым достоинством. Москва же напоминала путаный лабиринт, из которого он всегда выбирался с головной болью. Нет, он не хотел переезжать туда и теперь с грустью и досадой думал, что через год Коба лишит его этой радости ежедневных свиданий с Северной Пальмирой. Киров родился в

предуральском городке Уржуме, и северное царство белых ночей, снега и ветров пригревало его сильнее, нежели терпкая черноморская жара. Кобе этого не объяснишь. Он и на родной юг ездит, потому что так надо. Так все отдыхают.

Дома жена еще не спала. Их экономка заболела, и Мария Львовна сама разогрела мужу остатки жаркого из глухаря. Парочку этих лакомых лесных куриц Сергею Мионовичу с оказией переслал егерь Митрофанович, как бы давая понять, что Киров давно не брался за ружьишко, давно не приезжал к нему поохотиться, а бить глухаря, нагулявшего перед весной жирок, самое время.

С отчетными конференциями и со съездом он уже месяца два не выезжал на охоту. Такого раньше не бывало.

— Ты еще поработаешь? — спросила Мария Львовна.

— Нет, наверное... Устал что-то.

Его и на самом деле клонило в сон — голова шумела, и глаза слипались. Он вспомнил, что за вчерашнюю ночь поспал всего три часа: с шести, когда ушла Мильда, и до девяти. Ровно в девять начались звонки, пошли люди, и он смог минут на сорок прикорнуть лишь после обеда. Да и то просто подремать на диване.

— Тебя твои ночные посиделки выматывают, — заметила Мария Львовна. Она проговорила эту фразу бесстрастным тоном, глядя в сторону и кутаясь в пуховый платок, но что-то иное скрывалось за этим намеренным бесстрастием, точно она знала все о его личной жизни и деликатно не хотела вмешиваться, понимая, что не может быть ему полноценной женой.

Когда они познакомились, Мария Львовна была красивой, стройной девушкой, в которую он сразу же

влюбился. Она была средней из трех сестер-барышень, Сони, Маши и Рахили Маркус. Пышные черные волосы шапкой обрамляли красивое белое лицо с темно-карими большими глазами и полными губами. Мягкая улыбка, искрящийся нежностью взгляд придавали всему ее облику особое очарование, и опытный двадцатитрехлетний революционер, трижды сидевший в томской тюрьме и бежавший оттуда во Владикавказ, Сергей Костриков влюбился, как мальчишка. Маша показалась ему дамой из высшего света, загадочной и недоступной, незнакомкой из другого мира, которого он не знал. Она носила строгое черное платье с кружевными оборками на рукавах и золотой медальон на шее. Плавная походка, прямая спина, высоко поднятая головка лишь усиливали отточенность манер и природный аристократизм, чем вятский уроженец с напевным северным выговором никогда не обладал и чем не мог не восхищаться. В молодом подпольщике не было нечаевского ниглизма и жестокости, он имел впечатлительную душу, умевшую ценить изящные вещи, и Маша целиком захватила его воображение, он засыпал и просыпался с ее милой улыбкой, воображая себя ее рыцарем и даже не думая о том, подходят или нет они друг другу.

«Романтик революции за осклизлой кашей будней должен видеть радугу грядущего», — втолковывали ему беззаветные левые социал-демократы и учили, как уходить от слезки. И еще он запомнил: «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики». Фразу привезли из-за границы и, цитируя ее, прибавляли: «Он прав». Фраза запомнилась. Костриков завоевал Машу своей энергией и напором. После чего успокоился и целиком отдался революции.

В семье Маши Маркус революционеров чтили.

Старшая сестра Соня уже вела подпольную работу, а Соня для Маши была непререкаемым авторитетом. Худенький, чуть пониже ее ростом, смешно растягивавший окончания слов революционер Сергей ей немало нравился, и она согласилась выйти за него замуж, потому что Соня сказала: это лучше, чем твой Вигель, а кроме того, в провинциальном Владикавказе не так просто найти хорошего жениха. Вигель был бароном, наследником богатых шляпников, купившим себе титул за деньги, и он вовсе не собирался делать Маше предложение. Он изредка приглашал ее и Рахиль прокатиться с ним в коляске и больше посматривал на Рахиль, чем на нее. Соня сумела за месяц внушить Маше ненависть к Вигелю как к представителю паразитирующего класса, гнойному прыщу на теле пролетариата, и Маша стала презирать Мишеньку Вигеля за то, что он не хотел отказываться от своего капиталистического семейства. «Все было глупо, очень глупо», — часто повторяла потом Мария Львовна, сама плохо понимая, к чему относится эта оценка тех дней: то ли к Вигелю, то ли к Кострикову, ставшему потом Кировым. Киров — сокращенное от Кострикова.

Революция отменяла все: буржуазные ухаживания, поцелуи в парадном, прямую спину и лоск манер. Маша выглядела теперь старой, больной женщиной, страдающей бессонницей, которую мучили внезапные приступы мигрени и гормональные расстройства. Мария Львовна чувствовала себя лучше в санаториях под присмотром врачей. Она никогда не говорила мужу, что ее спасала удаленность от него. В санатории не нужно было думать о его ночных посиделках и поездках на охоту с дамами. Время от времени ей докладывали об этом, присылая анонимные письма. Мария Львовна, прочитав их, сжигала, не

заводя с Сергеем ссор и скандалов, она не умела ссориться и уж тем более скандалить.

Более того, она во всем винила себя и ценила благородство Сергея. Он ни разу не попрекнул ее детьми, которых она ему не родила, он ни разу не предложил ей развестись, хотя Маша бы поняла столь жестокий его поступок. Она, выросшая в многодетной семье, страдала оттого, что утратила этот бесценный божий дар материнства, страдала, может быть, даже сильнее, чем муж — дикий зверек, не помнивший родителей и привыкший к одинокой волчьей жизни, когда тебя все время гонят и преследуют. Мария Львовна старалась вести себя благородно, не опускаться до мелких бабьих перебранок. Она ценила и такие редкие минуты их общения, когда он неожиданно приезжал домой не очень поздно, ужинал и рассказывал ей последние новости.

— Серго звонил, передавал тебе приветы от себя и Зины, — сообщил Киров.

— Как они? — заинтересовалась Мария Львовна.

— Вроде бы отболели, Коба загрипповал...

— Ты ему звонил?

— Завтра позвоню... Надо на охоту вырваться, лесным воздухом подышать! После охоты я месяц работаю как вол и усталости не знаю, — проговорил Киров.

— Конечно, съезди, — одобрила Мария Львовна.

Ее обижало то, что он никогда не звал ее с собой на ту же охоту, хотя и ей не повредили бы лесные прогулки. Но она никогда и не напрашивалась. Однажды, это было в двадцать седьмом, Мария Львовна уговорила мужа взять ее с собой. Он согласился, но все два дня ходил мрачный, точно ему испортили праздник. Он потом так и объяснил ей: женщина на охоте — дурной знак, это занятие сугубо мужское, и лиц женского пола туда не берут. Когда она узнала,

что он берет на охоту других дам, Мария Львовна впервые за все годы их совместной жизни испытала сильную душевную боль. Ее не так унижали увлечения Сергея слабым полом, это еще можно было понять и объяснить, но нежелание делить с ней обыкновенные радости бытия укололо Марию Львовну в самое сердце, и она долго, несколько лет, не могла справиться с этой болью.

— Я увидела у тебя на столе книгу Гитлера и взяла почитать, — проговорила Мария Львовна. — Откуда она?

— Коба издал для узкого круга лиц. Он все мечтает подружиться с фюрером, хвалит его ум... — усмехнулся Киров.

— Но этот Гитлер — выродок, ты почитай, что он пишет! — возмутилась Мария Львовна, и красные пятна выступили у нее на щеках. — Он напрямую призывает к завоеванию России и ее окраин. А оголтелый расизм, ненависть к евреям, неужели Сталин и это одобряет?..

Киров хорошо знал, с какой ненавистью в душе Коба относится к евреям, но промолчал.

— Германия еще с ленинской поры считалась дружественной нам державой, — заметил Киров.

— Но тогда у нас не было другого выхода, это был вынужденный мир! Позорный, но вынужденный! — горячо отозвалась Мария Львовна.

Киров не стал ей возражать. Его жена, как и тысячи других граждан СССР, не знала о том, насколько крепки были эти дружественные узы. Еще при Ленине 16 апреля 1922 года во время Генуэзской конференции в маленьком городке Рапалло был подписан договор о восстановлении дипломатических отношений между Советской Россией и Германией и об отказе от взаимных претензий. Но это была лишь видимая часть айсберга. Подводная же заключала

секретную конвенцию между высшим германским командованием, рейхсвером и Кремлем, Генштабом Красной Армии. Конвенция называлась «О взаимной технической помощи».

Она закрепила то, что уже совершалось под прикрытием «взаимопомощи», ибо только за один 1921 год из Германии в Россию было вывезено 400 аэропланов, 3 тысячи тяжелых пулеметов, 150 крупнокалиберных минометов, 900 тысяч винтовок, 1 миллиард патронов, броневики и химические препараты. По Версальскому мирному договору Германия могла иметь лишь стотысячную армию и ограниченные вооружения, а также ей запрещалось производить танки, тяжелую артиллерию, боевые самолеты, подводные лодки, боевые газы.

В 1922 году в Филях был построен первый немецкий авиазавод. Через некоторое время — в Самаре и Саратове. Немецкая фирма «BMW» начала поставлять моторы, строить моторные заводы. Крупну были переданы Охтенский, Ижевский, а потом Путиловский, Ижорский и Армавирский заводы. Еще через некоторое время ему же — петроградский сталелитейный, коломенский оружейный, екатеринбургский, пермский и златоустовский оружейные заводы. Херсонские доки. В Донбассе — угольные шахты в концессию на 35 лет.

14 мая 1923 года был подписан договор о строительстве завода по производству отравляющих веществ. Под флагом коммерческих перевозок в Германию стали вывозить оружие. Баллоны с химическим оружием упаковывали в корпуса фортепьяно, ружейные и ручные гранаты отправляли под видом огнетушителей.

В Казани находилась бронетанковая школа рейхсвера, в Липецке — школа высшего военного пилотажа, где обучались русские и немецкие летчики,

советские генералы проходили стажировку на секретных курсах немецкого генштаба.

И все это продолжалось до середины 1933 года, до прихода к власти Гитлера. В СССР не ручейком, а рекой текли немецкие деньги на содержание курсантов и обеспечение заводов. Кирову запомнилась лишь одна цифра, о которой Сталин упомянул в его присутствии: в 1928 году из 73 миллионов марок, выделенных Германией на вооружение, 5,7 миллиона предназначалось на подготовку летчиков и танкистов в СССР. Но это была лишь одна цифра по одной статье, и можно было себе представить, какие суммы стекались в наркомат финансов.

Но Гитлер прервал этот денежный поток. Вот почему Сталина так интересовал фюрер и любые способы сближения с ним, он искал союза с возрождающейся стремительными темпами прусской военной машиной и с неохотой поддерживал антифашистские настроения среди своих в Политбюро. Втайне от всех он уже направил в Берлин своих резидентов, пытаясь установить с Гитлером дружеские отношения, союз, договориться о разделе Европы. СССР хватит Прибалтики, Западной Украины, Польши и Финляндии, как это уже отчасти было в Российской империи. Киров знал об этих тайных планах Сталина и разделял их. Советскому Союзу нужен был крепкий военный союзник, военная поддержка, и не у англичан же ее было искать.

Мария Львовна, почувствовав, что муж что-то недоговаривает, попыталась продолжить разговор о Гитлере, но Киров улыбнулся и устало проговорил:

— Я мертвецки хочу спать! Давай как-нибудь в другой раз поговорим...

Он ушел в свой кабинет, чувствуя, что жена обиделась на него, но он и в самом деле, уже сидя за столом, клевал носом. Все же ему сорок восемь лет,

и ночные забавы требуют немалых сил, которых с каждым годом остается все меньше. Он увидел на своем столе раскрытую книгу речей Сталина, которую привез недавно, видимо, Маша ее уже прочитала, а он так и не удосужился перелистать. Правда, многие из них Киров слышал. На титуле Коба написал: «Другу моему и брату любимому...»

— Ты знаешь эту библейскую историю о Каине и Авеле? — даря книгу, неожиданно спросил Сталин.

— Каин убил Авеля, — усмехнувшись, ответил Киров.

— А почему, как ты думаешь? — спросил Сталин.

— Я уже сейчас не помню, они вроде бы поссорились...

— Можно сказать и так, но из-за чего?

Киров пожал плечами.

— Библию, признаюсь, не читал...

— Иногда нужно, — заметил Сталин, — чтобы знать врага на вкус и на ощупь. Горький все-таки умеет слова подбирать, даже зависть берет... — Сталин выдержал паузу. — Каин, как ты помнишь, земледелец, Авель — скотовод. В праздник они оба принесли дары Господу, но у Авеля Господь принял дары, у Каина — нет. То есть, из них двоих выбрал Авеля, сделал его первым, хотя первым всегда был Каин, он родился первым, а что такое первенец? Это наследник. Дом, земля, богатство — все переходит ему. Сразу жестокий выбор. Но не это меня заинтересовало. Господь поступил несправедливо к Каину. И он объяснил, почему. Ты, говорит, злой парень. Много думаешь о запретном, грех впереди тебя бежит. Мол, исправляйся, а я подумаю. Но как теперь Каину жить? Он уже невесту, наверное, нашел, здоровый мужик, пора свою семью заводить, а тут как ножом по горлу. Что, разве не знал Господь, что это еще больше обозлит Каина? Конечно, знал. Как

и то, что несправедливо к нему отнесся. По-любому наказывай, но не отнимай первенства, дарованного рождением, судьбой. Знал Господь и то, что Каин теперь возненавидит брата. Я даже больше скажу: Господь знал, что Каин из-за этого может убить Авеля. Господь на то и Господь, чтобы такие пустяки просчитывать наперед. И что же получается? Выходит, Господь спровоцировал Каина на убийство. Но зачем?.. О! Вот тут-то самое интересное. Каин был резкий, независимый, грубый, а Абель добрый, мягкий. Господу же хотелось сделать род человеческий из грубого материала, ему подвластного. Каин убил Авеля, но был обречен и сам погибнуть. Господь его спас и этим приручил. Каин стал беспредельно принадлежать Господу, слушаться его во всем. Через смерть брата он добился беспрекословного послушания Каина. Какое знание человеческой психологии, а? Простая вещь: повяжи человека кровью, спаси его от расправы, и он будет твой. Очень мудрая мысль, как считаешь?..

Киров тогда лишь пожал плечами: мысль, может быть, и мудрая, но слишком жестокая, чтобы она показалась кому-то привлекательной.

— Э, брат, ты еще плаваешь у берега и не знаешь о заплывах товарища Бухарина, которого однажды пограничники арестовали чуть не в нейтральных водах. Вот куда он заплыл!

Киров слышал об этом рекордном заплыве Бухарина на Черном море, но при чем здесь притча о Каине и Авеле, он так и не понял. Через пять минут он уже храпел по-богатырски у себя в кабинете, и никакими пушками его было не поднять. А Марии Львовне предстояла еще одна бессонная ночь. Не в силах заснуть, она вспоминала свою молодость, когда Сергей еще жарко шептал ей, что ради одного

ее нежного взгляда он готов умереть, что эти чудные красивые глаза прожигают его насквозь.

Однажды во Владикавказе, рано проснувшись, она увидела его стоящим под окном своей спальни и изумилась: часы показывали только шесть утра. Она, испугавшись, выбежала на улицу, спросила: «Что случилось?!»

Он улыбнулся и сказал:

— Я проснулся среди ночи, и мне до отчаяния захотелось тебя увидеть. Я подумал: а вдруг меня сегодня арестуют, посадят в тюрьму, и я тебя не увижу. Я умру с тоски в камере!..

Она нежно улыбнулась, прижалась к нему и прошептала:

— Я люблю тебя...

И когда он возвратился к себе, его чуть не арестовали, но он убежал. Он написал ей: «Я теперь заговоренный тобой, с тобой мне ничего не страшно. Лишь бы ты была рядом». Теперь он сам отдалялся от нее, и она боялась, что ее «заговор» более его не охраняет.

13

На этот раз никаких осложнений не возникло. Николаев в тот же вечер извинился перед Мильдой за свою слезку, объяснив ее тем, что боялся так поздно отпускать Минцу одну. Он звал ее Минца еще с тех лужских времен, когда, не расслышав в первый раз ее имя, так долгое время обращался к Мильде. Ошибка выяснилась месяца через два, но для Николаева в минуты нежности Мильда всегда оставалась Минцей. Мильда сразу же заявила, что ее попросили и завтра прийти, и она дала согласие, потому что как член партии она не имеет права говорить «нет», а если он этого не понимает, то ему стоит перечитать Устав ВКП(б).

Николаев вдруг помрачнел и заговорил о том, что делать, когда у человека нет физических возможностей выполнить задание партии. Вот его посылают на транспорт, а он считает это грубейшей ошибкой, что он больше всего может быть полезен именно в институте, вот как тут быть.

— Надо сначала выполнить задание партии, а выполнив, доказывать, что оно было не совсем правильным, — ответила Мильда.

— Но это же абсурд, Минца! — воскликнул Николаев. — У меня белый билет, я освобожден от армейской службы, а на такое ответственное дело надо посылать крепких здоровых парней, это транспорт!

Если ты с самого начала знаешь, что это ошибка, зачем ее совершать?!

— Потому что дисциплина партийных рядов — это святое! — отрезала Мильда.

Она тогда и не вслушивалась в его разглагольствования по поводу мобилизации на транспорт, защищая свое право уходить на ночные свидания, а Николаев, услышав столь категоричное мнение жены, замкнулся и не стал объяснять происшедшие в институте события.

Мильда принесла Кирову записку от Виталия Ганина. Аглая, еще передавая ее, разрешила Мильде познакомиться с содержанием записки.

«Уважаемый Сергей Миронович! Я бы хотел встретиться с Вами как можно скорее, чтобы сообщить Вам некоторые сведения особо секретного характера. Не знаю, заинтересуют ли они Вас, но, поскольку моя жизнь в опасности, я считаю своим долгом оповестить Вас об этой тайне, о которой, возможно, знаю лишь я, а дальше Вы можете распоряжаться этими сведениями по своему усмотрению. В силу указанных выше обстоятельств я бы хотел, чтоб эта встреча носила строго конфиденциальный характер и была бы каким-нибудь образом скрыта даже от Вашей охраны. В данном случае приму любое предложение, которое лучше всего передать через М. П. Извините, что вторгаюсь в Вашу личную жизнь, но еще раз повторяю: я могу исчезнуть, умереть в любую минуту. Той же опасности подвергается и моя жена. С неизменным уважением к Вашей честности и порядочности, остаюсь Ваш Виталий Ганин, доктор медицинских наук».

Киров, прочитав это послание, с удивлением посмотрел на Мильду. До сих пор она никогда не пользовалась близким знакомством с ним в своих интересах, за исключением пустяковой просьбы о трудо-

устройстве своего мужа. Но этот поступок выходил за рамки всех привычных их отношений. Киров нахмурился, бросил на стол записку. Несколько секунд он молчал, не говоря ни слова.

— Что произошло? — спросил он.

Мильда рассказала ему историю знакомства с Аглаей, начиная от мимолетных улыбок по утрам и кончая их разговором в ее кабинете, появлением молодого грузина с букетом роз и мольбой Аглаи помочь ей. Она сама больше ничего не знала, и записка, принесенная Аглаей на следующий день, вызвала у Мильды бурю негодования. Она отказалась передавать ее Кирову, использовать их отношения в каких-либо иных, пусть и самых благородных целях. С Аглаей случилась истерика. Успокоившись, она попросила в случае смерти их с мужем связаться с ее родителями, чтобы они забрали детей, потому что их могут отдать в детдом, отправить туда, где их потом никто не найдет. «Если, конечно, их не убьют вместе с нами, а, скорее всего, так и случится», — обреченно выговорила Аглая. Мильда весь день промучилась, не зная, как поступить, и наконец решилась передать записку, не желая становиться безгласным палачом двух молодых жизней. Но эти подробности в рассказе об Аглае она опустила, чтоб не выставить ее психопаткой и истеричкой.

— Вы, Сергей Миронович, — она впервые обратилась к нему на «вы» и так официально, — вольны принять любое решение, я приму его безоговорочно и буду считать вас правым во всем, что бы ни случилось...

Щеки ее пылали, в глазах стояли слезы, и Киров, взглянув на нее, улыбнулся. Подошел, обнял Мильду, прижал к себе.

— Глупость какая-то, детектив целый! — усмехнулся он. — Если ему угрожает какой-нибудь бандю-

га, то лучше всего обратиться в милицию, я тут не помощник!.. Как ты считаешь?

— А если не бандюга? — спросила Мильда.

— Но кто? И что за тайна?! У нас не Америка, где распространены преступные кланы! Конечно, грузины народ горячий и мстительный, их никакая милиция не остановит, если существует, к примеру, родовая месть. Можно предположить, что отец этого Ганина совершил какую-нибудь подлость против этих Мжвания, судя по фамилии, менгрелов. Но все равно надо идти в милицию, все рассказать, самосуд у нас наказуем! А тут какая-то встреча, да еще в обход моей охраны, это уж совсем непонятно!.. — Киров снова нахмурился.

— Я ей так и передам, чтоб она обратилась в милицию, — согласилась с ним Мильда. — Ты на меня не сердисься?

— Сержусь немного, — улыбнулся Киров. — Я просто не хочу, чтобы о тебе и обо мне судачили на разных углах... Ты же пойми...

— Я понимаю, — прервала его Мильда. — И обещаю, что теперь под самыми страшными пытками я никогда не произнесу твоего имени. Я все понимаю...

Она прижалась к нему. Киров погладил ее по волосам, раздумывая о записке. Он вдруг вспомнил: возвратясь в последний день перед отъездом к Кобе, он застал там Лаврентия Берию, которого хорошо знал по работе в Закавказье. Знал и не любил за подлый и льстивый нрав. И Серго не любил этого прохвоста, который, если потребуется, и отца родного не пожалеет. Берия с Кобой были уже навеселе. Лаврентий полез целоваться, стал усаживать Кирова за стол, юлить вокруг него, сыпать поздравлениями, комплиментами, но ничего другого Сергей Миронович от этой менгрельской лисы и не ожидал. Он

вспомнил другое. Прощаясь с Берией, Коба сказал Лаврентию:

— Не затягивай с моей просьбой!..

— Как приеду, сразу же этим и займусь, Иосиф Виссарионович! Все будет в порядке! Лаврентий никогда отца родного не подводил!

Киров после ухода Берии не очень лестно о нем отозвался и привел мнение Серго, который во всеулышание сказал, что нынешний партийный вождь Закавказья в 1918 году сотрудничал с мусаватистской разведкой, но почему-то об этом все помалкивают.

Сталин нахмурился.

— Надя тоже его не любила, — сказал он, — и я не в восторге, но кому-то надо делать и грязную работу...

Потом Коба заговорил о делах, и Сергей Минович забыл спросить, что он имел в виду под словами «грязная работа». Берия все же первый секретарь Закавказского крайкома партии. Теперь это почему-то вспомнилось.

Мильда уже ушла в соседнюю комнату, а Киров все еще раздумывал над запиской Ганина. «Да нет, при чем тут Ганин и Коба с Берией! — рассердился Киров. — Я сам становлюсь таким же мнительным, как Сталин!»

Киров встретился с Ганиным через два дня. Встретился в кабинете Пылаева в том же здании, где работала Мильда. Пылаев пошел пообедать, оставив их вдвоем.

Ганин рассказал о встрече Сталина и Бехтерева, о визите круглолицего ласкового кавказца в пенсне, в котором Киров сразу же узнал Берию, и о внезапной смерти профессора. Потом о визите Мжвании и той же дьявольской корзине с фруктами, которую Гиви вчера вечером принес к ним в дом. Виталий к ней не

прикасался, он был уверен, что вино или фрукты отравлены.

Рассказ Ганина ошеломил Кирова. Несколько минут он молчал. Он снова вспомнил и странный разговор Берии со Сталиным в последние дни семнадцатого съезда, и сетования Кобы на бессонницу, на приступы головной боли, наконец, его невероятная, граничащая с безумным страхом подозрительность. До сих пор Киров и сам не находил разумных объяснений всему, что творилось с их вождем. Даже Орджоникидзе, знавший его с юности, разводил руками. У всех них были десятилетия трудной и напряженной борьбы, работы в подполье, но раньше, как рассказывал Серго, Коба никогда не испытывал страха, и Орджоникидзе даже завидовал ему в этом. А что сейчас происходит с бесстрашным боевиком, он не знал. Врачей Сталин всегда презирал, к советам не прислушивался, лечился сам и уважал только дантистов. И то потому, что зубами он никогда не страдал.

— Если вы так в этом уверены, то можете отвезти корзину с фруктами нашим чекистам, там они их проверят на наличие ядов. Я со своей стороны могу попросить товарища Медведя Филиппа Демьяновича проконтролировать ваши опасения...

Киров даже подошел к телефону, чтобы позвонить Медведю.

Ганин вскочил со стула.

— Подождите! — остановил его Виталий. — Одну секунду!

Киров положил трубку.

— Я сам все проверю! Я все-таки врач и сделаю анализы без лишнего шума. Потому что если это... — Ганин выдержал паузу. — Вы сами знаете к т о... Тогда о н узнает об этом в тот же день и конечно же предпримет более стремительные и радикальные меры. И ваша жизнь тогда окажется под угрозой...

— Что за ерунда! — возмутился Киров. — О моей жизни можете не беспокоиться! Меня достаточно хорошо охраняют! И потом я не вижу, кого бы мог бояться.

Киров сел на стул.

— Извините, но я психиатр и хорошо знаю ту болезнь, которую диагностировал профессор Бехтерев. А он был гениальный ученый и не мог ошибаться. Вы е г о ничем не остановите, тем более сейчас. Я читаю газеты...

Ганин достал папиросы «Звезда», предложил Кирову. Они закурили. Ситуация была щекотливая. Сергею Мироновичу только что объявили, что вождь всех времен и народов и его лучший друг попросту сумасшедший, он отравил великого психиатра Бехтерева, а сейчас хочет отравить еще двух советских врачей. Конечно, имя Сталина вслух не произносилось, но подразумевался именно он и никто другой. По всем нормальным законам Киров был обязан схватить этого Ганина и отвезти на Литейный к Медведю. Если его сведения подтвердятся... Киров запнулся. Ход рассуждений далее прерывался, потому что Киров прекрасно знал, что Сталин, узнав об этом, сделает все, чтобы Ганин со своим семейством исчез навсегда. И не только Ганин. В первую очередь Мильда, которая их познакомила. А потом... Он конечно же не верил, что Коба попытается убрать и его, но полностью исключить это предположение Киров, как ни убеждал себя, не мог. У Сталина святым и неприкосновенным идиолом был только сам Сталин. Может быть, поэтому последние внутренние доводы Кирова перевесили верноподданнический испуг, и он не стал пороть горячку.

— Хорошо, но как только закончите анализы, немедленно сообщите мне, — попросил Киров, поднимаясь и подходя к двери. — Я уведу охрану, а потом

уйдете вы. О нашей встрече ни одному человеку. Об анализах сообщите через Мильду... Только не говорите ей вообще ничего. Скажите, что старые семейные затруднения. До свидания!

Киров уже взялся за ручку двери, потом обернулся.

— И передайте ей ваши координаты, чтобы я мог в какой-нибудь экстренной ситуации найти вас!..

Ганин кивнул. Сергей Миронович вышел. Виталий сел на стул. Резко зазвонил телефон, и от этого пронзительного звонка Ганин дернулся, подскочил на ноги, потом выдохнул испуг и усмехнулся.

— Скоро и я психом стану! — пробормотал он.

Виталий отвез корзину в лабораторию института и попросил своего ассистента срочно сделать анализы. Он не уехал от него до утра, пока они не проверили каждую виноградину, каждое яблоко и каждую дольку мандарина. Никаких ядов ни в вине, ни во фруктах они не обнаружили. Ганин был обескуражен. Он же сам видел этого Гиви, который явно врал, рассказывая о жизни Котэлии, да и Аглая так и не вспомнила, танцевала она с Мерабом или нет. Все было придумано, но для чего? Может быть, корзина лишь предупреждение? Но что это за джентльменские штучки? Ганин ничего не понимал. Он ощущал опасность, но разгадать игру и дальнейшие ходы дьявольского противника не мог. А впереди уже готовился неотразимый и последний удар, Виталий чувствовал.

Гиви больше не звонил. Он словно пытался уверить чету Ганиных, что смешной и романтичный невропатолог Мераб Котэлия из Тбилиси действительно был когда-то влюблен в Аглаю Федоровну и

теперь, воспользовавшись оказией, решил таким дружеским жестом напомнить о себе. Только и всего.

Но Виталий в это не верил. Он просиживал ночи на кухне, пытаясь предвосхитить следующий выпад наивного простачка Гиви, который был простой ма-рионеткой в этой игре, но как разгадать логику сумасшедшего, у которого ее нет. Оставалось ждать и молить судьбу о спасении.

...Киров впервые в тот вечер не мог долго заснуть. Если верно все, что рассказал Ганин, то Сталин действительно больной человек, и ему надо лечиться. Отчасти он понимал Кобу. Заяви ему такое же этот профессор, он бы и сам послал его подальше. Они все в той или иной степени параноики. Десятилетия подпольной борьбы, конспирация, слежки, тюрьмы, ссылки ничего хорошего к здоровью не прибавляют. И где та грань между абсолютно и не очень здоровым человеком, определить ее было почти невозможно.

Когда Киров работал в Баку, один из его помощников рассказывал, как сидел с Кобой в одной камере. Дни тянулись однообразно, и молодой учитель, кем тогда работал помощник Кирова, размышлял о мировой революции, Сталин мрачно его слушал, потом неожиданно поднялся и, еле сдерживая безумное волнение, спросил:

— Крови тебе захотелось?

Он неожиданно вытащил нож из-за голенища сапога, поднял штанину и полоснул себя по ноге. Кровь брызнула во все стороны.

— Вот тебе кровь! — радостно наблюдая за перепуганным учителем, проговорил Коба. Помощник, пересказывая эту странную историю, побледнел от вновь переживаемого страха.

Киров видел, как Сталин в Зубалове сам резал

баранов. Причем сгонял на круг всех гостей, мужчин и женщин, и при общих вскриках удивления и ужаса перерезал молодому барашку горло. А потом кому-нибудь из Политбюро предлагал то же самое проделать и со вторым. Бедный Каганович чуть в обморок не упал, а Ворошилов, вызвавшийся проделать следом за Кобой такую же штуку, лишь подрезал барашка и тот, отчаянно бляя и брызгая кровью, стал носиться по двору. Некоторые дамы попадали от страха в обморок, а Коба радостно хохотал, и лишь вмешательство Нади, ее возмущенный крик образумил Сталина, и он прекратил эту кровавую бойню.

Еще одно любимое занятие Кобы — поджигать окрестные муравейники и с азартом наблюдать, как лихо муравьишки организуют спасение самок, погибая подчас сами в огне.

— Вот видишь, глупые-глупые, а в первую очередь баб спасают, чтоб потом на новом месте они рождали бы новых мусорщиков, грузчиков, добытчиков еды. Разумные существа, как мы!..

При этом Кобу совсем не взволновало, что он только что сгубил сотни таких разумных существ. «Мой папа — сумасшедший», — как-то раз прошептал на ухо Кирову его бедный сын Яков, которого Коба часто бил и нередко выгонял из дому. И мальчик, быть может, не так уж был не прав.

Сергей Миронович поднялся, взял папиросы и вышел на кухню. Из-за двери спальни пробивалась полоска света: жена тоже не спала, как обычно, читая очередной том воспоминаний великих или о великих людях. Она любила этот жанр. Киров предавался мемориям собственным. Но коли возникала загадка, он по мере сил старался ее разгадать, так уж был устроен.

Киров вспомнил тот разговор с Бухариным в перерыве семнадцатого съезда. Николай Иванович в

подробностях рассказал ему историю, происшедшую с ним в июле 1928 года, которая повлекла за собой его отставку из Политбюро и ЦК.

Шел июльский Пленум ЦК, на котором присутствовал и Киров, помнивший, как крепко Бухарин повздорил в один из дней с Кобой. Именно в тот день Николай Иванович возвращался домой с Сокольниковым. Они оба жили в Кремле, дружили с детства и по дороге горячо обсуждали коварное поведение Кобы, который еще вчера говорил одно, а сегодня вдруг заявил совсем обратное. Им повстречался Каменев. Бухарин знал, что он с Зиновьевым сидит в калужской ссылке, куда их загнал Сталин, и вдруг явление Христа народу. Они остановились. Бухарин и без того был возбужден, а тут Каменев напомнил ему, как на четырнадцатом съезде он выступил против Сталина и советовал не переизбирать его на пост генсека. И благодаря Рыкову да молчаливой поддержке Бухарина Сталин остался у власти и теперь правильно закручивает их всех в бараний рог. Поделом им, паршивым интеллигентам!

Бухарин признался, что был не прав тогда, и Сталина следовало переизбрать. Он только недавно понял, какой Коба коварный и страшный интриган. Он нарочно сталкивает их друг с другом. Поддерживает сначала одного, и его руками громит третьего, а когда тот повержен, настает черед «съедания» и победителя. Еще вчера Коба поддерживал Бухарина, защищая вместе с ним середняка и крепкого богатея, а сегодня за это же бьет.

— У него нет никакой политической линии, он высасывает из нас живые идеи, раскладывает их, как пасьянс, присваивает, а потом жонглирует ими, стравливая авторов между собой, как дворовых собак! — размахивая руками, горячился Бухарин. — Окружил себя каменными жопами, как Молотов, и

прихлебателями, как Ворошилов, которые только и смотрят, за что будет голосовать Сталин, чтобы побыстрее за ним следом поднять руку. Он ведет нас к гражданской войне, потому что народ обмануть нельзя. Я вас уверяю: завтра-послезавтра вспыхнет голод, и никакие лозунги о дисциплине и сплоченности не помогут. Когда нечего жрать, простите меня, то вся эта фанерная философия об усилении классовой борьбы никому не понадобится!

— Вот и надо объединяться, — оглядываясь, нервно проговорил Сокольников, — пока мы еще в силе и массы верят больше нам, чем Сталину! Надо создать свой блок и разбить эти каменные задницы!

— Я согласен, — загорелся Каменев. — Это действительно уже край, далее терпеть все это самозванство невозможно! Он последний хам, и мы это терпим!

— Он не хам, — усмехнулся Бухарин. — Он обыкновенный диктатор и тиран. Его интересует только власть. Пока он, чтобы остаться у власти, делает нам уступки, но потом передушит нас всех! Сталин умеет только мстить и вечно держит кинжал за пазухой. Он даже, не стесняясь, рассказывал мне о своем методе: «Выискать врага, отработать каждую деталь удара, насладиться неотвратимостью мщения и затем пойти отдыхать... Что может быть слаще этого?..» Каков сукин сын, а? Этаким второй Макиавелли! Я думаю, нам всем следует помнить о его науке «сладкого мщения»!

Бухарин замолчал. Дав волю своей злости, исчерпав ее, он и не стремился к большему. Он хорошо знал, что Коба выкрутится, обьялит их всех, обласкает, собьет пламя, а потом зажарит на раскаленных углях. Не им, наивным трубадурам революции, вступать в схватку с демоном разбоя, этим вероломным Чингисханом, который одной рукой тебя обнимает,

а другой заносит над спиной острый нож. Это глупо и опасно. «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь», — вспомнил Николай Иванович.

— Не знаю, друзья, — вздохнул Бухарин. — Насчет блока надо подумать и пока уж, во всяком случае, его не афишировать. Мое мнение такое: нужно готовить новый пленум и готовить его, работая индивидуально с каждым членом ЦК, то есть зная его мнение по этому вопросу. А так мы только шишек набьем, и нас же на всеобщее посмешище выставят.

На том и разошлись. Обыкновенный разговор во дворе, горячий, может быть, с неприличными выражениями даже, но приятельская болтовня, не более. Однако не прошло и двух часов, как домой к Бухарину ворвался Алексей Иванович Рыков и, заикаясь от волнения, стал рассказывать, как только что его вызвал к себе Сталин и гневно выговорил ему о том, что Бухарин за спиной Политбюро ведет сепаратные переговоры с Каменевым о создании фракционного блока и будто бы все это делается с согласия его, Рыкова, и Томского.

Сталин даже выложил подробности этой частной беседы — о каменной жопе Молотове, прихлебателе Ворошилове и других крепких выражениях Бухарина об авторитетных членах Политбюро, которые лижут Кобе одно гадкое место. Но этого мало. Бухарин якобы заявил Каменеву, что будто бы Сталин ведет страну к голоду и гражданской войне, а это серьезные обвинения не только против него, но и всей линии Политбюро, ЦК.

— Б-был такой р-р-раз-зговор или н-нет?! — в упор спросил его Рыков.

Бухарин, вальяжно лежавший до этого на диване с томиком Верхарна, даже подскочил, потрясенный

этим сообщением. Он побледнел и, сжимая кулаки, заходил по комнате.

— Значит, Каменев донес, подлец и предатель! — воскликнул он. — Никто другой об этом донести не мог, мы встретились случайно, в кремлевском дворе, да и поговорили-то минут тридцать, когда с Сокольниковым возвращались с пленума. Рядом никого не было, значит, и подслушивание исключено!

— Я тебя с-с-с-прашиваю: был этот р-р-раз-зговор или нет?! — рассердился Рыков.

— Да был, был! Но каков Каменев, двурушник и подлец?! Улыбаться, поддакивать мне, а потом побежать и все пересказать Сталину! Какое неслыханное коварство! Это похлеще, чем в октябре семнадцатого, когда они с Зиновьевым разболтали о революции! — сотрясал кулаками воздух Бухарин.

— Б-баба ты, а не п-политик! — в сердцах выговорил Рыков и сел на стул. — Нашел п-перед кем душу изливать! Мало они т-тебя б-били! М-м-мальчик-б-бухарчик!

— Что ж мне теперь рот нитками зашить? — вскричал Бухарин. — Я не могу и своего мнения высказать?!

— М-можешь, — мрачно выговорил Рыков. — Только я п-посмотрю, как ты в лицо М-м-молотову скажешь, что он т-т-тупица и каменная жопа. З-з-зачем же оскорблять людей?

Николай Иванович опустил голову.

— Да, тут я не прав, — вздохнул он. — Он, конечно, тупица и каменная жопа, но говорить этого я не должен был... Хотя почему не должен? Я же не с трибуны съезда это сказал, а в частной беседе...

— З-замолчи! — гневно оборвал его Рыков. — Ты п-п-одумай, в какое п-положение ты нас с Т-томским поставил, с-своих друзей!

— Нет, но каков подлец этот Каменев?! — снова

взвился Бухарин. — Какая это гнусная рожа, Лев Борисович Розенфельд! Иуда, похлеще Троцкого!

Бухарин заходил по комнате.

— А п-почему ты думаешь, что он? — немного успокоившись, спросил Рыков.

— Как почему? Гриша Сокольников не мог, я его с детства знаю...

— Этот твой Г-гриша в п-п-последние дни с Кобой все время шушукался. И з-з-знаю, что письмо он К-каменеву в К-калугу отправлял, и сюда его заз-з-звал, именно на пленум, чтоб выступить якобы п-п-против Сталина. И в то же время ш-ш-шушукался со С-с-сталиным. Не он ли все это п-п-подстроил? — предположил Рыков.

Николай Иванович остановился, недоуменно взглянул на Рыкова.

— Но подожди... Он же не знал, что мы вместе выйдем... — пробормотал Бухарин и запнулся.

— Вот-вот, — усмехнулся Рыков. — Он п-подлез, взял п-под ручку и п-повел. Как овцу на заклание!.. Эх, м-мальчик-бухарчик! Коба нас с тобой слопает и косточек не оставит!

Последствия этого случайного разговора Бухарина и Каменева Киров знал уже хорошо, как и знаменитую фразу Кобы о «сладости мщениия».

20 января 1929 года в троцкистском бюллетене за границей появилась запись этой беседы. А 30 января Бухарин сделал заявление в ЦК, объясняя свои резкие расхождения со Сталиным и обвиняя его в военно-феодальной политике против крестьянства и насаждении бюрократических методов в партии. Это был уже вызов. Была создана комиссия во главе с Орджоникидзе для разбора этого заявления. Серго стремился примирить Бухарина с Кобой, но Николай Иванович не хотел идти на попятную, не хотел признавать, что разговор с Каменевым был политичес-

кой ошибкой, а про военно-феодалное порабощение крестьян он сказал сторяча. И на вопрос о том, как попала запись разговора Каменева с Бухариным за границу, выразился еще резче, будто все это подстроил сам Сталин через ОГПУ. Последней каплей в этой разгоревшейся ссоре явилась публикация «беседы» Каменева и Бухарина еще в одном заграничном издании, на этот раз в гнусном меньшевистском «Социалистическом вестнике», который издавал ненавидевший Сталина Федор Дан в Париже. Коба размножил те страницы журнала, где была напечатана «дружеская беседа» Бухарина и Каменева, и роздал их участникам апрельского (1929 года) Пленума ЦК, чтобы окончательно втоптать Бухарина в грязь.

Рассказывая Кирову о том злополучном разговоре с Каменевым и подозрениях Рыкова относительно Сокольников, Бухарин с грустью произнес:

— Я и сегодня не знаю, кто это сделал: Каменев или Гриша, боюсь, как чумы, теперь того и другого, но то, что Коба все это состряпал для заграницы — несомненно. И текст разговора сам отредактировал, и через ОГПУ в Париж отослал, чтоб потом всем заявить: вот, видите, до чего Бухарин докатился — его уже злейшие наши враги печатают!..

Он выдержал паузу, помолчал, потом грустно улыбнулся, обнял Кирова за плечи и шепотом проговорил:

— А Рыков мне говорит, что Коба и саму встречу подстроил, и специально перед этим на пленуме свару со мной затеял, чтоб вывести меня из равновесия, он все просчитал, вплоть до шагов, и разыграл с помощью Сокольников и Каменева, как в театре. В это невозможно поверить, но я верю... Я знаю, вы дружите, и заступничества перед Кобой не прошу, это бесполезно, только хуже мне и себе сделаешь, но об одном не могу не предупредить тебя, Сергей Ми-

ронович: поаккуратнее с ним, не откровенничай много. Не думай, будто я с ума сошел. Ты наивен и честен, по-хорошему наивен и честен, и безоглядно пока веришь во все эти темпы и лозунги, в классовую борьбу и бесчисленный сонм врагов. Но как только во всем этом усомнишься, тебе этого не простят. А ты обязательно усомнишься! Первое время будешь скрывать, так что и догадаться никто не сможет, а потом не выдержишь. Но лучше притворись больным и уйди в сторону, иначе он раздавит тебя, и как еще раздавит! — Бухарин оглянулся по сторонам и прошептал в самое ухо: — С ним безумство душевное творится, и нет пока этому объяснения. Сколько ни думаю, а объяснить не могу. И прошу тебя: никогда не говори с ним о своих сомнениях! Никогда! Тютчев столетие назад мудро заметил: «Молчи, скрывайся и таи — и мысли, и мечты свои...»

Все это живо вспомнилось Кирову после разговора с Ганиным. И то, что он не донес, а поверил молодому психиатру, и означало ту самую первую стадию сомнений, о которой его предупреждал Бухарин. Последний точно угадал, что происходит с Кировым. Он и скрывает их так, что никто пока не догадывается, но вот совета бухаринского не исполняет, и робкие сомнения Кобе высказывает. Иначе он не умеет. И больным притвориться не сможет. И Николай Иванович первым из их круга Кобе точный диагноз поставил: «безумство душевное», сам, может быть, того не понимая, что попал в точку.

Киров во многом был согласен с Ганиным. Сейчас поднимать вопрос о болезни Сталина, когда все успокоилось и вроде бы враги повержены, бессмысленно. Да никто и не поверит. И Кирова быстро запишут в число тех же зиновьевцев, мол, и ты хочешь расколоть наше единство. Даже Орджоникидзе обидится, а Коба тотчас этим воспользуется. И сна-

чала уберет Кирова из Политбюро, отправит снова на Кавказ, где Сергей начинал, а уж там ловкие Лаврентии быстро същут компромат, но нет, Сталин встанет на защиту Кирова: как, не может быть, не верю, не трожь. И отстоит, чтобы сломить дух, заставить у него в ногах валяться. Чтоб вдоволь накуражиться, насладиться мщением, а потом «пойти отдыхать». Ибо дальше уже забота палача.

«Вот ведь какой взаправдашний Сталин, — вдруг признался сам себе Киров, — и разве я не знал об этом? Разве раньше не видел, как он умеет мстить, жестоко расправляться с другими, кто вставал у него на пути. С тем же Смирновым, Рютиным...»

Но когда проходило заседание Политбюро по платформе Рютина, на котором Сталин требовал вынесения Мартемьяну смертной казни, Киров на него не поехал, сказался больным, потому что знал настроение Кобы, но, как и многие, считал, что это лишь попытка сколотить новую фракцию, а за нее нельзя лишать человека жизни, надо исключить из партии и тем ограничиться. И еще двадцать лет назад Киров понимал, что стоит опасаться этого человека: ему рассказывали, как Коба, чтобы не оставлять свидетелей, хладнокровно пристреливал раненых жандармов после взрыва фазтона с деньгами утром 13 июня 1907 года в Тифлисе. Но так случилось, что Киров с а м потянулся к нему, стал одним из его доверенных лиц на Кавказе, с а м сблизился, а когда опомнился, то было уже поздно. После смерти Нади Аллилуевой, увидев, как страдает Коба, он бросился на помощь, душа не солгала, а Сталин, впервые почувствовав не лесть, а дружеский порыв, ответил ему тем же. Как умел. Но рана затянулась, и обычная мужская дружба как бы сделалась ненужной, Коба стал перестраивать ее на свои струны, струны власти, которой ему всегда было мало, и он

хотел забрать ее больше, еще больше. Но натянутая струна быстро рвется. Киров пока держится. Из последних сил.

А лет десять назад все восхищались сталинской беспощадностью к врагам партии. Поэтому и упрашивали его остаться в должности генсека. Все боялись яростного Троцкого, боялись его тирании, если он вдруг окажется на вершине власти. Ведь это Троцкий придумал концентрационные лагеря. Хотя Коба уверяет Кирова, что Ленин. Но не это важно, важно, что Троцкий хотел загнать туда половину России. Вот его и боялись. И кто-то должен был расправиться с другом Ленина и его правой рукой. Никто не хотел пачкать руки и пятнать свое имя палачеством. А Сталин сам вызвался, ему это нравилось. Его и выставили как щит. И какое-то время все спали, убаюканные тем, что Сталин сражается против оппозиционеров и «раскольщиков» партии. Но число «раскольщиков» росло год от года, и в их ряды стали попадать уже те, кто никогда об этом и не помышлял. И вот тогда все спохватились, стали шептаться по углам: не далеко ли зашел Коба в своей борьбе против врагов? Не пора ли его остановить? Но Коба и здесь вывернулся. Он сказал на семнадцатом съезде: «бить некого». Но солгал, потому что Киров знал, что списки зиновьевцев в Ленинграде уже готовы. И сам Зиновьев пока жив. И Каменев, и Бухарин, и Рыков, и десятки других, кого он считает своими личными врагами, кто когда-то сказал ему обидное слово или посмел усомниться в его гениальности, в непогрешимости его планов и начинаний. А вся гениальность крестьянской политики Кобы теперь обнаружилась — миллионы мертвых в Поволжье и на Украине. И в это страшное время, когда люди от голода ели лошадиный навоз, Бернад Шоу заявляет на весь мир: «Ни-

когда я так хорошо не ел, как во время поездки по Советскому Союзу». Сталин старался, кормил английского драматурга деликатесами, холодильный вагон ездил за ним повсюду, его ублажали, как персидского хана, поэтому он написал на прощание, выезжая из «Метрополя»: «Завтра я покидаю эту землю надежды и возвращаюсь на Запад, где царит безнадежность». Но безнадежно трещала сталинская индустриализация, в которой кубометр бетона стоил дороже, чем человеческая жизнь.

На глазах Кирова перегоняли очередную партию на строительство Беломоро-Балтийского канала. Оперуполномоченный доложил ему, что гонят партию кулаков и подкулачников из Орла и Курска. Киров захотел посмотреть на них, зашел в вокзал, вернее, вступил на порог небольшого зала ожидания, который был набит ссыльными до отказа: мужчины, женщины, дети. Все они стояли на ногах, не в силах ни лечь, ни сесть. В носшибанул жуткий запах пота и вони. Люди стоя курили и ходили под себя, потому что какой-то болван распорядился никого не выпускать. Дети тихо выли, матери зажимали им рты. Часть стариков были уже мертвы, и сыновья с невестками по очереди держали их тела. Но самое страшное, отчего Киров оцепенел и не мог сдвинуться с места, — это были сотни отчаянных и диких глаз, впившихся в него. Люди ничего не говорили, они только смотрели, но взгляды их вопили от боли, ненависти и голода. И из всей этой плотно сбитой толпы вдруг к нему с протянутой ладонью потянулся худенький малец, перевязанный крест-накрест полущалком, которого мать держала на руках. Кировская охрана тотчас решительно загородила вождя, а мать мгновенно убрала руку сына, прижала его к себе, умоляя глазами не трогать их. Киров пошатнулся, не в силах выдержать это жуткое зрелище, вышел на свежий воздух.

Был конец зимы, с крыши капало. Подбежал толстенный, круглолицый, со свинячьими глазками гэпэушный комиссаришка, вытирая на ходу мокрые губы и дохнув на Кирова самогонной отрыжкой, громкоголосо доложил, что доставляют по этапу очередную партию осужденных и спецпереселенцев на великую стройку Беломоро-Балтийского канала.

Киров жестким, с нарастающим металлом голосом распорядился, чтоб людей выводили на оправку, как им положено, убрали мертвых, а курящих расположили бы пока на улице.

— Этапников кормили? — спросил Киров.

— Дык не положено в дороге, товарищ первый секретарь обкома партии, — улыбаясь оттого, что должен объяснять такие простые вещи, доложил комиссар.

— Людей накормить! — приказал Киров. — Дать хотя бы горячей воды! Или я вас... — Киров с такой злостью выдохнул последние слова, что свинячьи глазки комиссара застыли, превратившись в ледяные капельки жира.

Киров сразу же уехал, ему хотелось забыть этот дорожный случай, но он не забывался, и перед глазами вновь и вновь возникал станционный зальчик ожидания, который был плотно набит ссыльными, и они в ужасе, отчаянии и ненависти смотрели на него. На Беломоро-Балтийском работали 500 тысяч заключенных, и все они прошли этот вокзальный и строительный ад. Киров не спрашивал, сколько осталось в живых, когда стройка закончилась. Он знал, что большинство строителей погибло, унося в своей памяти его хмурое оспинное лицо.

Не воскликнут ли их потомки лет через сто: да что же они сделали с народом, эти беспощадные революционеры, кому нужна была их кровавая революция? Ибо ничего не забывается в истории. Ничего.

Берия все рассчитал точно: Гиви встретили настороженно, значит, история с тем заговорщиком-профессором, о котором ему рассказал Лаврентий Павлович, не забылась. Гиви привез корзину домой к Ганиным, сам доктор встретил его холодно, за стол не пригласил, чаем не угостил, даже не предложил раздеться и присесть, что уж совсем задело и обозлило молодого сотрудника тбилисского ГПУ, которого пока и в штат не оформили, поручив столь деликатное, но очень ответственное дело, ведь наставлял Гиви с глазу на глаз сам Лаврентий Павлович Берия, хозяин не только Грузии, но и всего Закавказского края, пригласив к себе в кабинет, выставив на стол фрукты и вино и приказав никого не пускать к нему и ни с кем не соединять, кроме товарища Сталина из Москвы. Это Лаврентий Павлович придумал, что фрукты и вино в корзине не будут отравлены, потому что надо было для начала узнать, как отреагирует на подарок семья врачей-заговорщиков, которых в любом случае надо будет уничтожить.

— В этом и весь наш фокус! — сказал Берия, щелкнув пальцами.

Лаврентий Павлович даже предположил, что после вручения корзины Гиви придется соблюдать особую осторожность: враги активизируются и, может быть, предпримут ответную акцию, постараются его убрать, поэтому дней десять надо отсидеть-

ся, не суетиться, подождать, пока все успокоится, но не бездействовать.

— Возьмешь с собой Валэта, воришку, он из Ленинграда, мы его в Гаграх взяли за одно ограбление, — сказал Лаврентий Павлович. — Он тебе поможет. Снимет слэпок с замка, сделает ключи, проследит за этим Ганиным и его женой, узнает, когда их не бывает дома, на это все ему и дается десять дней. А потом ты войдешь к ним и... — Берия вытащил темный аптечный пузырек и победно улыбнулся.

Несколько секунд он смотрел на Гиви тем холодным пронзительным взглядом, от которого у молодого грузина мурашки пробежали по спине.

— Ты исполнишь в точности все, что я скажу! — зло проговорил он. — Эсли же будет хоть одна ошибка, я отдам тебя собакам, горным волкодавам, которые растэрзают тебя в клочья, а остальное отдам на съеденье орлам! Вот насколько важна эта операция. А если все будет исполнено в точности, как я скажу, то... Какое у тебя звание?..

— Пока никакого, батано Лаврентий Павлович, — прошептал Гиви, пребывая в ужасе от будущего наказания.

— Будэшь уполномоченный...

— Уполномоченный?! — изумился Гиви.

— Да, в отдэл контрразведки. — Берия щедро улыбнулся. — Для начала это нэплохо, правда?

— Это хорошо, — восхищенно сказал Гиви.

— Но при условии, что ты не совершишь ни одной ошибки, иначе... — Берия выдержал паузу. — Ты согласэн?

Гиви уже хотел согласно качнуть головой, но Лаврентий Павлович успел вставить одну фразу.

— Подумай, Гиви! — Берия, змеино улыбаясь, смотрел на него. — Либо быть растерзанным в клочья бешеными псами, либо в одночасье стать упол-

номоченным в самом важном отделе — контрразведки. Другого выбора не будет!

Батоно Берия покачал перед его носом пухлым белым пальчиком. Налил себе минеральной воды и сделал глоток.

— Не будет!..

— Но почему вы думаете, что я совершу ошибку? — спросил Гиви.

— Потому что в молодости все считают, что они умнее остальных, а на самом деле все поголовно глупы! — засмеялся он, радостно блеснув стеклами пенсне. — Вот почему! Подумай, сын мой, хорошо подумай, это не такое простое дело...

— Я согласен, — подумав ровно секунду, сказал Гиви.

— Прекрасно! — кивнул Лаврентий Павлович. — В этом пузырьке страшный яд. Так вот, ты войдешь в дом Ганиных и по одной капле вольешь его в чай, хлэб, воду, суп, жаркое — повсюду, понятно?

Гиви кивнул.

— Хочешь узнать, как я догадаюсь, совершил ты ошибку или нэт?

Гиви кивнул.

— Когда ты покинешь тот дом и сделаешь все, чтобы и запаха твоего присутствия там нэ осталось, наши зайчики обязательно что-нибудь съедят, и мы достигнем своей цели. А если после того, как ты там побываешь, они останутся живы, значит, ты совершил ошибку... — Берия весело улыбнулся и развел руками. — Будем надеяться, что этого нэ случится.

Пока Гиви не совершил ни одной ошибки. Сорокалетний вор Валет сделал ключи, узнал, когда Ганиных и их детей не бывает дома, сколько времени они отсутствуют. Валет узнал все это за четыре дня, но батоно Берия сказал: ждать десять дней, и Гиви ничего не оставалось, как ждать десять дней. Истекал

седьмой день. Гиви безвылазно сидел в номере. Он спускался только в ресторан, чтобы пообедать, а после обеда выходил немного прогуляться по городу, буквально на полчаса, подышать воздухом, потому что от волнения у него начинало стучать в висках. Его даже не волновали хорошенькие девушки, которых было много в этом большом и красивом городе, и некоторые весьма кокетливо заглядывались на него: он был красив, строен и молод. И он не считал себя убийцей. Ведь его послал на такое дело сам батано Берия, хозяин края, член ЦК. И еще Гиви очень хотелось стать кадровым чекистом, уполномоченным отдела контрразведки. Он даже не позволял себе выпить бутылочку вина, расслабиться, лишь бы не допустить ошибки. А чтобы не допустить ее, он должен быть в форме. И у него все получится. Он выполнит задание, вернется героем, наденет командирскую форму и тогда расслабится. Ох уж как он расслабится! Возьмет десять девушек, много вина, мяса, уедет в горы и... От этих мыслей у него кружилась голова, но он себя останавливал. Он запрещал себе мечтать и возвращался в номер и терпеливо ждал. Оставалось еще три дня. Только три дня.

На следующий день, не дожидаясь ответа Ганина по поводу анализов, Киров вызвал к себе начальника ленинградского управления ОГПУ Филиппа Медведя. Они были дружны, иногда вместе ездили поохотиться, собирались в праздники за общим столом. Когда заместитель председателя ОГПУ Генрих Ягода, фактически управлявший этим карательным органом, попробовал перебросить Медведя в Минск, а на его место по распоряжению Сталина поставить Георгия Евдокимова, немного проштрафившегося в глазах Кобы, то Киров в одночасье все вернул назад: отругал Ягodu, позвонил Сталину, и Медведь остался в Ленинграде. Поэтому Филипп Демьянович хорошо

понимал, за кого ему стоит держаться. Да впрочем, он по-свойски даже любил первого и ради него был готов на многое.

— У меня есть одна просьба, Филипп Демьянович, — проговорил Киров. — В наш город прибыл некто Гиви Мжвания. Судя по моим данным, он приехал с одной тайной карательной акцией. Поэтому я бы хотел, чтоб вы осторожно вывели, что он за птица, зачем приехал и что собирается сделать. Но я бы хотел, чтоб вы проверили очень осторожно, не испугнув его. Он молод и, видимо, хорошо инструктирован, и, возможно, за ним стоят серьезные люди. Не исключено, что из Москвы.

— Это касается вас? — спросил Медведь.

— Нет, одного моего знакомого, психиатра, доктора наук Виталия Сергеевича Ганина.

— Слышал, — кивнул Медведь.

— Что? — спросил Киров.

Медведь замаялся, не зная, как ответить.

— Можете не стесняться, это шапочное знакомство, я о нем ничего не знаю, — сказал Киров.

— Руководство Психоневрологического института о нем отзывается довольно скверно. Утверждают, что протаскивает буржуазные идеи в советскую науку, в частности этого... — Медведь наморщил лоб. — Фрейда, кажется. А так больше ничего.

— Но в этом пусть они сами разбираются, — сказал Киров. — Меня интересует Мжвания. По некоторым данным, он остановился в «Астории».

— Я проверю, Сергей Миронович! — кивнул Медведь.

— Но еще раз повторяю, я бы хотел, чтоб вы сделали это осторожно, чтобы этот твой интерес не просочился в центральный аппарат ОГПУ.

— Я понял...

— И дайте мне знать, — попросил Киров.

...На следующий день на столе Медведя лежала справка тайного осведомителя ленинградского управления ОГПУ, работавшего в «Астории». Он сообщал о странном поведении молодого грузина, который редко покидал свой номер, не устраивал застолий, не проявлял интереса к женщинам. Несколько раз Мжванию навещал странный тип, больше похожий на вора или уголовника, но он проводил в номере Мжвания не более получаса и тотчас уходил.

Медведь, прочитав справку осведомителя по кличке Сова, задумался. Кажется, Сергей Миронович был недалек от своего предположения: Мжвания чего-то выжидал или к чему-то активно готовился. Медведь даже не стал звонить Кирову по телефону, а сам вечером следующего дня подъехал в Смольный и изложил факты.

— Я не рискнул что-то предпринимать без вашего совета, — объяснил Медведь, — но сдаётся мне, что вы были правы: он к чему-то готовится.

— Странно и другое: он приносит этому Ганину фрукты и вино, целую корзину. Ганин предполагает, что они отравлены, проводит анализы, но никакого яда в них нет, — сказал Киров.

— А почему он предположил, что фрукты и вино отравлены? — спросил Медведь.

— Так отравили его учителя...

— Профессора Бехтерева? — спросил Медведь.

Киров помедлил и утвердительно кивнул головой.

— Но...

— Ганин при этом присутствовал. Он свидетель... — Киров помолчал. — Я бы тебя только попросил: никому и никогда об этом. Даже под пытками.

— Но я не пойму мотивов...

— Потом как-нибудь я тебе расскажу, — сказал Сергей Миронович. — Если б мы не были друзьями

и я не знал тебя, то никогда не объяснил бы даже этого. Есть вещи, которых лучше не знать, даже тебе...

— Я хотел просто спросить, насколько можно верить показаниям этого Ганина? — Медведь нахмурился.

— Мне ты веришь? — улыбнулся Киров.

— Сергей Миронович, что за вопрос?! — обиделся Медведь.

— Ты уж извини, что я такими загадками тебя мучаю, но поверь мне: коли говорю, значит, о чем-то могу знать наверняка. Да и Ганину нет смысла врать, коли он не пошел ни к вам, ни в милицию, а выбился на меня.

Медведь помолчал.

— И что будем делать с этим Мжвания? — спросил Медведь.

— А что бы ты предложил?

— Можно провести обыск в его номере. Если он приехал с ядом, то где-то его прячет. И второе: если ему поручили убрать Ганина, то он к нему обязательно явится, и можно установить наблюдение за домом доктора. Я думаю, этот второй, уголовник, используется как наводчик: подбирает ключи к квартире Ганиных, ведет наблюдение, поэтому Мжвания ждет лишь удобного момента, чтобы заявиться к Ганиным тайно и сделать свое дело.

— Тогда важнее поймать его с поличным, — решил Киров. — И передать милиции. Увидел дворник, рядом был милиционер, взяли, а дальше посмотрим. Они могут потом подключить вас, если обнаружится неизвестный яд или что-то другое, и вы, как будто ничего не зная, потрясете его.

— Наверное, так разумнее, — согласился Медведь и усмехнулся. — Вам бы к нам в органы, Сергей Миронович!..

— Когда стану безработным, попрошусь...

— Вот этого не надо! — запротестовал начальник Ленинградского ГПУ. — Уж лучше каждый на своем месте.

Гиви взяли через два дня. Все обставили, как и предложил Киров: возник дворник, милиция, нашли склянку с ядом, взяли на экспертизу продукты. За полчаса Мжвания успел напитать смертельной отравой пятнадцать наименований съестных запасов, находившихся в доме: от хлеба до шоколадных конфет и молока. Злоумышленник был так потрясен появлением милиции, что даже попытался выпить отравленное молоко и покончить с собой, но опытные и проинструктированные заранее милиционеры не дали ему этого сделать.

Яд оказался неизвестного происхождения, и милиция, понимая всю необычность дела, передала его управлению ОГПУ, поскольку речь шла уже о попытке террористического акта с применением специальных средств. Все прошло так, как и задумывали Медведь с Кировым, за исключением одного: Валет исчез. К тому времени сыщики Ленугрозыска уже установили его личность по описаниям персонала «Астории», выяснили кличку и то, что он был взят с поличным в Гаграх. На запрос Ленугро из Грузии сообщили, что Валет бежал из следственного изолятора, и они даже отправили в Ленинград по этому поводу спецдонесение, которое в Ленугро почему-то не поступило.

Первый допрос Гиви провел сам Медведь. Мжвания плел что-то о любви, ревности, о том, что он давно был влюблен в Аглаю Федоровну, она не отвечала ему взаимностью, и он решился тогда отравить ее и мужа. Яд купил на рынке. Разговорился со старушкой, она и помогла. Бред был явный, но Мжвания стоял на своем, брызгал слюной и дико вращал

глазами. Через несколько дней, когда его запустили в оборот и начали допрашивать через каждые два часа, лишая сна и пищи, он стал намекать, что выполняет важное правительственное задание, что он тоже чекист, только не имеет права никому об этом говорить. Филипп Демьянович позвонил в Управление ОГПУ Грузии, но там ответили, что такого сотрудника у них нет. Медведь пригрозил, что завтра утром Мжвания будет расстрелян как террорист, если не скажет всей правды. Гиви упал на колени и стал умолять Медведя позвонить Лаврентию Павловичу Берии и спросить у него все сведения, потому что Мжвания выполняет его личное задание. И яд он давал ему сам лично, и весь план прорабатывал наедине с ним.

Медведь оформил признание протоколом, но в дело подшивать не стал. Слишком уж опасный был документ. Еще через полчаса позвонили из Грузии. Звонил сам Берия. Он заявил, что Гиви Мжвания до приезда в Ленинград лечился в тбилисской психлечебнице, откуда сбежал полмесяца назад. Из Грузии с документами уже выехал психиатр Мераб Котэлия, и у Берии огромная просьба: отдать им для продолжения лечения незадачливого сумасшедшего.

Филипп Медведь заехал к Кирову, рассказал ему о последних событиях, добавив, что Валет, скорее всего, стоял на шухере и, увидев милицию, людей в штатском, быстро все понял и дал деру. Другого объяснения быть не может. А найти вора, который лег на «дно», дело гиблое.

— А что касается заявлений о невменяемости Мжвания, то я на сто процентов уверен, что он психически здоров, и мы даже могли бы провести экспертизу в Психоневрологическом институте или в другом месте, чтоб не говорили, что в Психоневрологическом оказали давление Ганины...

— Ну так проводите, — сказал Киров.

— Тут есть одна закавыка, — проговорил Медведь.

— Какая?

— Мне звонил сам первый секретарь Закавказского крайкома партии товарищ Лаврентий Берия и сказал, если это нужно, позвонит и вам с такой же просьбой. Он очень просил в целях укрепления дружбы между русским и грузинским народами передать этого сумасшедшего им для продолжения лечения, кричал, что это позор на всю республику, и они не хотят, чтобы русские люди видели в грузинах только сумасшедших, что это позорит и честь великого грузина товарища Сталина, и так далее. Говорил долго и много. Сказал, что Грузия готова даже возместить материальный и моральный ущерб тем людям, кого их сумасшедший выбрал в качестве своей жертвы. Он очень просил. Я сказал, что доложу вам. Товарищ Берия передавал горячий привет великому Кирову.

— Понятно... — Киров задумался.

Несколько минут Сергей Миронович молчал, и Медведь, не выдержав, добавил:

— Если не отдадим, пойдут обиды: вроде мы им недоверие выказываем, а тут уже политика...

Киров кивнул.

— Ловко все рассчитал. И с этим Котэлией, который как будто был влюблен в Аглаю Федоровну, и с сумасшествием Мжвания, — вздохнул Киров.

Медведь молча положил перед Кировым протокол допроса Мжвания и указал место, где говорилось о Берии. Киров внимательно прочитал протокол, посмотрел на Филиппа Демьяновича.

— Я не стал подшивать его в дело, потому что Берия член ЦК. Об обвинении лиц такого ранга мы обязаны сообщать в центральное управление и в

ЦКК, — сказал он. — Представляете, что начнется, если мы перешлем им эту бумагу?! Поэтому я решил посоветоваться с вами... — Медведь нахмурился.

— Я оставлю его у себя, — кивнул Киров.

— Конечно.

Киров спрятал протокол в сейф, закурил папиросу, задумался.

— Ничего не понимаю, — помолчав, проговорил Медведь. — Вы тогда говорили загадками, теперь мы поймали этого отравителя, но ничего не прояснилось, наоборот, все еще больше запуталось в моей голове. Член ЦК дает яд неизвестного происхождения, чтобы отравить двух безвестных врачей. Бред какой-то!

— Бывает и такое, — усмехнулся Сергей Миронович. — А я думал, что ты уже отвык удивляться, работая на своей должности.

— До этого случая все было более или менее ясно, а теперь... — Медведь еще что-то хотел сказать, но только вздохнул. — Что будем делать с этим Мжавнией?

— Придется отдать, — сказал Киров. — Но Иосифу Виссарионовичу я доложу об этом случае.

— Вы думаете, стоит? — испуганно спросил Медведь. — Я не имею права советовать, но получится, что вы интересуетесь делом какого-то сумасшедшего...

— По поводу сумасшедших не каждый день звонят первые лица братских республик и оказывают давление на начальников управления, — заметил Киров.

— Это была просто просьба, он не оказывал давление. — Пошел на попятную Медведь, и его лоб даже покрылся бисеринками пота.

— Успокойся, Филипп Демьянович, — улыбнулся Киров. — Было бы из-за чего волноваться!

— Я знаю, что такое Берия, — пробормотал Медведь, — и его подлый, мстительный характер!

— Я тоже, — ответил Киров. — И уже давно хочу прищемить ему хвост, да все как-то не удается. А он, видишь, уже член ЦК, еще немного — и будет членом Политбюро. Я бы с удовольствием показал Кобе этот протокол, да не буду. Вот тут действительно не хочу тебя подводить...

Они помолчали.

— Впрочем, наверное, ты прав, — неожиданно проговорил Киров. — Чем меньше разговоров об этой истории, тем лучше. Надо и о Ганиных еще подумать.

— Ты думаешь, что акция может повториться? — спросил Медведь.

Киров грустно усмехнулся.

— Будем надеяться, что не повторится. Ты забудь эту историю, и никому из своих не рассказывай! Договорились?

Медведь кивнул. Открыл свою черную папку и передал на подпись Кирову несколько постановлений на арест членов партии. Передал молча, давая всем своим видом понять, что инициатива исходит не от него, а от Ягоды из Москвы. Киров взглянул на постановления и отложил в сторону.

— Я не знаю этих людей, выясню и потом подпишу, — сказал он Медведю.

— Ягода просил как можно быстрее, — заметил Филипп Демьянович.

— Скажи, что передал мне его просьбу, пусть звонит сюда! — скривив губы, ответил Киров.

— Я пойду?..

— Давай!

Киров поднялся, пожал ему руку, пододвинул к себе постановления и стал их внимательно изучать. Медведь что-то еще хотел сказать ему, но, промол-

чав, ушел. Киров вызвал к себе Чудова. Трое партийцев из пяти обвинялись в причастности к троцкистскому заговору. «Коба не дремлет, — подумал Киров и усмехнулся. — И Ягода каждый день направляет Медведю списки по десять — пятнадцать человек для ареста, и везде одна и та же формулировка: принадлежность к троцкистскому блоку, заговор с целью свержения Советской власти. И приводятся ссылки на показания уже расстрелянных и осужденных членов Промпартии, проверить которые невозможно. И надо подписывать. Надо верить Ягоде, верить доблестному ОГПУ, которое не может ошибаться. Сейчас придет Чудов и скажет: а какие у нас основания, чтобы не подписывать? Никаких. Значит, надо подписывать».

События в Институте истории партии набирали свои обороты. В конце марта Николаев «за отказ подчиниться партдисциплине, обывательское реагирование на посылку по партмобилизации» решением парткома был исключен из рядов ВКП(б).

3 апреля 1934 года директор института Отто Лидак подписал приказ номер одиннадцать: «Николаева Леонида Васильевича в связи с исключением из партии, за отказ от парткомандировки освободить от работы инструктора сектора истпарткомиссии с исключением из штата института, компенсировав его 2-х недельным выходным пособием».

8 апреля партийное собрание всего института подтвердило правильность решения парткома.

Николаев пришел домой перепуганный, а когда Мильда пригласила его ужинать, он вышел как чужой родственник с диковатым взглядом и долго смотрел на банку икры, которую она якобы купила в коммерческом магазине.

— Сколько это стоит? — спросил он.

— Двадцать пять рублей, — ответила Мильда. — Я подумала, что мы иногда можем себе позволить попробовать и икру, тем более что я подработала немного...

Банку икры ей отдал Киров из своего продпайка.

Его жена ее не любила, а он всем рыбным продуктам предпочитал мясо.

— Этого не надо было делать, — решительно сказал Николаев. — Отдай детям, им полезно, а я поем картошку с капустой.

— Что-то случилось? — спросила она.

Он кивнул.

— Что?..

— Меня исключили из партии и уволили с работы, — выдавил он. — Я не знаю, что теперь делать.

— Но почему? — удивилась Мильда.

— Я тебе рассказывал, что меня мобилизовали на транспорт, а я отказался. Они все меня ненавидят, потому что я умнее их, я замечал их ошибки, а они не хотели их исправлять, и вот теперь расправились со мной. Я, конечно, буду бороться, я не сдамся, но какое-то время я не смогу... помогать вам, поэтому нам надо сейчас довольствоваться самым необходимым. Я думаю, через месяц я одержу победу. Самое главное, чтоб меня восстановили в партии. Ты не можешь помочь?

Он посмотрел на нее таким отчаянным взглядом, что она не смогла ему отказать.

— Хорошо, я поговорю с завсектором кадров обкома, я для него печатаю материалы... — пробормотала она.

— Да, поговори, ты знаешь, что сказать, я всех их способней в институте, но у меня нет высшего образования, и они этим козыряют! Сволочи! Боже, какие они сволочи!

Он бросил ложку, вышел из-за стола, ушел к себе в комнату, но тотчас вернулся.

— Я не думал, что они так со мной поступят, думал попугают и только, ну, вынесут выговор, а они...

Его всего вдруг затрясло, и Мильда испуганно

посмотрела на мужа. Лицо у Николаева побелело, глаза дико заблестели, и он убежал к себе в комнату, застонал, захрипел, закусив одеяло, пена полезла изо рта. Он мертвой хваткой вцепился в пружинный матрац, прорвав ногтями парусиновую обшивку, и не выпускал его до тех пор, пока не закончился припадок. Он ждал его на два дня позже, но из-за этой нервозности сбился весь график.

Мильда знала об этих припадках, и раньше, едва они только начинались, она перевязывала его ремнями, веревками, потому что он мог разбить себе голову, лицо, выбить зубы, вонючая пена текла изо рта, и припадок длился более получаса. Потом, когда муж затихал, она обмывала его, меняла мокрую рубашку, отпаивала мятой, гладила, дожидаясь, пока он заснет. Сейчас же ей было противно даже смотреть на него и слышать его стоны. Она сидела на кухне, прислушиваясь к происходящему в их комнате, и не могла прикоснуться к еде. К счастью, дети уже поели, и мать читала им сказки, повышая голос, чтоб заглушить стоны отца. Мильде еще предстояло лечь с ним в постель, вдыхать гнилостную вонь после его припадка, и это было самое страшное. С какой радостью она сбежала бы, но за стенкой мать и двое детей, которые пропадут без нее. И еще одно злобное и больное дитя — муж.

Сегодня Киров выступает на заводской партконференции, а завтра в полдень они уезжают на охоту. На два дня. Командировка ей уже выписана, Зина остается за нее. Пылаев отдал распоряжение Чугуеву. Последний что-то подозревает. Зина уже приступала к ней с расспросами: с кем она едет и куда, но Мильда бросила на нее такой злой взгляд, что Зина заткнулась и до конца дня к ней не подходила.

В какие-то минуты она ожесточалась, и ей хоте-

лось все бросить, обо всем забыть, все начать сначала. Но злость проходила, и она смирялась, становилась кроткой и смиренной, доброй и жалостливой.

...Снег тяжелой ватой укрывал деревья, и они стояли не шелохнувшись, а когда звучал выстрел, то с верхушек искристой россыпью на нее полетело белое облако, и Мильда вдруг поняла, что давно не была в лесу, давно не смотрела на деревья, на зелено-густую хвою елок, на рощицы золотистых и легких, точно струны, корабельных сосен, бегущих по высокому обрыву залива, или на белый рой березняка, врывающийся в тишину леса, как хор детских голосов. Она смотрела на лес с такой жадностью и таким неподдельным восторгом, что Сергей спросил:

— Ты когда-нибудь раньше бывала в лесу?

— Нет, — соврала она, но он поверил.

И все вмиг отошло, умчалось прочь — и вчерашний припадок мужа, и усталые глаза матери, и гора грязной посуды, и гнилостные запахи дома, и отчаяние, и злость. Она казалась себе маленькой девочкой, ей десять лет, она возвращается к себе домой, на хутор, лесной дорогой и что-то еле слышно напевает. Ей хорошо, тепло в заячьей шубке, сшитой отцом, она идет домой из школы и еще не знает, что через несколько дней они уедут с хутора навсегда. А пока стоит теплый солнечный день, в лесу пахнет весной, и из глубины ельника доносится журчание ручейка, и горланят, распевают птицы. Ах, как ей было хорошо, как радостно в тот последний день перед их отъездом, как она была счастлива! Увидев белку на тающем снегу, понеслась за ней и чуть не ухватила за хвост. И так громко смеялась ей вслед, и так горько плакала, когда они уезжали. Ей шел десятый год, и она понимала, что никогда больше не увидит своих

школьных подружек, этого леса, той белки на снегу, которую чуть не поймала за хвост, словно в ней что-то умирало в тот миг.

И ей вдруг захотелось заплакать, и она заплакала, просто так, без причины. В лесу можно все, и все в радость.

Киров, взглянув на нее и увидев слезы на лице, удивился.

— Что-то случилось?

— Просто мне хорошо...

Он улыбнулся и ничего не сказал. И ей снова стало хорошо, оттого, что он ничего не сказал.

И так было два дня, что они провели на охоте. И сама охота оказалась удачной: Сергей Миронович подстрелил двух глухарей и сказал, что отошлет их Сталину.

— Зачем? — спросила она.

— Он болеет, — ответил Киров. — А потом ему будет приятно, что о нем кто-то помнит. Когда человек это понимает, он становится добрее.

Поскольку речь зашла о доброте, Мильда поведала и свою печаль: мужа исключили из партии. Киров заинтересовался, и Мильда вкратце рассказала происшедшую с ним историю.

— Тут они перегнули палку, я дам команду в райком, разберутся, — сказал он, подкладывая в печь полешки.

Потом они лежали, вслушиваясь в завывание ветра за окном.

— Как твои Ганины? — вдруг спросил он.

— Они просили поблагодарить тебя, Аглая даже спрашивала, что тебе подарить.

— И что ты сказала?

— Я сказала: ничего не надо.

— Молодец, — одобрил он.

— Это было серьезно?

— Да, — помолчав, ответил Киров.

— А кто этот грузин?

— Они тебе ничего не рассказывали?

— Нет...

— Ну и хорошо!

— Я не понимаю, он что, действительно их хотел убить?

— Забудь об этом, и никогда никому не говори! — жестко сказал Киров. — Это связано с очень серьезными вещами, и тебе лучше об этом не знать.

— Почему?

— Понимаешь, есть вещи, о которых лучше ничего не знать! Просто ничего не знать! Стереть из памяти, — уже мягче проговорил он. — Пойми, даже я не хотел бы об этом знать. Даже я... Я ведь ничего не сказал об этом Медведю, начальнику ОГПУ. И он понял, что ему лучше этого не знать.

— Странно...

— Что странно?

— Это как в сказке: по этой дороге пойдешь, костей не соберешь, — усмехнулась она, — а по другой пойдешь, головы лишишься...

— Да, это так...

Она посмотрела на Сергея, он перехватил ее взгляд, закрыл и открыл глаза, как бы подтверждая свои последние слова. И такая тоска сгустилась в его светлых глазах, что она прижалась к нему и крепко-крепко обняла, точно хотела защититить от всех дурных напастей. И так, обнявшись, они неожиданно заснули, проснувшись часа в три ночи: печь давно прогорела, вьюшка нараспашку, а в доме ветер гуляет. Пришлось вставать и снова растапливать печь. Мильда разогрела жаркое из зайца, они выпили вина и стали целоваться, как дети, с глупым причмокиванием. Потом оба засмеялись, он подхватил ее и унес

на кровать. А за стенами деревенской избы завывал ветер.

Она вернулась в Ленинград словно из другого мира. И у нее снова тихо и покойно стало на душе. Зина посматривала завистливо, отпуская двусмысленные шуточки, но Мильда будто не замечала ее. Лишь один раз повернула к ней лицо и строго спросила:

— Что это с вами, Зинаида Павловна? Держите себя в рамках!

И Зина чуть не лопнула от злобы.

Аглая затащила ее к себе. Накрыла стол, вытащив припасенные заранее деликатесы: копченую скумбрию, паштет, ветчину и бутылку грузинского вина «Хванчкара». Мужа Аглаи дома не было, они сидели за столом вдвоем, и Ганина, улыбнувшись, подняла бокал.

— Я хочу выпить за тебя, Мильда! Спасибо тебе за участие в нашей судьбе. Если б не твоя помощь и не вмешательство Сергея Мироновича, кто знает, может быть, мы и не сидели бы с тобой за этим столом! Будь счастлива!

В глазах Аглаи блеснули слезы.

— Спасибо тебе и Сергею Мироновичу от всех нас! Извини, нет Виталия, у него конференция, но он просил меня сказать и за него все эти слова!

Они чокнулись и выпили.

— Ешь! Ты же с работы, сейчас пельмешки сварим, не стесняйся!

Аглая, видя стеснительность Мильды, намазала ей на хлеб паштет, положила рыбки и ветчины.

— Как командировка?

— Хорошо, — сказала Мильда.

— А мы все еще не можем прийти в себя, — проговорила Аглая. — Ходим, как угорелые. Виталий еще ничего, втянулся уже в работу, а я никак в норму

не приду. Оба невропатологи и вроде бы все знаем по теории, а жизнь гораздо сложнее. А тут еще приезжал этот злополучный Мераб Котэлия. Виталий с ним встречался, а я отказалась. Не могу!..

— А зачем он приезжал? — удивилась Мильда.

— А ты не знаешь?

— Нет...

— Он забрал этого Гиви и увез. Оказывается, наш красавчик отравитель его пациент из психлечебницы, Мераб рассказал ему про меня, и этот Гиви решил, что обязательно должен стать моим мужем. Вот и приехал, представился племянником, принес корзину с фруктами, увидел мужа и решил всех отравить... — рассказала Аглая. Мильда слушала ее, раскрыв рот от удивления.

— Вот уж никогда бы не подумала, что он сумасшедший! — проговорила Мильда.

— Я тоже, — ответила Аглая.

Она сидела с пустой тарелкой, потом взяла папиросу, закурила, поднялась, приоткрыла форточку в комнате.

— Ты не обращай на меня внимания, я просто не хочу есть. Это Мераб так Виталию рассказывал. Но мы, конечно, не поверили ни одному его слову.

— Почему?

— Ты же сама только что сказала, что никогда не поверила бы, что он сумасшедший, — усмехнулась Аглая.

— Да, но если врачи говорят, то...

— Он нормальный парень, никакого психического расстройства у него нет. У нас глаз наметанный. Какие мы тогда психиатры, если нормального человека от психа отличить не сможем. Вранье стопроцентное!

— Но зачем это ему нужно? — удивилась Мильда.

— Ну как зачем, — усмехнулась Аглая. — Тут уже

политика. Не хочешь — заставим, не можешь — научим... Уезжать нам надо, Мильда! И чем скорее, тем лучше!

— А куда? — не поняла Мильда. — Ты хочешь к родителям, в Смоленск?

— Если б можно было к родителям... — вздохнула Аглая. — Да я бы на Сахалин, в тайгу сбежала! Только разве скроешься от него? Он тебя на дне моря съест!..

— Кто? — не поняла Мильда.

Аглая не ответила. Докурив папироску, прикурила от нее вторую. Мильда с тревогой смотрела на нее.

— Ты ешь, ешь, не обращай на меня внимания!

Аглая закусила губу и, сдерживая слезы, вышла из комнаты. В комнату заглянула девочка лет пяти в розовом платьице и розовых башмачках. Наклонив головку, она вежливо поздоровалась с Мильдой и с любопытством взглянула на нее черными бусинками глаз. Девочка была так похожа на Аглаю, так обворожительно хороша, что невозможно было не залюбоваться ею. Не увидев мамы в гостиной, маленькая принцесса, как тотчас окрестила ее Мильда, важно удалилась.

— Катя, иди поиграй с Павликом! — послышался голос Аглаи из коридора. — Павлик, достань Кате карандаши и дай тетрадь для рисования. А ты нарисуй нам с тетей Мильдой разных зверюшек и потом придешь покажешь, хорошо?

— Хорошо, мамочка, — трогательно ответила Катя.

Аглая вернулась, прикурила старую потухшую папироску. Заметив тревожный взгляд Мильды, она улыбнулась.

— Ты видишь, какой психоз? Вот тебе и невропатологи! Они просто не оставят нас в покое. И придумают такой изощренный вариант, что мы и двух слов

сказать друг другу на прощание не успеем. Надо бежать! Куда угодно, уезжать за границу, хоть в Африку! Там хоть какая-то есть надежда на спасение. И сама понимаешь, не ради себя, ради них, — Аглая кивнула в сторону коридора, откуда доносились детские голоса.

— Но кому и зачем надо убивать вас? — снова спросила Мильда.

— Тебе Сергей Миронович что-нибудь рассказывал?

— Нет. Я пыталась из него что-то вытянуть, он твердит одно: тебе лучше об этом ничего не знать. Поэтому я и не понимаю.

— Он прав, Мильда. Об этом лучше ничего не знать. Он боится за тебя.

— Но что здесь за тайна? — ничего не понимая, рассердилась Мильда. — Какие-то страсти-мордасти! Приезжает грузин, передает приветы, привозит корзину с фруктами и вдруг хочет вас отравить. Ведь должна же быть причина, если он не сумасшедший?!

— Он не сумасшедший, и причина есть. Но Сергей Миронович прав: ее лучше не знать, иначе и ты можешь оказаться в опасности. Я скажу тебе лишь одно, чтоб поставить точку в этом разговоре: я думаю, надеюсь, что Сергей Миронович и его подчиненные в ОГПУ очень не хотели отпускать этого Гиви в Грузию. Ведь можно было проверить его на вменяемость у нас или в другом институте. И результат был бы один: этот Гиви Мжвания вменяем. И тогда его пришлось бы судить и давать срок. Но те, кто его посылал, боялись, что он заговорит, и придумали эту историю с психбольницей. Так вот Сергей Миронович не хотел выпускать этого Гиви. Но его заставили отдать мерзавца-красавца. Заставили! А теперь подумай, кто может заставить Кирова это сделать?

— Но кто его мог заставить? Он теперь секретарь ЦК, выше этой должности не бывает!..

— Видимо, есть еще выше, — прошептала Аглая.

— Кто? Сталин? — вырвалось у Мильды.

— Я этого не слышала, а ты не говорила! — отрезала Аглая.

— Но они друзья...

— Все! — оборвала Аглая. — Я умоляю тебя, поговорим о чем-нибудь веселом! Куда ты ездила в командировку?

— В сторону Луги, где я жила...

— И что ты там делала?..

— Где? — не поняла Мильда.

— В командировке, где же еще?

— Я... — Мильда смутилась и пожала плечами.

Врать она совсем не умела, а говорить правду не могла. Но Аглая уже забыла, о чем спрашивала. Она выпила вина, закурила, с шумом выпуская дым и неподвижно глядя в одну точку. Глаза ее блестели, и она была такая хорошенькая, с тонким, нежно очерченным контуром смуглого лица, темно-кариими глазами и чувственным красивым ртом, что Мильда залюбовалась ею.

«Если б я была такая красивая, — подумала она, — и такая умная, то наверное бы...» — она загнулась, потому что глаза Аглаи снова подернулись влажной пеленой, и слезинка скатилась по щеке.

Аглая, заметив растерянный взгляд Мильды, улыбнулась.

— Родителей жалко, они старенькие уже, а я у них одна, их так жалко бросать. Папа еще в 1905 году ходил с красными флагами, он не поймет, проклянет, не выдержит такого моего предательства, — проговорила она и расплакалась. — Извини, я... — Аглая вытатила платок. — Дети не должны видеть мои слезы, я не должна распускаться, не должна, не

должна, я твержу себе эти слова каждый день и никак не могу взять себя в руки. Никак! Сапожник без сапог! Извини!..

Она снова вышла в ванную. Мильда, оглядев такой вкусный стол, заставила себя съесть бутерброд с паштетом, тонкий кусочек ветчины и две шоколадные конфеты из большой красивой коробки. Потом взяла еще две и спрятала их в сумочку: для детей. Допила вино и поднялась. Вернулась Аглая.

— Нет-нет, я тебя не отпущу! Извини меня, я больше так не буду! — решительно заявила Аглая. — Еще пельмени, чай с тортом — все по полной программе! Не уходи! — умоляюще проговорила Аглая, и Мильда села на место.

— Я хотела бы попросить тебя... Мне очень нужно минут на десять—двадцать встретиться с Сергеем Мироновичем, если он, конечно, сможет выбрать время, я хотела бы с ним посоветоваться. Скажи: просто спросить совета. Это очень важно сейчас для нас. Я понимаю, что он и без того уже очень много сделал для нашей семьи, но скажи, я буду вечно молить Бога за него и за его близких, потому что...

Аглая не выдержала, закрыла лицо руками и рыдалась. Мильда подошла к ней, обняла за плечи, Аглая резко развернулась и, плача, упала ей на грудь.

— Я поговорю с ним, попрошу его, он встретится с тобой, обязательно встретится, — прошептала Мильда. — Все будет хорошо, вот увидишь, все будет хорошо!..

Сталин уже второй день как приступил к работе после полуторанедельного отсутствия, неизменно появляясь к полудню в своем рабочем кабинете в Кремле. Свалил его дурацкий грипп, он заразился им от Молотова, который, будучи больным, продолжал ходить на работу, точно Предсовнаркома нечем было заменить. Коба, отболев полторы недели, обозлился на Вячеслава и постоянно думал, как ему отомстить за такую подлость. Он так и сказал ему:

— Вот все никак не успокоюсь, Вячеслав Михайлович! Из-за вашей легкомысленности я провалялся дома целых десять дней! Вот как вам отомстить за ваш подлый грипп, которым вы меня заразили? Прямо ума не приложу!..

Коба произнес эти слова столь серьезным тоном, что лицо Молотова посерело, забегали глазки за стеклами очков, и Сталин, заметив этот испуг, весело рассмеялся.

— Шутка, конечно, но впредь так больше не делайте! Заболел — лежи дома, не заражай окружающих!

Уже перед окончанием болезни Сталин получил двух жирных глухарей от Кирова и велел приготовить из них жаркое, на которое пригласил всех своих: Орджоникидзе, Клима, Молотова, Жданова и Кага-

новича. Пригласил, чтобы показать, как некоторые истинные друзья относятся к больному другу.

— Все звонят, кричат: надо то, надо это, у Клина срочные назначения, перемещения, у Вячеслава — то послы, то приемы, у Серго — пуск новой домны, у Лазаря — метро, а у Кирова никаких назначений, никаких послов, он поехал, ради друга подстрелил двух аппетитных глухарей и послал их ему, написав всего три слова: «Будь здоров, Коба!» А какой стол вышел? Так выпьем за тех, кто всегда держит порох сухим и никогда не забывает друзей!..

Клим заворчал, стал напоминать, что прислал Кобе грелку.

— Сейчас выпьем и за грелку! — сказал Сталин. — Но как прислал? Домработницу отправил, сам побоялся прийти, испугался, что товарищ Сталин заразит его своим гриппом. А вот товарищ Молотов не побоялся заразить товарища Сталина гриппом. Он настоящий друг! Так выпьем же за настоящих друзей, которые делятся с тобой самым последним!

Тост получился двусмысленным, но поскольку Коба под концовку лягнул Молотова, то Клим весело засмеялся, сгладив своей непосредственностью мрачноватый юмор Сталина. Все заулыбались, а Молотов даже захихикал. Коба всегда болел тяжело, потому что с детства, следуя наказам отца и матери, не признавал никаких лекарств, а лечился по старинке: баней, растираниями, пил отвары, настои из трав и мог сутками ничего не есть. Во время болезни Паукер неотлучно находился при нем, развлекая непристойными шутками и антисемитскими анекдотами. Сталин хохотал до слез, особенно когда Паукер вместо привычных еврейских имен Хаим и Абрам вставлял другие — Лева и Гриша, намекая на Каменева и Зиновьева: «Здравствуй, Лева!» — «Здравствуй,

Гриша!» — верещал Паукер, как клоун, блестяще копируя картавые интонации зиновьевско-каменевской речи. — «Где ты биль, Лева?» — «О, я биль в Кремле и сел там в большую лужу!» — «Но в Кремле нет никакой лужи, Лева!» — «Как нет? А я не подумал и сел, и что теперь делать, Гриша, а?»

У Кобы даже в глазах потемнело от смеха, и он прогнал Паукера, заставив на следующий день снова рассказывать этот анекдот, и снова смеялся до коликов в животе. Потом Паукер притащил целый том порнографических рисунков и большую лупу, и они часа два подробно рассматривали эти рисунки. Паукер комментировал содержание каждой сценки таким образом:

— Это Зиновьев, Коба, а это Каменев!.. — показывая на слипшуюся в экстазе парочку, нашептывал Паукер. — А это Зиновьев утешает Каменева, а тут Каменев натягивает Бухарина, очень похожи, да, Коба?..

Сталин хохотал до слез и запустил в Паукера лупой, но, к счастью, промазал, и шутник остался в живых. Так, смеясь, он и выздоровел.

На третий день в кабинете Сталина появился Берия. Коба с утра внимательно изучал закон Гитлера «О порядке национального труда», введенный фюрером 20 января 1934 года. Закон отменял прежнее положение об ограничении рабочего времени, охране труда, внутреннем распорядке, упразднял фабкомы и завкомы, а вместо них вводил «советы доверенных». Это еще больше закабалило рабочих и давало полную свободу управляющим. Сталину закон понравился: гибкий, дающий максимальную пользу производству, и жесткий в плане улучшения дисциплины.

Раздумывая о том, как использовать некоторые положения закона Гитлера здесь, Сталин обратил

внимание на стоящего у порога кабинета Лаврентия Берия, но не торопился приглашать его к столу. «Если б были хорошие вести, Лаврик, не спрашивая разрешения, уже бы сидел напротив, ему нахальства ни у кого не занимать, а тут как бедный родственник. Что ж, — подумал Сталин, — стой, коли так».

Берия, потоптавшись у порога, не выдержал и прошел к столу, как всегда, улыбаясь всем лицом, но улыбка выходила у него очень кислая.

Сталин взглянул на Лаврентия, вынул из кармана пачку папирос «Герцеговина флор», чтоб набить папиросным табаком трубку.

Берия пересказал историю с провалом Гиви, опустив, что к Медведю он звонил самолично.

— Нэ понимаю, Коба, как они его прихватили! Он действовал строго по моему плану. Все было рассчитано!..

— Значит, план был дурацкий! — зло бросил Сталин. — Я тебя предупреждал, что ленинградские чекисты промашек не допускают, а ты решил, что они все придурки, наподобие тех, что у тебя в Тбилиси!

— Нэт, я чувствую, Коба, здесь что-то нэ то! Кто-то вмешался очень серьезный!..

— Кто?..

— Киров, например! Мой парень не выходил из гостиницы, ничем себя нэ афишировал, а выходит, что за ним слэдили. Кто мог отдать такой приказ? Кому был нужэн маладой мальчишка? Гдэ дэлали анализы? Все шито-крыто, все сдэлено пальчики оближешь! Я нэ дурак, Коба!

— Ты идиот, Лаврентий! Расскажи лучше, как ты заполучил этого мальчишку обратно?

Берия порозовел.

— Я чувствую, ты все знаешь...

— Знаю.

— Кто сказал?

Сталин прищурился, глядя на Берию.

— Может быть, тебе отдать весь список моей агентуры и за границей тоже, Лаврентий Павлович?

— Извини, Коба, по привычке выскочило.

— Кретин! —дохнул на него злобой Сталин и разжег трубку. — Мое имя впутываешь? Первый секретарь крайкома всего Закавказья интересуется каким-то сумасшедшим! Ты думаешь, Медведь такой же идиот, как ты? Думаешь, он не понял, что этот террорист заслан с твоей подачи?!

— Но Коба...

— Заткнись!

Вошел Поскребышев, принес на подносе два стакана чаю, сахар, нарезанный кружками лимон и печенье в вазочке. Поставил стакан для Сталина, положил в него три кусочка сахара, помешал, пододвинул вазочку с печеньем. Стакан Берии остался на подносе.

— Спасибо, Александр Николаевич. — Коба кивком головы попросил их оставить и ни с кем его не соединять.

Поскребышев вышел. Берия сидел потный и вытирал платком мокрое лицо и шею.

— Взять бы и придушить тебя, как змею! — прошипел Сталин.

— Коба, прости! Прости! Я старался, я хотэл, я умереть готов ради тебя! Ты знаешь!..

Берия упал на колени и пополз к Сталину.

— Сядь! — приказал Коба.

Берия снова сел на стул, отряхнул коленки. «Так меня убьет и коленки только отряхнет», — подумал Коба. Несколько секунд длилось молчание. Сталин раскуривал трубку, глядя в справку, предоставленную ему по поводу спортивной организации Гитлера «Сила в радости». Она заботилась о том, чтобы молодежь проводила свободное время на стадионах, на-

качивала мышцы, крепла физически, что очень важно для будущего солдата. А кроме того, «Сила в радости» организовывала поездки за границу, морские путешествия, пропагандируя гитлеровский режим. «Весьма не глупо, — подумал Сталин. — Надо и у нас развивать спортивное движение и тоже ездить за границу. Чем мы хуже?!»

Лаврентий, не выдержав, взял свой стакан с чаем, положив него четыре куска сахара, лимон и стал мешать, громко позвякивая ложечкой о стенки стакана. Мертвую тишину теперь нарушало только это позвякивание.

— А о Кирове ты зря это сказал, — неожиданно произнес Сталин. — Хочешь поссорить нас с Кирьчем? Не выйдет!

Глаза Кобы полыхнули желтым огнем.

— Ну что ты, Коба, я очень даже уважаю Сергэй Мироновича, — испуганно пробормотал Берия. — Просто нэ понимаю...

— А раз не понимаешь, проглоти лучше свой язык! — перебил Коба, и Берия с ним согласился.

— В слэдующий раз, если такое еще скажу, вырву его и собакам брошу! — прошептал он. — Клянусь!

— Я твои клятвы устал слушать, — вздохнул Сталин. — Ты давно уже сдохнуть был должен, столько раз ты их нарушал. А? Что, не так?

— Ты прав, — искренне признался Лаврентий. — Иногда я сам сэбе противен. Говорю себе: э, хоть бы ты сдох! И что ты думаешь? Начинает живот болэть. Пузо! Много острого едим, Коба!.. Слушай, я нашел еще одного человэка, русского, он готов все сдэлать как надо. Больше осэчек нэ будэт, клянусь! — громко прихлебывая чай, сказал Лаврентий.

Сталин молча смотрел на него.

— Хорошо, нэ буду клясться! Просто скажу: сде-

лаю и докажу, что я нэ хуже твоих Пауков и Ягод! — важно сказал Берия и выпятил губы.

— Теперь без моего слова — ни шагу! — помолчав, сказал Сталин. — Скажу, когда потребуется. И если тогда не сделаешь — отправлю в духанщики. Там тебе будет и место.

Коба усмехнулся. Берия сидел мрачный, не решаясь возражать.

— Простой задачки поручить нельзя! — вздохнул Сталин, обращаясь неизвестно к кому. — Ну что за люди? Мальчишка твой где?

— Мальчишки нэт. Авария с машиной случилось. И врач, и он в пропасть упали, — вздохнул Лаврентий.

— Хоть в этом не прошляпил. — Сталин сделал глоток, потом взял печенюшку, размочил ее в чае и отправил в рот. Пододвинул вазочку к Берии. — Угощайся! А то скажешь в Грузии, что Коба даже печеньем не угостил.

— Ну как ты можешь обо мнэ так думать?! — возмутился Берия, беря печенье.

— Могу! — твердо сказал Коба.

Николаев, пытаясь отстоять свою правоту и правильность поступков, написал заявление в Смольнинский райком партии с просьбой о восстановлении его в партии. 29 апреля, а потом 5 мая партийная тройка, разбиравшая такие конфликтные ситуации, слушала дело Николаева.

Он снова оправдывался, ссылаясь на здоровье, на то, что его даже забраковали для несения воинской службы, но, несмотря на это, он приходил в райком и заполнял анкету по мобилизации. Говорил, что теперь его выбросили на улицу, сделав безработным, а он участвовал в революции и гражданской войне.

Терновская упирала на то, что Николаев совсем

не безработный, и если не хочет идти на транспорт, то наверняка работу себе уже нашел. А мобилизационную анкету в райкоме он стал заполнять уже после решения парткома о его исключении из партии. И вообще он рассматривал посылку на транспорт не как почетную обязанность партийца, а как наказание. И отказывался от мобилизации по этой же причине, что свидетельствует о его низком коммунистическом самосознании.

Терновская зачитала выдержку из протокола парткома: «Николаев держит себя невыдержанно, угрожает парткому, хотя и склоняется к признанию своих ошибок». Николаев ухватился за последнюю фразу, снова стал доказывать, какой он хороший партиец, а партком повел себя по отношению к нему предвзято.

Выслушав обе стороны, тройка объявила перерыв, чтобы вынести окончательное решение. Терновская чувствовала себя победительницей, а Николаев нервно грыз ногти.

— Райком никогда не отклонял наши решения, вы же знаете, — вполголоса выговаривала Терновская Абакумову, секретарю парткома, но так, чтобы слышал Николаев. — А потом я с ними консультировалась еще до того, как мы его исключили. И вы с ними советовались. Они сами сказали: исключайте, мы вас поддержим.

Через пять минут их снова пригласили в зал. Председатель тройки, высокий мужчина в очках, зачитал постановление: «Ввиду признания Николаевым допущенных ошибок — в партии восстановить. За недисциплинированность и обывательское отношение, допущенное Николаевым к партмобилизации, объявить строгий выговор с занесением в личное дело».

Терновская поначалу даже не поняла смысла ре-

шения тройки, но, когда ей внятно сказали, что Николаева восстановили в партии, отменив решение парткома института как неправомочное, она начала протестовать, но председатель тройки, выслушав ее несколько секунд, прервал товарища Леокадию и посоветовал ей написать свой протест письменно.

17 мая 1934 года бюро Смольнинского райкома ВКП(б) подтвердило это решение тройки.

Абакумов помчался в институт к Лидаку. Еще до вынесения окончательного решения по Николаеву райкомовский приятель Абакумова дал ему понять, что их дело весьма непростое, и у их нарушителя партдисциплины есть весьма влиятельное лицо в обкоме, которое заинтересовано совсем в другом исходе событий.

— Кто? — спросил Абакумов.

— Второй, — сказал приятель и отказался больше говорить на эту тему.

«Вторым» был Михаил Семенович Чудов и, как до сих пор полагал Абакумов, приятель Лидака. А именно Отто Августович настоял на исключении Николаева, потому что хотел избавиться от нежелательного для него работника. Абакумов пошел навстречу Лидаку, хотя конечно же проступок Николаева тянул на «строгий с занесением», не больше. И теперь получалось, что Лидак попросту подставил Абакумова, ведь на отчетном собрании райкомовский представитель обязательно укажет на это нарушение партийных норм, а оно вкупе с мелочными недоработками может решить уже и его судьбу как освобожденного секретаря парткома.

Ворвавшись к Лидаку — тот проводил совещание с завкомиссиями института, — Абакумов подошел к нему и прошептал на ухо:

— Нас прокатили, надо срочно поговорить!

Лидак тотчас перенес совещание на завтра, и они

остались вдвоем. Абакумов пересказал всю ситуацию, от разговора с приятелем до решения тройки.

— Вы же мне обещали, что переговорите с Чудовым, а он, оказывается, и сыграл тут главную роль, только наоборот. Как же так, Отто Августович, я пошел вам навстречу, а вы меня подвели?! — заныл Абакумов, расхаживая по кабинету Лидака. — Теперь я получаюсь крайним, а Смородин, сами знаете, дружит с мужем Терновской, и ему будет выгодно меня убрать, а ее сделать секретарем. И вам с ней работать будет труднее. Как же так?

Он достал платок, вытер пот со лба.

— Да успокойтесь вы! Сядьте! — рявкнул Лидак.

Директор выглядел растерянным, потому что Терновская уже давно метила на место Абакумова, и случай свалить его на отчетно-перевыборном партсобрании в начале следующего года представлялся для нее и секретаря Смольнинского райкома Смородина весьма удачный. А работать с Терновской, с которой у Лидака когда-то был глупый любовный роман, Отто Августовичу не хотелось. Леокадия жаждала продолжения любви, и, когда она станет секретарем парткома, Лидаку либо придется продолжить роман, либо нажить в ее лице грозного врага, а оба эти варианта ему не нравились.

— Хотите коньяку?.. — предложил Лидак.

— Да ну что вы, какой коньяк, мне в пору валерьянку пить, — махнул рукой Абакумов.

— Не волнуйтесь! — Лидак посмотрел на часы, помял мочку уха, раздумывая, что ему делать. — Сейчас помчусь в обком, к Чудову, и будем разбираться, что за ветры подули против нас. Я тоже не ожидал, что из-за этого недоучки разгорится такой сыр-бор. Да и мне надо определиться, он ведь завтра Наполеоном заявится. Вот незадача!

И Лидак помчался в обком.

Лидаку повезло: Чудов был на месте и, увидев старого друга, обрадовался его приходу.

Широкоплечий, приземистый Чудов, чуть располневший от неподвижной кабинетной жизни, с застенчивой улыбкой на круглом лице поднялся из-за стола, крепко пожал Отто Августовичу руку. Лидак невольно подумал, что Абакумов что-то напутал: не мог столь искренний и принципиальный даже в мелочах человек звонить в Смольнинский райком и просить за неведомого ему Николаева, лентяя и склочника, не поставив при этом в известность его, Лидака. Скорее всего, звонил тот же завсектором по кадрам, а в райкоме попросту перестраховались. Но он сейчас восстановит справедливость.

— Какими судьбами? — спросил Чудов.

— Да тут такое мелочное дело, что, право, неловко тебя даже беспокоить, — проговорил Лидак. — Абакумова в райкоме не поняли, а он перепугался!

— Он вроде не из пугливых у тебя, — улыбнулся Чудов.

— Да дело не в этом. До сих пор мы с райкомовскими жили душа в душу, а тут вдруг — от ворот поворот! Причем до этого даже проконсультировались с ними, и они сказали: давайте! Мы все сделали, как положено, а они, бац, и словно посмеялись над нами. Вот Абакумов и забеспокоился, что это значит:

то ли новая политика, то ли его хотят сменить и компромат собирают, ничего не понятно. Даже я в удивлении. А мы с Абакумовым, сам знаешь, давно работаем и менять его я бы не хотел...

— А никто, по-моему, и не собирается, — удивился Чудов. — Во всяком случае, из райкома по этому поводу ко мне не приходили, а если и придут, я буду против. Так что не волнуйся, и пусть он работает спокойно.

— Вот и хорошо! Мне, собственно, это и хотелось выяснить, а все остальное... — Лидак шумно вздохнул. — Все эти закулисные шепотки, звоночки, интриги меня не волнуют!

— А что за интриги? — поинтересовался Чудов.

— Даже не хочется рассказывать! — поморщившись, отмахнулся Лидак. — Ну был у нас один слесарь-механик, управдом, конторщик, строгальщик, инспектор, не поймешь, кто он по профессии. Везде успел отличиться, только не в том смысле. Вот и захотелось ему попасть в историки. И попал с вашей легкой руки! Завсектором культпропа официальную бумагу мне прислал, а до этого звонил, уговаривал, я согласился, взял. Лентяй страшный! Но мало этого! Сключник, доноситель, казуист! Он меня взялся учить, как надо работать со статьями товарища Сталина. И не только учить, а уличать в неверной политической линии, которую я провожу со своими сотрудниками! Ты видишь, куда он стал гнуть?! А у самого четыре класса образования и часовая мастерская. Потом вот эти все заводские да бюрократические университеты! Видел бы ты его, до чего гнусный тип даже внешне! Коротышка, метр пятьдесят, сладковатое дегенеративное лицо с большим лбом, как у слабоумных, длинные руки, которые он не знает куда девать, да при этом еще горбится, зришь картину явления для наших умов?! Профессор Стриженский

подходит ко мне и спрашивает: «Отто Августович, вот э т о что за историческая величина? У него же на лбу написано, что идиот! А если он, просидев года три в инструкторах, заведующим комиссией станет и начнет с в о ю политику диктовать? Вас же посадят!» Ну, Стриженского вы знаете! — рассмеялся Лидак. — Э т о что за историческая величина?!

Улыбался, шуря маленькие глазки, и Чудов.

— Я конечно же понял, что за «величину» взял, и при первом удобном случае решил от него избавиться. А тут объявили партмобилизацию на транспорт, он был слесарем-механиком, вот, думаю, пусть и поднимает транспорт. Так этот Спиноза запротестовал, начал кричать, что он самый толковый и полезный работник, а все остальные неучи и лодыри. Ну, тут наши как взвились и мигом его из партии вычистили, а я, естественно, уволил из штата. А сегодня в райкоме его восстановили! И Абакумову его приятель Мельников говорит: Чудов звонил, очень просил!

Чудов сделал недоуменное лицо.

— Да я знаю, что ты не мог звонить! Это все ваши культпроповцы! — подсказал Лидак. — Надо давно поставить их на место! Это просто непорядочно в конце концов!

— Подожди, а как фамилия твоего слесаря-механика?

— Николаев. Леонид Николаев...

Чудов выдержал паузу.

— Это я звонил, — твердо сказал он. — Да, я просил за него.

Лидак несколько секунд непонимающе смотрел на Чудова.

— Позволь, Михаил Семеныч, но почему?

— Так надо, Отто Августович, — еле заметная улыбка промелькнула на лице Чудова. — Ты меня знаешь, я вообще не люблю заниматься подобными

вещами и... — Чудов запнулся. — Но тут совсем другая ситуация.

Чудов не мог сказать даже Лидаку, что просьба о Николаеве исходила от Кирова, что Николаев был мужем Мильды Драуле, с которой у Кирова вот уже пятый год длился бурный роман и, наверное, больше, чем роман, это была настоящая любовь, и Чудов свято хранил эту тайну личной жизни человека, которого он искренне по-мужски любил, не посвящая в эти интимные подробности даже свою жену, Людмилу Кузьминичну, генерала всей парфюмерной промышленности Ленинграда, от которой никогда ничего не таил да и скрывать от нее что-либо было просто невозможно. Нет, она знала о связи Кирова с Мильдой, когда последняя еще работала в обкоме. Тогда об этом все говорили, и Чудов упросил Кирова перевести Драуле в другую организацию, дабы покончить со сплетнями. Сергей Миронович внял его доводам и даже резко сменил тему околообкомовских сплетен, сблизившись поначалу с одной московской журналисткой, а потом с балериной. И о Мильде судачить перестали. Во всяком случае, жена об этом не говорила, а по ней можно было сверять осведомленность местной чиновничьей верхушки о внутренней жизни партийного центра.

Поэтому, когда Киров попросил помочь этому несчастному мужу Мильды, Чудов сделал это беспрекословно, понимая, что Сергею Мироновичу самому ввязываться в это просто нельзя. Как говорят, жена Цезаря должна быть вне подозрений.

Михаил Семенович вспомнил разговор с Кировым в поезде, когда они возвращались еще со съезда. Первый долго не мог решиться заговорить на эту тему, но Чудов видел, что его что-то мучает, и впря-

мую спросил об этом. Киров пересказал разговор со Сталиным относительно Мильды.

— Мы тогда были с тобой вдвоем, — заметил Киров. — Как мог узнать Коба?

— Я даже жене об этом не говорил, клянусь партийным билетом, Сергей, — побледнев, выговорил Чудов. — И уж тем более ни с кем из аппарата или управленцев. Хотя некоторые интересовались.

— Кто? — спросил Киров.

— Райхман, наш начальник контрразведки.

— А что его интересовало?

— На одной из конференций во время перерыва мы пили чай в гостевой комнате, он подсел, о чем-то мы заговорили, а потом он спросил, нет, даже не так, просто бросил фразу, типа того, мол, молодец, что уговорил Сергея Мироновича перевести Мильду к Пылаеву. Я сделал удивленное лицо, даже спросил: кто такая Мильда? Он засмеялся и ничего больше не сказал. Я хотел было тебе рассказать, но потом подумал: а что, собственно, пересказывать, если об этом даже в твоём секретариате сплетничали, естественно, он знал. А уж кто, когда, чего, это не имело значения.

— Да, это действительно выеденного яйца не стоит, меня другое беспокоит: если они передают Кобе только эти сплетни, тогда одно, но если кабинет можно откуда-то прослушивать, то это никуда не годится.

— Надо еще раз проверить, только и всего, — сказал Чудов.

— Найди мне акустика со стороны и как-нибудь ночью приведи его, пусть обследует, — попросил Киров.

Через несколько дней Чудов нашел одного морского офицера, который считался одним из лучших спецов по акустическим приборам. Чудов привел его к Кирову. Морской спец проверил, простучал все

стены и двери кабинета, но не нашел «акустической дыры», которая давала бы возможность прослушать разговоры, здесь происходящие. Но Сергей Миронович твердо заявил, что утечка сведений из этой комнаты происходит.

— Тогда возможен лишь один способ: кто-то подслушивает ваши разговоры с помощью диктографа, — предположил офицер.

Киров попросил пояснить.

— Это такой звукозаписывающий аппарат, — ответил акустик. — Здесь, в вашем помещении, где-то находится замаскированный микрофон, а в соседней комнате устанавливается аппарат для прослушивания и записи. Я, когда стажировался в Германии, видел эти диктографы.

Киров попросил офицера поискать микрофон, и вскоре акустик нашел его за вентиляционной решеткой. Провод скрыто выходил в соседнюю комнату, где находились столы секретарей, и был подсоединен к радиорозетке. Но самого диктографа в секретарской они не нашли. Радиорозетка находилась рядом со столом помощника Кирова Гудовичева. Его в секретариате все любили. Инвалид гражданской, он жил одиноко, без семьи, и Киров относился к нему с безграничным доверием.

— Он постоянно задерживался, а иногда даже оставался ночевать, — напомнил Чудов.

— Да, — задумавшись, согласился Киров. — Но он всего себя отдавал делу, и мы разрешали ему даже то, что не позволялось секретарям: оставаться в обкоме на всю ночь. Я не могу поверить, что это он шпионил за мной! Надо его допросить немедленно!

Киров вдруг вспомнил то странное поведение Гудовичева, когда должна была прийти Мильда, и он попросил его идти домой. «Видимо, он хотел запи-

сать тогда наш разговор, а я его вспугнул», — подумал Сергей Миронович.

— Если он опытный агент, то никогда не признается, а только затаится после таких событий, — сказал акустик.

— Что же делать? — спросил Киров.

— Вы хотите выследить своего шпиона?

— Я хочу прекратить эти сеансы подслушивания! — сказал Киров.

— Это просто. Вы крепите к вентиляционной решетке плотную заглушку, и наступает полная тишина. Второе: что у вас в соседней комнате?

— Секретарская, — ответил Киров.

— Очень хорошо. После ухода секретарей она опечатывается, ключ хранится у охраны или в другом надежном месте, так, чтобы туда никто не мог проникнуть, а днем вряд ли кто-нибудь рискнет этим заниматься...

— А мы уже в первом часу ночи с тобой говорили! — вспомнил Чудов. — В Сестрорецк ездили, помнишь? И Гудовичев, кажется, был в секретарской... Да! Точно! Я, уходя, заглянул и даже удивился тому, что он сидит за своим столом.

Киров кивнул.

— Или пусть охрана там сидит днем и ночью, — предложил офицер-акустик. — А больше ваши шпионы нигде не смогут поставить микрофон. Для этого нужно проводить специальные работы, вскрывать стену, а без вашего согласия, я надеюсь, подобные вещи не делаются?

— Пока еще нет, — усмехнулся Киров.

Когда офицер ушел, Сергей Миронович долго сидел, задумавшись, а потом вдруг сказал: «Теперь я понимаю, откуда он все про нас знает!» Чудов посоветовал Кирову не поднимать шума.

— Все это обязательно дойдет до Сталина, — ска-

зал Чудов. — И он воспользуется этим громким происшествием в своих целях: уберет Медведя как не обеспечившегося должной охраны, затаскает всех нас по следствиям и обязательно найдет врагов, но тех, с кем давно мечтает сам расправиться.

Сергей Миронович согласно кивнул. Потом поморщился, стукнул кулаком по столу.

— Я понимаю, когда мы подслушиваем разговоры врагов, оппозиционеров, но зачем следить за своими, подслушивать разговоры своих! Зачем?! — воскликнул Киров.

— А потому, что своим о н не доверяет еще больше, — тихо проговорил Чудов.

Киров метнул на Чудова недоуменный взгляд, и в глазах Михаила Семеновича невольно промелькнул испуг: фраза, высказанная им, была слишком крамольной.

— Не хотелось бы в это верить, — пробормотал Сергей Миронович. — Но ты прав, поднимать шума не стоит.

Киров приказал поставить заглушку на вентиляционную решетку, обязал охрану принимать ключи от секретарской и там дежурить в вечернее и ночное время. Оставаться же в секретарской после восьми вечера он больше не разрешал никому. А Гудовичева он сделал секретарем одного из райкомов партии, с почетом убрав из своих помощников.

Чудов вспомнил этот эпизод, когда Лидак стал допытываться о причинах, побудивших его вступить за Николаева. Михаил Семенович впервые ему соврал, придумав родственника жены, который попросил его помочь в столь деликатном деле.

— Что это за родственник? — не понял Лидак.

— Какая разница, Отто, — покраснев, ушел от ответа Чудов.

Он помолчал. Они слишком давно с Лидаком знали друг друга, чтобы Михаил Семенович мог сомневаться в честности и порядочности Отто Августовича, и все равно Чудов не мог открыть тайну, которая принадлежала не ему. Не мог даже намеком дать понять о столь сокровенных отношениях Кирова и Мильды.

— Прямо какие-то дворцовые тайны! — усмехнулся Лидак.

— Спрашивай о чем угодно, на любой вопрос отвечу, но только не на этот, — сказал Чудов.

— На любой другой и я отвечу. А мне надо знать, что делать с Николаевым! Он завтра прибежит ко мне и скажет: меня в партии восстановили, теперь восстанавливайте на работе! Я ему отвечу: а не пошел бы ты, дорогой, на транспорт? А он опять к вам! И вы что же, мне звонить будете?

— Возможно, — кивнул Чудов.

— Та-ак! — промывчал Лидак, заводясь с пол-оборота. — Разговор приобретает любопытный характер. Ты, мол, бери, а зачем — не твое собачье дело! Что положено Юпитеру, не положено быку! Очень интересно!..

— Не заводись! — одернул Лидака Чудов. — Я тебя ничем не оскорбил. Я объяснил тебе ситуацию. И прошу тебя понять только это!

— Но эта ситуация, Михаил Семеныч, касается меня лично! Вот! — Лидак вытащил из портфеля бумагу. — Я на всякий случай захватил. Твой любимец, или протеже, Николаев пишет заявление вашему почковому слуге: «Мне охота обратить ваше внимание» и так далее! Слово «кровать» он пишет «кра-вать», «корова» он пишет «ка-рова» и тоже так далее. Совершенно неграмотный субъект, наделенный к тому же болезненным самолюбием и самомнением. Очень

злобный и завистливый, склонный к подлости и доносительству, вот за кого ты сердобольствуешь! И что же, после этого ты все равно будешь звонить мне?

Чудов помедлил. Налил стакан воды, пододвинул к Лидаку.

— Выпей, — предложил Чудов.

— Чтоб со стула не упал, — усмехнулся Лидак и выпил воды. — Так ты мне не ответил: будешь просить или нет?

— Буду, — ответил Чудов.

Повисла пауза. Лидак в упор смотрел на Чудова, но Михаил Семенович не отводил взгляда.

— Может, мне написать заявление об уходе? — спросил Отто Августович.

— Не болтай ерунды! — одернул его Чудов.

— Потому что я все равно не возьму его на работу. Вам придется уволить меня, поставить другого директора, который, возможно, сделает под козырек и возьмет вашего Николаева даже завкомиссией. А я и уборщиком его не приму.

— Это твое право, ты директор и обязан решать кадровые вопросы сам, — проговорил Чудов.

— Но почему ты тогда хочешь звонить мне, если знаешь, что я его не возьму? Почему?!

— Видишь ли, я в глаза не видел этого Николаева и верю тебе, что это совершенно омерзительный тип. Но иногда возникают ситуации, когда твое знание о предмете не имеет никакого значения. Никакого. Вот это как раз такой случай, — Чудов стер ладонью пылинки со стола. Когда он волновался, он всегда стирал пылинки, даже если их не было.

— Тебе бы, Миша, в разведке работать, цены бы тебе не было!

— Людмила Кузьминична мне то же самое говорит, — улыбнулся он.

— Как она?

— Как конь летает!

— Передавай ей самые нижайшие от меня и моей половины, — сказал Лидак.

— Спасибо, зашли бы как-нибудь?

— Да, давненько мы не собирались... — Лидак улыбнулся, выгасил платок, протер глаз, точно соринка попала. — Вот и правый глаз чешется! — усмехнулся он. — Ты пойми, я ведь все понимаю. Ну, конторщик он, так черт с ним, мне и конторщики нужны. Есть кому политические панегирики писать. Но был бы он хоть человек приличный, а тут... Мне же и тебе хочется помочь, и не потому, что ты мой начальник и вождь, а потому что я уважаю тебя и люблю!.. — Лидак вздохнул. — У тебя коньяка нет?

— Нет... — Чудов улыбнулся, глядя на Лидака. — Что, так хочется?..

— Соточку!..

— Сейчас принесу!

Чудов вышел и через минуту вернулся, поставил на стол полстакана коньяка.

— А ты?

— Ты знаешь мой принцип!..

Лидак с иронией посмотрел на друга.

— Иногда даже Киров предлагает выпить, а я не могу! — улыбнулся Чудов. — Устанем, как черти, приедем откуда-нибудь с конференции, он и говорит: давай по сотке! А я не могу! Не поверишь: не могу и все! Чокнусь с ним и на стол ставлю. А дома — сколько уютно!..

— Ну ладно, за тебя!

Лидак хотел уже выпить, но вдруг остановился, посмотрел на Чудова.

— Ну, ты меня сразил с этим Николаевым! Нет, это что-то невероятное! Прямо «Аэлига» Толстого!..

Лидак выпил, пожевал губами, наслаждаясь послевкусием, помял мочку уха. Они смотрели друг на друга и улыбались.

13

Николаев, пропустив пару рюмок за ужином, в лицах расписывал свою победу и поражение парткомовцев. Он и мысли не допускал, что кто-то мог просить за него, приписывая успех восстановления в партии лишь собственному красноречию.

— Выговор это ерунда, снимут через неделю! — махнул он рукой. — Я им сразу сказал: товарищи, я участвовал в революции, в гражданской войне, вы кого вычистить собрались? Мы для чего Советскую власть устанавливали? Чтобы некоторые буржуазные элементы нам свою волю диктовали? Не пойдет! По-нашему будет, по-рабочему! Я все же из пролетариев, в трудовых битвах закаленный, меня голыми руками не возьмешь!

Николаев говорил все это для Мильды, но она не слушала, ожидая, когда он встанет из-за стола и она сможет убрать и помыть посуду. Мильда была встревожена состоянием Аглаи и думала, как убедить Сергея повстречаться с ней и помочь Ганиным. И потом ее встревожил их разговор и имя Сталина, вызвавшее внезапный страх Аглаи, точно он и является причиной всех ее бед. Но при чем здесь Сталин, который живет в Москве и вряд ли вообще подозревает о существовании супругов Ганиных? И все же за всем этим кроется какая-то страшная тайна, разгадать которую она не в силах.

Николаев выговорился, опьянел, поднялся из-за стола, поблагодарил Мильду за вкусный ужин и ушел к себе. Мильда помыла посуду и присела у плиты. Ей не хотелось идти в комнату, выслушивать пьяную похвальбу мужа, который становился несносен после второй рюмки. Третья его просто валила с ног. Она знала, что ночью он будет приставать к ней, и думала об этом с содроганием в душе. Войдя в комнату и перехватив его плотоядный взгляд, Мильда сразу же заявила, что чувствует себя очень плохо из-за женских дел, и завтра должна пойти к врачу. Николаев обозлился, стал кричать, что она его законная жена, даже попробовал взять ее силой, но Мильда, отшвырнув его, вышла из комнаты. Ее трясло от отвращения к нему, и она со страхом смотрела на дверь спальни. Если он прибежит на кухню, она вообще уйдет из дома и отправится ночевать к сестре Ольге. Но Николаев не появился.

Когда она вошла через полчаса в спальню, Николаев уже спал.

Она осторожно разделась и прилегла с краю. Закрыла глаза. И сразу же возник пихтовник, Сергей лезет на верхушку пихты и режет веники для бани. Внизу ветки уже старые, иголки твердые, а вверху мягкие, молодые и нежные.

Набросав с верха веток, он зовет ее подняться к нему. Она легко добирается по смолистой пихте к макушке, где стоит Киров, и ее не пугает страшная высота. Сергей подхватывает ее и прижимает к себе.

— Посмотри, — шепчет он.

Сквозь пушистые короткие ветки сверху видна вся округа. Белые с черными прогалинами поля, а между ними в узкой ложбине похожая на перевернутую лодку, припорошенную снегом, приотилась ее деревушка, куда родители перебрались из Латвии. Она прожила в ней до семнадцати лет, а потом по-

ехала в Лугу учиться. По одной из дорог медленно тянется телега с сеном. Лошадь плетется еле-еле, хотя воз небольшой. Возница дремлет, закутавшись в овчинный тулуп. А дальше волнами черно-белый лес, уходящий далеко к горизонту. Солнца нет, небо набухло, и еще через секунду начинает идти снег, словно вчера и не было теплого весеннего дня.

— Ну как? — спросил Киров.

— Красиво, — прошептала она. — Вон мой дом, второй с дальнего края...

— Хочешь, заедем туда? — предложил Киров.

— Нет, пусть он останется таким, каким я его запомнила, — ответила Мильда.

Потянуло дымком с поляны, где егерь Василий Митрофанович жарил на вертеле кабанью ногу. Снег шуршал в пихтовой хвое, день медленно гас, прибавляя синьки в воздухе, а они, глупые, залезли на дерево и уже полчаса стоят, обнявшись, наслаждаясь покоем и тишиной леса.

— Мироныч! Ау! Миля! Нога готова! Где вы там? — кричит Василий Митрофанович. — Пора спускаться.

Рюмка водки и маленький кусочек пахнущего дымком нежного мяса молодого кабаненка вскружили голову. Митрофаныч наливает еще, но Киров решительно отказывается: надо еще в баню идти. Веники нарезаны, баня настоялась.

Они парятся всласть, Мильда не выдерживает обжигающего воздуха крепко натопленной баньки по черному, и первая выскакивает в снег, кричит, падая в сугроб. Еще через мгновение вылетает Сергей, гоняется за ней по пушистому снегу, как оглашенный. Вокруг никого: лес, избушка егеря и банька. Василий Митрофаныч, наблюдая за ними, тоже хохочет, изредка прикладываясь к рюмашке. Они залетают снова в баню, Сергей выплескивает целый ковш на

раскаленную каменку, Мильда приседает на корточках, но обжигающее облако заставляет ее лечь на пол. Сам Сергей вынужден приесть, хватается за уши.

— Уши еще в юности прижег, и теперь мочи нет терпеть, — кричит он, выскакивает в предбанник и, надев треух Митрофаныча, врывается обратно, залезает на полок и жарится снова до жгучей красноты по всему телу. И с радостным воплем снова выскакивает в снег. Потом он моет ее, и они целуются, охваченные жаром и новой страстью.

После бани возвращаются к костерку. Мороз совсем не чувствуется, его будто нет, а тихий снег идет и идет. Киров выпивает пару рюмок с Митрофанычем, вспоминая Суворова, предлагавшего продать последние штаны и выпить. Мильда тоже выпивает рюмку, во рту все горит, она заедает снегом, а Киров с Митрофанычем смеются. От кабанятинки идет такой сладкий аромат, что кружится голова, мясо тает на языке.

— А говорили, что у кабана мясо жесткое! — удивленно восклицает Мильда.

— Это у старого, — дымя горькой махоркой, отвечал егерь. — А у молодых, — он лукаво поглядывает на нее, — мясо всегда сочное да мягкое!..

Митрофаныч поит их ядреным квасом с изюмом, который шибает в нос, как шампанское.

— Я тебе изюму привез! — напоминает Киров Василию Митрофанычу. — Не забудь забрать!..

Ночь незаметно укрыла лес густой, гулкой тишиной. Так тихо вокруг, что слышен шорох снежинок и лай собак далеко в деревне, где когда-то жила Мильда. Оказывается, Митрофаныч даже знал ее отца.

— А как же! Он мне еще плотничать помогал. Вот эту самую баньку вместе ставили, а потом впервой и парились. И тебя видел!.. — щеря гнилой рот, улыба-

ется он. — То-то я глядел и понять не мог, кого ты мне напоминаешь!

— Надо же!.. — удивляется Мильда.

— И я тебя помню! — поддакивает Киров. — Соседская девчонка в Уржуме, ну вылитая ты, копия, — говорит он Мильде. — А я за ней бегал. Она комичка была. Я уж потом узнал: коми, финны, венгры — все к одной расе принадлежат, даже язык один. А ты же родом из Прибалтики. Вот и получается, что виделись.

— А ты что, влюблен в нее был? — спрашивает Мильда.

— А как же! — полушутя-полусерьезно отвечает Киров.

Лес стоит, не шелохнувшись, замороженный падающим снегом и тишиной. Вдруг раздается чей-то долгий протяжный вой. Мильда вздрагивает.

— Волки? — пугается она.

— Они не подойдут, — отмахивается Митрофанч. — Они меня знают и обходят стороной.

Он уже пьяненький. Киров отводит его спать в баню. Там тепло. Мильда тушит костер, и они отправляются отдыхать в домик егеря. Василий Митрофанович сам так установил.

После бани они быстро засыпают, но в три часа утра уже на ногах: впопыхах забыли закрыть вьюшку, и по избе гуляет ветер. Сергей приносит дров, затапливает печь, они разогревают жаркое из зайца, едят, а потом просто лежат, обнявшись, глядя, как прыгают на полу отсветы пламени. Сегодня днем им уезжать, расставаться, и от этого накапливается грусть.

— Еще целых десять часов до отъезда, — успокаивает ее Сергей. — Я тебе обещаю, что мы сюда обязательно вернемся. Весной знаешь, как здесь хорошо! От лесных запахов, как в бане, угораешь...

— И день длинный, — добавляет Мильда.

— И короткая ночь, — улыбается Киров.

— А ты что, меня любишь? — шепчет она.

— Конечно, — полушутя-полусерьезно отвечает он.

И целует ее в нос. Она фыркает, смеется. Он снова целует ее в нос. Она отбивается, но он сильнее. Он сильнее... Воспоминания тускнеют, гаснут, и Мильда проваливается в пуховую постель сна. Ей снится Киров. Они бегают по лесу, Сергей пытается ее поймать, но Мильда, смеясь, убегает от него все дальше и дальше в глухую чащу, становится тревожно, меркнет яркий свет. Мильда оглядывается и вдруг видит, что вместо Кирова за ней с диким ревом бежит медведь. Она пугается, бежит сломя голову, но медведь настигает ее, она уже слышит его тяжелое дыхание за спиной, его когтистая лапа хватает ее за платье. Мильда кричит в отчаянии и просыпается. Уже утро. Николаев перепуган ее криком, успокаивает, гладит: еще полчаса она может поспать, он ее разбудит. И она снова засыпает. Ей не хочется просыпаться здесь. Ей не хочется его видеть.

Утром без пятнадцати девять Николаев пришел в институт, заявившись прямо в приемную Лидака. Он знал, что Отто Августович приходит на работу за полчаса до начала, и восстановленному партийцу очень хотелось, чтобы к девяти, когда начинается рабочий день, все формальности были бы закончены, и он занял бы свое привычное место за письменным столом у окна в секторе истпарткомиссии.

Николаев вошел в кабинет и остановился. Лидак читал бумаги и, подняв голову, посмотрел на него. Это был долгий и странный взгляд. Не злобный, не ненавидящий, а странный. Точно Лидак хотел уви-

деть в нем что-то такое, о чем не догадывался и сам Николаев.

— Меня восстановили в партии, Отто Августович, — сказал Николаев и не смог сдержать улыбки.

— Знаю, — ответил Лидак.

— Вот я пришел, — сказал Николаев.

— Вижу...

— Надо и нам с вами как-то прийти к соглашению, — волнуясь, но стараясь держаться уверенно, выговорил он.

— К какому? — не понял Лидак.

— Ну как, — Николаев нервно усмехнулся. — Вы уволили меня по причине исключения из партии. А теперь эту причину райком устранил. Ее больше нет. А значит, и у вас нет причины меня увольнять, и вы обязаны восстановить меня в прежней должности.

Николаев смотрел на него зелеными нахальными глазами, и Лидака это взвело. Еще вчера вечером он смирился с мыслью, что Николаева придется восстановить. Чудов вообще не любит просить кого-либо, он понимает, что при его положении это не совсем удобно, и вчера он не просил его. Просто объяснил, что такая сложилась ситуация. И Лидак решил восстановить Николаева.

Еще до приезда в институт Лидак представил себе, как в кабинет вползает маленький уродец и, опустив голову, стоит у порога. Лидак выжидает несколько минут, потом негромко бросает:

— Идите в кадры, оформляйтесь! С новым испытательным сроком.

В течение года его всегда можно будет уволить как не прошедшего испытательный срок. За это время они с Абакумовым что-нибудь придумают. И придумают такое, что навсегда закроет этому наглецу двери института.

Но Николаев стал наглеть, еще не получив согла-

сия Лидака на его восстановление. Он заговорил с ним так, словно директор что-то ему должен. И не просто должен — обязан. Это и взвело Отто Августовича.

— Так что я обязан? — оторвавшись от бумаг, спросил Лидак.

— Обязаны восстановить меня в прежней должности и оплатить прогулянные не по моей вине дни, — твердо сказал Николаев.

— Ах, даже так?! — чуть не задохнувшись от вспышки гнева, проговорил Лидак и побагровел.

— Но меня же восстановили в партии, а у вас в приказе основанием моего увольнения служит эта причина: исключение из партии. Теперь райком ее устранил и фактически признал незаконность этого решения, а значит, и незаконность моего увольнения. Это же одно тянет другое, — пожал плечами Николаев.

— Одно тянет другое... — раздраженно промычал Лидак.

— Да.

Николаев смотрел на директора института взором победителя, словно говорил ему: покайтесь, товарищ Лидак, признайте свои ошибки и оппортунистические заблуждения, и мы, возможно, вас простим. «Да как он смеет так со мной разговаривать? — пронеслось у Лидака. — Кто он такой? Не бывать этому!»

— Ну что же, товарищ Николаев, я рад, что вас восстановили в рядах партии. Но восстановили с весомой потерей: строгим выговором с занесением в личное дело да еще с какой формулировкой! «За недисциплинированность и обывательское отношение к партмобилизации!» Это весьма серьезная формулировка. В другой организации, возможно, на это не обратили бы внимания, но мы — Институт истории партии, и каждый наш сотрудник должен быть

образцом для всех партийцев других организаций. Поэтому я не могу вас, имеющего строгий выговор по партийной линии да еще с такой формулировкой, принять на работу в Институт истории партии, — чеканно сформулировал Лидак и был весьма горд собой.

Пусть теперь любой из партчиновников посмеет его опровергнуть и доказать, что он поступил несправедливо по отношению к товарищу Николаеву.

Последний все еще стоял у порога, переминаясь с ноги на ногу и отчаянно сознавая, что на работе его не восстановят не только сегодня, но и завтра. Лидак теперь костями ляжет, но не возьмет. Что он ему сделал? Он только хотел, чтоб все было по справедливости.

— Значит, вы меня отказываетесь восстановить на работе в прежней должности? — облизывая пересохшие губы, спросил Николаев.

— Да, я отказываюсь восстановить вас на прежней работе в прежней должности, — твердо ответил Лидак, глядя прямо в глаза Николаеву, но последний мужественно выдержал этот взгляд.

— Хорошо, я буду бороться за свое восстановление, — угрожающе пробормотал Николаев.

— Боритесь, товарищ Николаев! — победно улыбнулся директор.

— И я добьюсь своего! — выдохнул бывший инструктор, и глаза его полыхнули нервным огнем.

— Попробуйте, товарищ Николаев! — с вызовом бросил Лидак. — Только не забывайте, что для этого вам поначалу надо снять меня с поста директора, ибо пока я сижу здесь, вы и на пушечный выстрел не подойдете к этому зданию. А если вам все же удастся выбросить меня из этого кабинета, то я первый плюну вам в лицо как отъявленному негодяю и малограмотному недоучке! — выкрикнул вне себя Отто

Августович. Он был уже доведен до предела. Лидак и сам не понимал, чем его буквально до бешенства доводит этот жалкий субъект. Но он не мог уже сдерживаться. — Я прошу вас, покиньте мой кабинет!

— Но я хотел бы услышать от вас истинную причину вашего нежелания восстановить меня в прежней должности. Я же не прошу у вас повышения, хотя и заслуживаю, наверное, я не прошу поблажек, я готов работать, и весьма плодотворно, а вы знаете, как я умею работать, — искренне недоумевая, стал доказывать свою правоту Николаев.

Отто Августовича всего затрясло, и он вдруг понял: еще немного — и запустит в этого «конторщика» бронзовым чернильным прибором.

— Вон! — закричал Лидак. — Вон из моего кабинета!

Николаев оцепенел.

Лидак, не выдержав, выскочил из кабинета, промчался по коридору, не здороваясь ни с кем из своих сотрудников, прибывавших на работу, и, подбежав к вахтеру, потребовал немедленно забрать из его кабинета сумасшедшего просителя и никогда больше его в институт не пускать.

— Никогда! Или вы в тот же день вылетите со своего места! — брызгая слюной, кричал Лидак в лицо вахтеру.

Перепуганный вахтер побежал в директорский кабинет и буквально выволок оттуда Николаева, выставив его за институтские двери под довольный рокот некоторых бывших коллег низвергнутого инструктора испарткомиссии.

Лидак, вернувшись к себе в кабинет, закрылся на ключ и полчаса не мог успокоиться. Его трясло, как в трамвае. Не выдержав, он в нарушение всех своих правил достал из сейфа початую бутылку коньяка и дрожащей рукой налил себе полстакана. Обычно он

выпивал в конце дня, когда отправлялся домой, чтобы снять немного усталость и нервную нагрузку.

— Стервец! Скотина безрогая! — выругался он вслух, и ему стало немного легче. Он выпил коньяк, поморщившись, съел кружок лимона и даже с интересом снова посмотрел на сейф, куда запер бутылку, но сдержал свое желание. «Сейчас попрут любопытствующие», — подумал он, нашел в кармане ядрышко мускатного ореха и разжевал его, чтоб отбить запах. Он любил это странное столкновение запахов коньяка, лимона и мускатного ореха. Лидак вообще любил изысканные вещи. Может быть, поэтому он и не любил уродов. А Николаев был полным уродом.

Сев в кресло, Отто Августович стал массировать себе мочку уха. В одном из древнетибетских манускриптов еще в молодости он прочитал, что массажирование мочки уха снимает нервный стресс и восстанавливает энергию организма. Но, видимо, перевод манускрипта был выполнен весьма вольно. К обеду Отто Августович успокоился, но энергия не восстановилась.

Просто лет десять он не отдыхал. А таких, как Николаев, в этой стране становится все больше. И с каждым днем бороться с ними становится все сложнее. Но самое страшное для Лидака в другом: во главе партии тоже стоял такой же ограниченный и злобный честолюбец, как Николаев, а с ним уже бороться невозможно. Но и мириться трудно. Никто и не знал, как трудно было для нервного и чувствительного Отто Августовича переносить любое уродство. Никто не знал и не догадывался.

19

Клим Ворошилов, возмущенный, прибежал к Сталину: Киров самовольно вскрыл армейские продовольственные склады неприкосновенного запаса, чтобы обеспечить пайками рабочих. Микоян там ему что-то вовремя не подвез, а он даже и ждать подвоза не стал и запустил руку в святая святых — военный НЗ, который с такими трудами создавали Сталин и Ворошилов по всей стране на случай войны. Даже Ворошилов не мог самовольно вскрывать эти склады с продовольствием. А Киров уж тем более должен был спросить разрешение у Сталина. Но ленинградский вождь никого не спросил: ни Клина, ни Кобу. Прислал задним числом ему какую-то писульку, что возместит запасы продовольствия точно по списку, как только ему их подвезут.

Ворошилов еще продолжал возмущаться, но Сталин махнул рукой, и нарком военморсил умолк.

«Верещит, как баба, — возмутился Коба, — только думать мешает». Сталин разжег трубку, глядя на разгневанного Клина.

«С одной стороны Киров поступил правильно: рабочие не могут ждать, пока нарком снабжения СССР Анастас Микоян стукнет кулаком по столу и наведет порядок на своем фронте. Им надо детей кормить. И для складов НЗ тоже неплохо. Когда истечет срок хранения и на повседневные армейские нужды передадут эти продукты, они не будут нуж-

даться в их замене. Но это с одной стороны. А с другой — поощрять такое самовольство тоже не следует. Если все первые секретари начнут вскрывать армейские склады НЗ, то армия на голодный паек сядет. И Клим тут правильно бьет тревогу».

Сталин тяжело вздохнул.

— Ну что твой заместитель Реввоенсовета? — спросил Коба у Ворошилова.

Вопрос был неожиданен. Клим ждал реакции Сталина на самоуправство Кирова, надеясь, что Коба его решительно поддержит, а тут интерес к Тухачевскому. Ворошилов знал, что Сталин его не любит, но Ворошилова сейчас волнует только Киров.

— Знаешь, как он тебя называет? — спросил Сталин и сам же ответил: — Дубом, дубовой башкой! — Коба рассмеялся.

Ворошилов побагровел и удивленно посмотрел на Кобу.

— А я думал, ты знал, — усмехнулся Сталин. — Аристократ, мать его так! — неожиданно выругался Коба. — На скрипочке играет да певичек в кровать затаскивает. Они думают, что мы уже все, свое отжили, что пришло их время. Глубоко ошибаются господа тухачевские. Их время никогда не придет.

— О чем ты, Коба? — нахмурившись, проговорил Клим. — Я пришел к тебе сказать, что Киров хрен знает чем занимается у себя в Ленинграде... — Ворошилов осекся, потому что Сталин, зло сощурившись, в упор смотрел на него, и от этого взгляда у Клима мороз пробежал по коже.

— Что ты пришел мне сказать? — холодно спросил Сталин.

— Я пришел поговорить, как быть в этом случае. Ничего страшного, конечно, нет, Анастас мне сказал, что уже дал команду отправить состав с продо-

вольствием в Ленинград, но тут важен сам принцип. Мы не должны поощрять такие своевольства!

— Я ему про Фому, он мне про Ерему! — заметил Сталин. — Через несколько дней заседание Политбюро. Выступишь и скажешь все, что думаешь об этом поступке товарища Кирова. И крепко его взгрешь за самовольщину, что тут обсуждать. И надо, наверное, даже наказать его в партийном порядке, чтоб другим неповадно было. Поставить на вид для начала. Ты мне другое скажи: кто принес товарищу Сталину эти материалы?

Сталин вытащил папку, на которой сверху красивыми буквами было выведено: «Предложения наркомата по военным и морским делам СССР товарища Ворошилова К. Е. о создании единого наркомата обороны СССР», раскрыл ее и посмотрел на Клима.

— Вот, читаю графу: штатное расписание наркомата обороны. Нарком — Ворошилов Климент Ефремович, — Сталин выдержал паузу. — Ну, хорошо, это мы еще обсудим...

Ворошилов с испугом посмотрел на Кобу.

— Ты против моей кандидатуры? — пробормотал он.

— Разве я сказал, что против? — удивился Сталин. — Ты вообще слушаешь, что я иногда говорю?! На русском языке, между прочим! — возмущенно бросил он Климу. — Я сказал: ну х о р о ш о, это мы еще обсудим. Я имел в виду, что мы этот вопрос обсудим за другим столом, накрытым другой скатертью. Что непонятного?

— А-а, — промычал Клим, — ну это само собой! А как же: такой пир закатим...

— Слушай, читаю дальше, — оборвал его Коба. — Второе лицо в штатном расписании: первый заместитель наркома обороны СССР — Тухачевский Ми-

хаил Николаевич. Так... И тут я останавливаюсь и начинаю думать: почему?

— Но, Коба, ты же сам поддержал план Тухачевского о создании единого комплекса оборонной промышленности. Так кому его и создавать, как не ему? — развел руками Ворошилов. — А для этого нужен и статус соответствующий: первый зам.

— Но почему первый заместитель? — не понял Сталин. — Пусть работает, претворяет свой замечательный план в жизнь, но не первым заместителем наркома обороны. Завтра тебя убьют, и он автоматически становится наркомом!

— Почему меня должны убить? — удивился Ворошилов.

— А ты что у нас, уже бессмертный?..

— Нет, но...

— Я спрашиваю: почему первым? Так любишь скрипичных дел мастера?

— Коба, ты знаешь, как я к нему отношусь, почему спрашиваешь? — обиделся Ворошилов.

— Потому что думать надо в таких случаях! Не товарищ Сталин должен думать, а Климент Ефремович. Это должность обычного заместителя. Он согласует и ведет свою работу под руководством первого заместителя, а первый, координируя все направления, работает под началом наркома. Тогда есть система и ступеньки этой системы, есть четкая субординация в высшем звене руководства.

— Я тоже так думал, Коба, — проворчал Клим.

— Индюк думал да в суп попал, — усмехнулся Сталин. — А с Тухачевским надо вести себя осмотрительно. Не наш он человек, Климушка, презирает он нас, не любит, и при резком повороте тележки, когда ты повиснешь над пропастью, руки тебе не подаст, не вытащит. Подтолкнет тележку в пропасть, да еще ручки о платочек вытрет.

...На Политбюро по поводу вскрытия Кировым в Ленинграде военных складов с НЗ разгорелся жаркий спор. Киров обвинял Микояна в неумении ритмично работать, а Ворошилов Кирова в самоуправстве и призывал членов Политбюро даже строго наказать первого секретаря ленинградского обкома за такую скрытую партизанщину и объявить ему взыскание по партийной линии.

Ворошилова осторожно поддержал и Лазарь Каганович, сказав, что у него на Метрострое тоже случаются перебои со снабжением и, хотя сегодня это стройка номер один в столице да и во всей стране, наверное, но он не бежит взламывать военные склады, а терпеливо объясняет рабочим ситуацию, и они его понимают.

— У вас и без того рабочие живут лучше всех в стране! — почувствовав поддержку Ворошилова и Кагановича, сказал Анастас Микоян. — Я просмотрел все союзные нормы пайков, и в Ленинграде они самые большие!

— А почему мои рабочие должны жить хуже? — возмутился Киров.

— А почему лучше? — неожиданно вступил в разговор Сталин, который до этого момента не принимал участия в споре. — Почему в Ленинграде рабочие должны жить лучше, чем в Саратове, в Москве или в том же Красноярске? Что это за особое положение они себе выторговали? Какими заслугами?

Все затихли, ожидая, что скажет Киров.

— А тем, Иосиф Виссарионович, что если мы сравним нормы выработки, то ленинградцы идут на первом месте, а саратовцы где-то в конце. И социалистический принцип нам говорит то же самое: по труду!

Сталин взглянул на Орджоникидзе, и Серго ут-

вердительно кивнул головой, подтверждая справедливость слов Кирова.

— Ведь мы постоянно им говорим: что заработаешь, то и полопаешь, а на деле получается страшная уравниловка, и рабочему невыгодно производить больше, если он не будет за это и получать больше! И получать не завтра, не на следующий год, а сегодня! Завтра он сам не сможет, силы будут не те, а сегодня он крепок и горяч, так давай, и мы тебе дадим!.. Поэтому, уважаемый Анастас Иванович, вопросы снабжения — это вопросы нашей политической стратегии, вопросы нашего политического будущего: загоним мы капитализм за Можай, как говорит товарищ Сталин, или не загоним.

Цитата из Сталина Кобе понравилась: совсем не дурак этот Киров!

— И чтоб мы не опростоволосились в самом главном, давайте-ка будем кормить нашего могильщика буржуазии! И очень хорошо кормить!

Киров сел. Орджоникидзе сиял, слушая речь друга, и, перехватив его взгляд, подмигнул ему. Сталину это не понравилось, и он нахмурился, продолжая расхаживать вдоль стола, за которым сидели члены Политбюро. На мгновение он остановился рядом со столом Поскребышева, который писал протокол, заглянул в записи, и Александр Николаевич замер, точно ожидая поправок, но Коба, увидев, как Поскребышев написал: «за Мазай», сердито ткнул в это слово пальцем.

— Но с тобой, Сергей, никто и не спорит, — заметив хмурое лицо Кобы, вступил Ворошилов. — Только зачем мой-то неприкосновенный запас трогать? Надо было объяснить рабочим: продовольствие в пути, через неделю вы все получите! И если они сознательные пролетарии, то наверняка бы поняли тебя!..

— Хватит заниматься демагогией, Климент Ефремович! Они сознательные тогда, когда мы их сознательнее вдвое, как управляющие нашим народным хозяйством и в состоянии их обеспечить всем необходимым! — не вставая, с места бросил Киров.

— При чем здесь демагогия? — обиделся Ворошилов. — Он вскрыл мой неприкосновенный запас да еще меня обвиняет в демагогии! Ну знаешь, Коба, тут я уже ничего не пойму! Анархизм какой-то пошел!

— Во-первых, Клим, склады не твои, а государственные, наши, общие! И мы все вместе делаем одно общее дело, — раздраженно заговорил Орджоникидзе. — И если завтра его рабочие, — Серго показал на Кирова, — не дадут тебе снарядов и винтовок, то и склады НЗ тебе не помогут. И он ради того, чтоб у тебя этих снарядов было больше, позаимствовал временно часть твоего продовольствия, а ты уже кричишь: «Караул! Обокрали!» Не надо смотреть на вещи узковедомственно, мы сейчас находимся на заседании Политбюро, а не на Совнаркоме!

— Так что, всем теперь можно военные склады вскрывать? — спросил Ворошилов.

— Нет, нельзя! — обозлившись, стукнул кулаком Орджоникидзе, и задремавший за столом Политбюро Калинин чуть не подскочил от испуга. — Такого быть не должно, поэтому мы и собрались для обсуждения этого вопроса, черт возьми, как и не должно быть никаких оправданий, Анастас Иванович, с задержкой продовольственного снабжения крупных промышленных центров, а Ленинград — не единственный случай. Сергей Миронович в данном случае нашел выход из создавшейся ситуации, и я не вижу в этом, извини, Клим, никакого преступления, а значит, и повода наказывать товарища Кирова. Хочу напомнить тебе, что такое Ленинград: это 10 процентов общесоюзной промышленности, 25 — всего ма-

шиностроения страны и 65 процентов всей электротехнической промышленности СССР. Стоит об этом изредка вспоминать, дорогой Анастас Иванович! Мое предложение таково: принять к сведению сообщения товарищей Ворошилова, Микояна и Кирова и на ближайшем же заседании Совнаркома рассмотреть вопрос о снабжении продовольствием крупных строек и промышленных центров СССР, разобраться, какие существуют тут сложности, и если необходимо, то помочь товарищу Микояну, чтоб у него больше таких затруднений не возникало. Тогда сама собой отпадет и проблема вскрытия военных складов НЗ.

Орджоникидзе сел на место. Все замолчали, поглядывая на Кобу.

— По-моему, дельное предложение, и давайте переходить к следующему вопросу повестки, — высказался Куйбышев. Он куда-то торопился, посматривая на часы.

Сталин же никуда не спешил и не хотел спешить, даже решая столь простой вопрос. Он вернулся на свое место. Ворошилов недоуменно смотрел на него, точно показывая всем своим видом: ты же сам призывал меня осудить это своеволие и даже наказать Кирова, я сделал все, что мог, теперь ты давай, помогай. Сталин покашлял, положил на стол трубку.

— Что ж, я думаю Серго довольно убедительно обрисовал ситуацию, и Вячеслав Михайлович проведет такое заседание. Надо действительно перестать заниматься демагогией, а больше времени уделять конкретным делам. И тут я тоже хочу поддержать Сергея Мироновича. Поступок вроде бы неприглядный, но давайте задумаемся, что стоит за ним? Ради чего он пошел на это? Ради того, чтоб сохранить авторитет партии и Политбюро перед рабочим классом! Конечно, между собой мы должны договориться

и таких поступков больше не совершать, но тут я солидарен с товарищем Кировым, что вопросы снабжения продовольствием — это вопросы нашей политической стратегии на сегодняшний момент. Рабочим не важно, кто из нас не доработал: Вячеслав Михайлович или Анастас Иванович, они будут винить партию, товарища Сталина, что он плохо держит бразды правления, и тут товарищ Киров спас наш авторитет, нашу честь, товарищ Микоян, и мы должны поблагодарить его за этот мужественный и смелый шаг. Так и должен поступать настоящий партийный вождь: брать ответственность на себя!

Коба готовился совсем к другой речи, и перед началом заседания он уже проигрывал в воображении покаянную речь Кирова и свое последнее слово в защиту друга, о том, что не надо делать никаких оргвыводов и своим обсуждением они уже поставили «на вид» секретарю ЦК, поэтому в этой части вопроса должно было быть записано: принять к сведению сообщение товарища Кирова. Это должно было произвести на всех благоприятное впечатление: Сталин не верховный судья, а их товарищ и любит их всех. Но кировский напор и толковое выступление Орджоникидзе резко изменили ситуацию, после чего защищать Ворошилова уже не имело смысла, и Сталин тут же встал на их сторону.

Коба знал, что прямо с поезда Киров заехал к Орджоникидзе, оставил там портфель с вещами и помчался на заседание Политбюро. Так он делал всегда, и в перерыве Коба велел Поскребышеву забрать портфель и привезти к нему на квартиру.

После окончания Политбюро Поскребышев подошел к Сталину и что-то шепнул ему на ухо.

— Александр Николаевич приглашает всех чайку попить с бутербродами, если кто проголодался, — напомнил Сталин.

Калинин обрадовался и поспешил в приемную. Киров, сидя за столом с карандашом в руках, все еще что-то темпераментно доказывал Микояну. Последний лишь кивал головой, соглашаясь с его доводами.

Сталин перехватил взгляд Кирова, и тот подошел к нему.

— Поскребышев уже перевез твой портфель ко мне, так что не суетись, — напомнил ему Коба.

— А ногу? — спохватился Киров.

— Какую ногу? — не понял Сталин.

— Я тебе и Григорьичу по кабаньей ноге привез. Сам кабанчика завалил, мясо нежное, во рту тает!

— Ну, скажи Поскребышеву, пусть еще раз съездит, — попросил Сталин.

Ворошилов с побитым видом стоял в стороне, и Коба, подойдя к нему, усмехнулся:

— Это тебе, Клим, не шашкой махать. Политбюро поддержало Кырыча, а значит, он прав, куда тут денешься. Тебе надо подойти к нему и помириться. Тем более, он кабанью ногу привез, запеченную с чесночком, посидим, чего нам делить? А?

Ворошилов тяжело вздохнул, все еще обижаясь на то, что Сталин его не поддержал.

— Ну иди-иди, он в приемной, — Коба похлопал Клима по плечу, и Ворошилов вышел в приемную.

«Как детей, надо всех сводить, мирить друг с другом, — проворчал про себя Сталин. — Стоит недоглядеть, и так перессорятся, что потом водой разливать придется».

Он был недоволен нынешним заседанием. Недоволен тем, что оно пошло по другому руслу. Не им задуманному. И дело не в том, что он не угадал ход Политбюро, хотя и это задевало его самолюбие, а в том, что Киров, к примеру, вовсе не такой тихоня и простак, как ему думалось раньше. «Невзрачный, серый тип, китайский болванчик, куда качнешь, туда

и падает», — как презрительно еще в середине двадцатых высказался о нем Троцкий. Сталину передали это высказывание, и он тогда был вполне согласен с бывшим наркомвоенсил. Киров, несмотря на то что уже в 1923 году стал членом ЦК, в ту пору был незаметен и робок, держался рядом с Орджоникидзе, с которым он горячо дружил, и по многим вопросам советовался с ним и со Сталиным.

Сталин познакомился с Кировым в первые дни революции во время Второго съезда Советов. Киров был в составе делегации Северного Кавказа, а Сталин входил тогда уже в Политбюро ЦК РСДРП(б) и опекал кавказских делегатов. Молодой паренек с горящими чистыми глазами понравился Кобе, и через полгода он дал Кирову уже рекомендательное письмо в наркомат внутренних и внешних дел, указав, что данное лицо заслуживает «полного доверия». С той поры Сталин не выпускал Кирова из своего поля зрения, видел, как рос и укреплялся авторитет его протеже, как жестче и непримиримее становилась его позиция. Без помощи Сталина он до сих пор сидел бы где-нибудь в Баку или Астрахани. Коба готовил его в свой боевой отряд, а Киров сейчас много проявляет самостоятельности. Это и хорошо, и плохо.

«Если провести сейчас анонимную анкету среди партийного генералитета, то Киров по популярности выйдет на первое место. И любой серьезный мой промах или неожиданная болезнь, как у Ленина, взметнет именно Кирова на самый верх, — подумал Сталин. — И тут уж он не дрогнет и недрогнувшей рукой перечеркнет многие мои завоевания. И Орджоникидзе не так прост, как кажется, и Куйбышев, который и защищает Кирова только для того, чтобы столкнуть его со мной и выиграть победный ход для себя, а Косиор с Андреевым только и следят за рас-

кладом сил. А сталинская «тройка», где Ворошилов, Молотов и Каганович, проигрывает. Лазарь — исполнитель, он всегда и во всем второй, Молотов слишком осторожен, Клим вообще дурак. Киров же с Орджоникидзе не чувствуют, как их стараются сбить в другую стаю и противопоставить мне. Кто? Пока Куйбышев. И пока они еще не стая, хоть и ведут опасную игру, стараясь действовать вместе. С Куйбышевым уже стая», — заключил свои размышления Коба и тяжело вздохнул.

Он открыл блокнот и записал: «Куйбышев?» Подумал и закрыл его.

Конечно, Сталин и в мыслях не собирался наказывать Кирова за это вскрытие складов, но решение должно было исходить от него, а не от Куйбышева или Орджоникидзе. Он сам виноват. Затянул молчанку. Надо было настрополить Кагановича. Он крепкий боец. И ему самому еще перед выступлением Серго надо было взять бразды правления в свои руки и напомнить всем о партийной дисциплине, которую нарушил Киров. А это непозволительно ни рядовому партийцу, ни секретарю ЦК.

«Учись Коба, мотай на ус, — усмехнулся он. — А то ведь и замечать твое присутствие перестанут. А потом и вышвырнут за ненадобностью, как измочаленные портки. Да, оплошал ты сегодня, крепко оплошал...»

20

Кабанью ногу решили жарить на вертеле в Зубалове. Выехав за город, помчались по пустынному шоссе кавалькадой машин на огромной скорости. По обеим сторонам дороги потянулся сосновый лес, напоминавший Кирову окрестности Ленинграда. Стоял уже конец мая, было тепло, но Коба никогда не разрешал открывать окна в машине, боясь не столько сквозняков, сколько шальной пули. Киров ехал в сталинском лимузине, любясь яркой весенней зеленью, разгулявшейся по обочинам дороги и лесным опушкам. Неожиданно ворвалась крохотная полянка желтых одуванчиков, и Киров даже зажмурил глаза: так ослепительно они горели в зеленой траве.

— Я тебе уже говорил, чтоб не было этих желтяков! — недовольно проворчал Коба, обращаясь к Паукеру, сидевшему впереди, рядом с шофером.

— Два дня не проезжал, Иосиф Виссарионович, а Крутов мышей не ловит! — стал оправдываться Паукер.

— Зачем тогда он нужен, если не умеет мышей ловить, — усмехнулся Сталин.

— Завтра так накручу, что штаны менять придется! — пообещал Паукер, и Коба усмехнулся: ему нравились шутки Карла.

— Не люблю желтый цвет, цвет измены, — про-

говорил Сталин. — Мало у нас цветов, что ли, в природе?

Киров не ответил. Ему нравились одуванчики. Мильда рассказывала, что ее отец в свое время делал из одуванчиков вкусное вино. Но он промолчал, не желая вступать с Кобой в спор по этому глупому поводу, а стал снова смотреть в окно. Коба, заметив этот пристальный взгляд, усмехнулся.

— Тебе только кажется, что никого вокруг нет, — загадочно проговорил он, — а через каждые пятнадцать метров по обе стороны шоссе расположены охранные посты, замаскированные под обыкновенный кустарник. После нас блоха не проскочит! Все этот черт Паукер придумал!

Сталин не без гордости улыбнулся.

— Служим товарищу Сталину! — весело отозвался Паукер. — Вот, Сергей Миронович, промелькнул ряд кустов. Заметили там кого-нибудь? — спросил он.

— Нет, — растерянно отозвался Киров.

— Смотрите дальше! — приказал Паукер. — Если хоть одного человека в военной форме заметите, завтра же командира уволю!

Киров стал вглядываться в приближающуюся группу ветвистых, поднимающихся в человеческий рост кустарников с плотными широкими листьями. Они располагались настолько живо и естественно, так легко вписывались в общий пейзаж, что трудно было заподозрить за ними скрытый охранный пост. Киров даже восхитился таким хитроумием. Он вгляделся в кустарники, и ему показалось, что в крохотном листовом просвете мелькнул синий околыш фуражки.

— Заметили? — азартно спросил Паукер.

— Да вроде нет, — соврал Киров, не желая подво-

дить ни в чем не повинных охранников, вынужденных сутками торчать здесь в любую погоду.

— А я увидел! — помолчав, сказал Коба.

— Значит, накажем и уволим кого следует! Так, это, по-моему, был сорок пятый пост! — выгасив блокнот, записал Паукер. — Им, товарищ Сталин, время от времени надо вставлять клизму! — заметил философски Паукер.

— Даже если они и не заслужили, — засмеявшись, добавил Сталин.

Киров знал Паукера с 1925 года, когда тот только начал работать в сталинской охране. Он тогда еще говорил с легким акцентом, рубленными, на немецкий лад, фразами. Теперь же в его речи появилась плавная грузинская мелодика, полностью повторяющая сталинские интонации.

В 1927 году китайский правитель Чан Кайши провел в стране массовые аресты коммунистов и даже устроил обыск в советском посольстве. Сталин был так этим взбешен, что приказал Паукеру за одну ночь арестовать в Москве всех китайцев, не трогая лишь посольский персонал. Паукер добросовестно выполнил это приказание, но перестарался в ревностном исполнении приказа, свезя в тюрьму и китайцев, работающих в Коминтерне, а с ними заодно и студентов Коммунистического университета, специально организованного для трудящихся Востока. Из Коминтерна пожаловались Сталину. Он вызвал Паукера, спросил: арестовывал ли он коминтерновцев?

— Вы же сказали всех, Иосиф Виссарионович, кроме посольских, я всех и...

Договорить он не успел. Сталин с размаху врезал ему кулаком по физиономии. Паукер упал.

— Отпусти коминтерновцев немедленно, дурак! — заорал Коба.

Паукер исполнил приказ и боялся показываться

Хозяину на глаза, ожидая, что и его отправят следом за китайцами. Он просидел до полуночи в своем кабинете на Лубянке, когда раздался звонок из Кремля. Паукер слабеющей рукой поднял трубку. Звонил Сталин.

— Какого черта ты не едешь? Я долго буду тебя ждать? — недовольно проговорил Сталин, и Паукер помчался в Кремль.

Войдя в сталинский кабинет, Карл остановился у порога и виновато опустил голову.

— Подойди поближе, — приказал Сталин.

Паукер, предчувствуя, что будут снова бить, подошел поближе.

— Держи! — сказал Сталин и протянул Паукеру коробочку. Начальник охраны дрожащей рукой открыл ее. В ней на красной сафьяновой подушечке лежал орден Красного Знамени. Сталин протянул ему и указ ВЦИКа, в котором говорилось, что Паукер награждается орденом «за образцовое выполнение важного задания».

— Он ему как отец родной, — пересказывая эту историю, восхищенно рассмеялся Ворошилов. — Сам побьет, сам и приголубит. На Руси всегда так велось.

Прибыв на дачу, Паукер сразу же взял на себя всю подготовку ужина, успевая поучать своих охранников, зажаривающих кабанью ногу на вертеле, как добиться золотистой хрустящей корочки на мясной тушке.

— Я вижу, он у тебя на все руки мастер! — слушая толковые распорядительные команды начальника сталинской охраны, усмехнулся Киров.

— Что ты! А артист какой! Подожди, еще увидишь! — отозвался Коба.

Киров любил бывать в Зубалове. Когда была еще жива Надя, на даче всегда было весело, уютно, и

прислуга встречала его радостными улыбками. Теперь все хмурятся при встрече, зато улыбается тот, кого сюда Надя не впускала, Карл Паукер. Он отдает команды, подгоняет и верховодит.

Киров решил прогуляться по дорожкам парка, которые когда-то он помогал прокладывать и расчищать Кобе. Пройдя метров десять, Киров оглянулся. За ним на почтительном расстоянии следовали два паукеровских охранника.

«Вот и весна уже пролетела, — подумал Киров, — а давно ли с Мильдой ездили на охоту, парились в бане и купались в снегу... Как будто вчера. Так незаметно и жизнь пролетит в вечной борьбе за тонны и центнеры. Я состарюсь, и рядом никого не окажется. Маша при ее болячках и нервах вряд ли долго протянет. Начну, как Калинин, засыпать на Политбюро, а потом меня и вовсе выгонят на пенсию. Если, конечно, Коба не пристрелит раньше времени...»

Последняя фраза возникла не случайно. Перед отъездом Мильда упросила его встретиться с Аглаей. Он не хотел больше впутываться в опасную историю, но Мильда, не говоря ни слова, сумела его убедить. Посмотрела с такой мольбой во взоре, что у Кирова сердце зашло.

Он встретился с Аглаей снова у Пылаева в обеденный перерыв. Ганина была бледная, темные круги лежали под глазами, в которых застыла боль. Киров, желая ее успокоить, стал говорить, что теперь вряд ли кто-нибудь их потревожит, дважды не погибают, поэтому пусть они оба работают спокойно, не волнуются, за их домом будут присматривать, ну а если они заметят что-то подозрительное, вот телефон Филиппа Демьяновича Медведя, надо только будет позвонить...

— О н, — Аглая, прервав Кирова, не стала говорить «Сталин», выделив лишь местоимение, но

Киров все понял, — свою страшную месть не оставит. Вы заблуждаетесь, потому что не знаете природу его болезни. Паранойя разрушает мозг постепенно, и чем больше он будет находиться у власти, тем ярче будут проявляться симптомы страха, подозрительности, мании преследования. У него еще очень сильная природа организма, а потом эта болезнь обостряет мыслительные процессы, и он может выдавать подчас оригинальные решения той или иной проблемы. Но иногда... — она усмехнулась. — А подчас заходить в тупик в элементарных вещах. У нас и на Западе только еще изучают признаки этой болезни, поэтому трудно распознать характер ее течения.

— А может быть, ваш профессор ошибся? — спросил Киров.

— Бехтерев был гений в диагностике. Если бы это сказал кто-нибудь другой, я, возможно бы, и засомневалась, но Владимир Михайлович не мог ошибиться. Я вас понимаю, он ведет себя, как обычный нормальный человек. Ни на кого не бросается, не впадает в истерики. Страдает бессонницей, как многие из нас. Но очень немногие мучаются приступами страха. Мнительностью. Болезнь растет в нем незаметно. Вот что страшно. И вы, Сергей Миронович, подвергаете себя даже большей опасности, чем я. Смертельной. — С глубокой грустью заключила Аглая. — Вы должны об этом помнить!..

— И в чем выражается эта «смертельная опасность»? — спросил, усмехнувшись, Киров.

— Жертвами таких людей чаще всего становятся их близкие, их друзья, — серьезно ответила Аглая.

Усмешка слетела с его лица, когда он увидел ее глаза, с сочувствием и болью обращенные к нему.

— Сергей Мироныч! Что же это вы уединяетесь?!

Киров вздрогнул, оглянулся. Перед ним, загадочно улыбаясь, в своих сверкающих яловых сапогах и

ярко-синих галифе стоял стройный и подтянутый Паукер, постукивая себя хлыстиком по голенищу. Тот же Ворошилов со смехом рассказывал, что Карл, дабы выглядеть красавчиком, утягивает свое брюшко в жесткий корсет, как парижская модная шляха. «И даже за столом жрет в корсете, чтоб меньше вошло!» — расхохотался Клим.

— У нас у всех уже слюнки текут от запаха вашего мяса, все проголодались!..

Они двинулись к даче. Фраза Аглаи о «смертельной опасности» заставила его тогда невольно содрогнуться. Может быть, потому что он давно уже чувствовал опасность, исходящую от Сталина.

— А жилетик-то я вам достал, — по секрету сообщил Паукер. — Но Хозяин хочет вам сюрприз сделать, вы уж меня не выдавайте!

— Спасибо, Карл! — Киров был даже тронут, он не ожидал от Паукера такой изворотливости.

— Это пустяки, Сергей Миронович! — хвастливо сказал Паукер. — Нэт ничего такого, чтобы нэ мог достать товарищ Паукер! — копируя интонацию Кобы, самоуверенно заявил Карл. — Я тут «кадиллак» достаю одному нашему другу. Хорошая машина. Не хотите?

— Нет, спасибо, для меня хороша любая телега, лишь бы ездил, — усмехнулся Киров.

Все сидели за большим столом на веранде. Ворошилов отрезал от кабаньей ноги большие куски и раздавал их гостям, начав, естественно, с Кобы.

— А после мяса пусть подадут закуски! — бросил Сталин Паукеру. — И заходи, повеселишь нас, стариков, — усмехнулся он.

Праздновали вшестером: кроме Серго и Кирова Сталин звал развеять грусть-тоску Ворошилова,

Кагановича и Молотова. Перед отъездом в приемной крутился и Жданов, надеясь, что и его позовут в гости к Хозяину, но Коба держал нового секретаря пока на «коротком поводке». Не заслужил еще такой чести. Первым тостом помянули умершего недавно председателя ОГПУ Вячеслава Рудольфовича Менжинского. Он долго и давно болел, мучился грудной жабой, поэтому почти никогда не принимал участия в совместных застольях, но Менжинского все любили за его добрый покладистый нрав. Он ни с кем никогда не ссорился, со всеми сохранял ровные добрые отношения и был удобен даже Сталину. В 1934-м Менжинскому исполнялось шестьдесят лет, и Сталин даже хотел наградить его орденом Ленина за большую и плодотворную работу, но не успел. Коба произнес в память о Менжинском теплые слова, сказал, что даже не знает, кем его заменить, хотя никто не сомневался, что «железная метла» достанется Генриху Ягоде, чьи усы имели такую же форму, как у Гитлера. «Наш Адольф Григорьевич», — шутил Коба. Он единственный из всех сидящих за этим столом почему-то выделял и ценил Ягоду. Коба как-то даже пояснил, чем ему нравится Аптекарь, так он звал его за глаза. «Вроде бы свой, с песьими повадками, готовый услужить, но иногда такой взгляд проскользнет, что морозом от страха прошибает, — восхищенно усмехнулся Сталин. — Наш человек».

Разрезая ногу и разливая по второму бокалу вина, решили переменить тему и вспомнить веселое: как в разгар жаркого спора о продовольственных вопросах неожиданно захрапел председатель ВЦИКа Калинин. Михаилу Ивановичу исполнилось 59, и стойко высиживать многочасовые заседания Политбюро ему не всегда удавалось.

— Я его то и дело локтем в бок толкаю, — смеялся

вместе со всеми Молотов. — Глаза откроет, ошалело посмотрит на меня и снова засыпает.

— Да хорошо бы тихо себе спал, а то ведь говорить мещает своим храпом, — засмеялся Каганович.

— Как же он со своими певичками развлекается? — спросил Сталин. — Неужели и с ними засыпает?

— Нет, тут они с Енукидзе крепкие бойцы! — возразил Клим. — Мне Авель с восхищением о неугомонности Калинина рассказывал. Говорит, не поспеваю за нашим старостой.

— А там думать не надо! — вставил Каганович, и все дружно загоготали.

Киров вспомнил карикатуру, напечатанную в 1925 году в одном из столичных журналов: полуголый Калинин с его приметной бородкой лежит на обнаженной груди одной дородной певицы. И подпись: «М. И. развлекается» или что-то в этом роде, Киров уже не помнил. Журнал на четырнадцатом съезде тайно ходил по рукам, попал он и к Кирову, и эта карикатура жутко его возмутила: как это редактор советского массового журнала посмел напечатать такое про Председателя ВЦИКа! Но Серго, к которому Киров пришел за разъяснениями, тяжело вздохнул и сказал:

— Да звонил я этому редактору. А он мне тонко намекнул, что карикатура напечатана по просьбе одного ответственного товарища в порядке дружеской критики. Я уж потом догадался. Калинин позволил тут себе бросить одну острую реплику в адрес этого ответственного товарища: «Мол, как бы этот конь нашу телегу в яму не опрокинул», ну и последовал ответ. Ты же знаешь Кобу. Он злопамятный...

Зацепившись за плотские утехи Калинина и Енукидзе, перекинулись на других. Ворошилов вспомнил рокового красавца Тухачевского, который еще во

время гражданской возил в своем личном вагоне любовницу, а Сталин не забыл вернуть и Бухарина, который, бросив вторую жену, уже успел совратить малолетнюю Анну Ларину и теперь вынужден на ней жениться, чтоб скрыть позор, который уже выпирает наружу, несмотря на разницу в двадцать с лишним лет. Киров не принимал участия в этом бурном обсуждении, считая вообще неприличным говорить о таких вещах за общим столом.

— Ну, хватит, — остановил всех Орджоникидзе, — что мы как старики на завалинке обсуждаем то, на что сами уже не способны! Пусть каждый сам решает сколько и когда...

— А ты про себя лучше скажи! — оборвав его, рассмеялся Коба.

Серго встал, поднял бокал с вином.

— Я не про себя хочу сказать, а про Сергей Мироновича! — с чересчур серьезным видом проговорил Орджоникидзе, но в контексте предыдущего разговора это начало тоста наркома тяжмаша прозвучало двусмысленно.

Все дружно захохотали. А Киров даже смутился.

— Рассказывай про Кирыча, нам дюже это интересно! — выкрикнул Ворошилов, и Сталин даже прослезился от смеха. Засмеялся и Киров.

— Ну, хватит, что вы как дети! — рассердился Серго. — Я хочу тост сказать!

Все постепенно умолкли.

— Я хочу выпить за нашего друга Сергея Мироновича, и не потому, что сегодня он был в центре внимания на нашем Политбюро, просто со многими мы часто видимся и в Кремле, и по работе, а вот с Кирычем очень редко, и, когда он приезжает, для меня лично это настоящий праздник! И я хочу выпить за то, чтобы мы встречались почаще, по разным

поводам, все знают, как я его люблю, хоть, не скрою, что недели две назад сильно обиделся!

— За что обиделся? — живо заинтересовался Сталин.

— Нет, сначала давайте выпьем!.. Сергей, дай я тебя поцелую!

Они расцеловались. После Орджоникидзе теплые слова о Кирове сказал Сталин, объявив, что почти полгода прошло, и у него есть договоренность: с января 1935-го Киров насовсем переезжает в Москву и в полную силу заработает как секретарь ЦК, что Кобе очень не хватает кировской деловой хватки, и жизнь у них в ЦК с переездом Кирова пойдет энергичней. Киров вышел из-за стола, расцеловался и со Сталиным, поблагодарил всех за теплые слова. Все выпили, заговорили, что редко они вместе собираются, Орджоникидзе вспомнил, как Ильич в 20-м расчихвостил его за пьянку с бабами, а потом все допытывался: где баб взяли и давно ли у них в Реввоенсовете установилась такая традиция. Хотя никакой пьянки в тот день не было, а просто отмечали день рождения, ну и девушек пригласили потанцевать.

— А вот кто донес Ильичу, я до сих пор не знаю! — улыбнулся Серго. — Ильич меня потом несколько раз спрашивал: с пьянкой дело иметь прекратили, товарищ Орджоникидзе? А Коба знает, какой из меня питух! Кому вот понадобилось только меня в выпивохи записывать!

На мгновение за столом воцарилась пауза, но Сталин, засмеявшись, вдруг вспомнил, как Ильич запугивал им семейство Шмитов. Молодой фабрикант Николай Шмит весной 1907-го умер в Бутырьках, завещав наследство партии.

— История темная, потому что его давно уже пасла контрразведка Ильича, вытягивая из него деньги. Кстати, на его деньги закупалось оружие для бое-

виков, участвовавших в восстании 1905 года. Его за это и сунули в Бутырку, опять же, кто донес — неизвестно. И вдруг он умирает, оставляет завещание, что передает Ленину и его партии 800 тысяч золотых франков. Радостный Ленин посылает в Россию адвоката, чтобы тот уладил дело о наследстве и получил деньги, но адвокат, продувная бестия, быстро смекнул свою выгоду, женился на старшей сестре Шмита, а по закону, коли у старшей появляется муж, значит, завещание теряет силу.

Этот адвокатишка, понимая, что мы будем требовать свое, треть состояния все же отдал. Но Ильич, возмущившись таким вероломством, послал к Шмитам Таратуту...

— Виктора, — подсказал Орджоникидзе.

— Виктор — это была его кличка, а как звали его, я уж не помню. Ильич о нем говорил: «Таратута — подлец, который тем и хорош, что на все способен». И тот быстро все раскрутил. Подкатился в младшей сестре Шмита, стал ее любовником, проник таким способом в семью и в один из вечеров мне говорит: сегодня пойдем к Шмитам, ты сядешь за стол, сиди, ешь и молчи. А до этого он мне бриться не давал, чтоб я погуще щетиной зарос. Сиди, говорит, и глазами сверкай позлее, а когда жаркое подадут, выгаци свой кинжал, отрежь им половину куска мяса для себя и воткни кинжал в стол. Не смотри, что скатерть, втыкай и все, а потом ешь, громко чавкай и выгирай руки о скатерть. Он раза три мне это повторил. Ну, раз просьба Ильича, я прихожу, и все в точности исполняю, чем навожу дикий ужас на все почтенное семейство. А уж после того, как я воткнул кинжал в стол, все просто оцепенели и к мясу не притронулись!

Коба засмеялся, а с ним вместе гыкнул и Ворошилов.

— А этот Таратута на фоне такого моего поведения и говорит адвокату и его дочерям, что если все денежки они в точности не возвратят, то группа грузинских боевиков, членов партии, их всех, как свиной, перережет, — оскалился Коба. — Тихо так говорит, и кофеек интеллигентно попивает. Допил он кофеек, встает и говорит: пошли, Коба. Ну, я двинулся за ним. В прихожей он и говорит мне: ты кинжал забыл! Я чертыхнулся, врываюсь в гостиную, а барышни, увидев снова меня, завопили как резаные, словно сейчас все угрозы и свершатся. Старшая из сестер, хозяйка стола, даже в обморок брякнулась. Я закричал: «Ти-ха!» Они смолкли. Я не спеша вытащил кинжал, вытер его о французские кружева скатерти и ушел...

Коба умолк, допил вино в бокале.

— А что с деньгами-то? — спросил Каганович.

— А как думаешь, если Кобу к такому делу подключают? — не без гордости спросил Сталин. — Конечно, отдали все до копеечки. И сверх того приплатили.

— Где бы нам такого фабриканта найти! — вздохнул Каганович.

— Ищи! Кто ищет, тот всегда найдет, как сказано в Евангелии! — весело отозвался Коба. — А вот почему наш Серго на Кырыча обиделся, интересно?

Все уже забыли эту реплику Орджоникидзе и теперь закружили головами: какая еще у Серго обида на Кырыча?

— Да это пустяки! — отмахнулся Серго.

— Нет, уж ты расскажи, нам интересно! — стал настаивать Коба.

— Да ну, тут и рассказывать нечего, — проговорил Серго. — Приезжает ко мне его председатель горисполкома, я готовлюсь посвятить ему целый день, чтобы обсудить все вопросы по тяжмашу, мои

работники пишут мне тысячу справок, характеристик, проделывают гигантскую работу, а когда все готово, я говорю: где посланец моего друга Кирова? А мои секретари отвечают: уехал обратно в Ленинград. Я звоню туда, думаю, что-то случилось, горе у человека большое, что еще могло сорвать столь важную встречу, а предленсовета мне отвечает: Киров отозвал. Почему, спрашиваю. Молчание. Звоню Кирову. А он мне: нечего ему штаны у тебя в приемной просиживать. За два дня ты моего человека принять не смог! Я так обиделся, честное слово!

Киров заулыбался.

— Он еще и улыбается! — Орджоникидзе кивнул на друга. — Но я же все объяснил твоему исполкомовцу. Один день у меня была коллегия, я не мог ее отменить, мои замы месяц к ней готовились, а во второй день нагрянули Магнитка и Запсиб, люди приехали черт-те откуда да по чрезвычайному поводу. А ты тут амбиции свои развел. Так же нельзя!

— Ну, хватит, мы уже все выяснили! — весело отмахнулся Киров.

— А-а, не нравится, когда правду говорят! — рассмеялся Орджоникидзе.

— Хорошая кабанинка, слушай! — пробуя мясо, похвалил Сталин, и все, как по команде, стали нахваливать охотничий трофей Кирова.

— А мы с Кобой уже сотню лет на охоту не ездили, — пожаловался Ворошилов. — Так и жизнь пройдет...

Появился Паукер. Незаметно сел в конце стола, поглядывая на Хозяина и ожидая его заветного знака. Но Сталин не торопился выпускать своего любимчика. Попробовав мяса и выпив еще по бокалу вина, на этот раз за мудрого и хлебосольного Хозяина, гости закурили, снова перешли на дела. Каганович похвастался, что к началу следующего года в Москве пустят

метро, и первая его очередь в одиннадцать километров свяжет Сокольники со Свердловской площадью, а от нее три с половиной километра пойдет до Крымской площади и еще два километра до Смоленки. И от центра до парка Сокольники можно будет доехать не за час, как сейчас на трамвае, а за пятнадцать минут. И еще они утрут нос англичанам как первостроителям метро: советские станции будут отделаны уральским мрамором, гранитом и бронзой и напоминать богатые царские залы, с пышной лепниной плафонов, большими, в человеческий рост скульптурами, разноцветной мозаикой и живописными росписями.

— Это будет настоящий город солнца, но только под землей! Мы будем спускаться туда, как в музей искусств! Широкие просторные станции, светлые подземные переходы с одной линии на другую, наземный транспорт будет ненужен, наверху будут чистые зеленые улицы для пешеходов и редких общественных автомобилей! Пусть все видят, что такое Советский Союз, первая страна социализма! — вдохновенно проговорил Каганович, и ему даже заплодировали. — Так выпьем же за наше советское метро, я бы даже сказал, сталинское метро...

— Кагановичевское, — вставил Сталин.

— Кагановичевское не звучит, Коба, — с грустью заметил Лазарь Моисеевич, — а вот «сталинское» звучит! Выпьем за сталинское метро и, как говорят мои метростроевцы, чтоб нигде над нами не капало!

Они дружно все выпили.

21

Стало темнеть, и Коба всех пригласил с веранды в дом, где в большой столовой был накрыт уже другой стол с разносолами — грибками, соленой капустой, маринованным чесноком и черемшой, лобио, сациви и непременною селедкой «габельбиссен», а к ней Паукер принес и запотевший со льда графинчик с водочкой.

После двух-трех рюмок водки застольные разговоры снова забурили, Ворошилов сговаривал Кирова и Кобу втроем отправиться на его дачу поохотиться, посидеть с удочкой. Там у него и речка, и озерцо, и даже банька имеется.

Сталин, почувствовав, что теряется нить общего разговора за столом, наконец выпустил и Паукера. Последний словно ждал этой минуты и, поднявшись, грубо картавя, продемонстрировал покаянную речь Зиновьева на съезде, перемежая коровьи слезы с выкриками в честь Сталина и шепча на ухо воображаемому Леве Каменеву, какой Коба негодяй, захвативший в свои руки всю кремлевскую власть. Вот Зиновьев быстро бы навел в Кремле драконовский порядок. Все смеялись. Уж очень ловко получалась у Паукера зиновьевская дрожащая интонация в голосе, его запинки и обмолвки.

— Коба — самый великий, самый лучший, самый высокий среди нас, я, правда, чуть выше вымахал, но

извини, что поделаешь, хорошо кушал в детстве, но ты все равно лучше кушал, я знаю, хоть и не видел. Слушай, Хайм, ой извини, Коба, я все время о другом думаю, как бы тебя спихн..., ой не то хотел сказать, как бы тебя в спину... ой, слова не те вырываются. Давлю их, а они вырываются, собаки проклятые, слушай, Коба, вот как перед Корми-дерьмом, то есть, Коминтерном говорю, ничего не скрывая, никаких тайных мыслей: не хочешь отдавать Кремль, отдай взад Ленинград, я хоть там умру среди свояков, питерских беляков, а, Коба? И мирно разойдемся по нашим фракциям, а чо тут смешного, не понимаю, товарищи, я искренне все говорю, как высланный тобой Лева Троцкий завещал...

— Он же Бронштейн! — смеясь, вставил Сталин.

— Или как Лев Борисыч Каменев мне советовал...

— Он же Розенфельд, — выкрикнул Коба, и у них с Паукером выходил занятный дуэт.

— У меня было время, товарищи, — без запинок продолжал Карлуша, — я все понял, все осознал, дорогие мои, можете теперь верить Грише Распутину, ой не то говорю, не туда заворачиваю, но все равно я же лучший и самый умный! Да из меня не один, а целых четыре вождя получится! Один Аппель, другой Баум, третий Радо, а четвертый — Мысльский! Ну чего вы не кричите: «Да здравствует Гриша Зиновьев — самый великий засранец нерабочего класса!» Кричите, улюлюкайте, свистите! Громче, я же глухой, братцы, все равно не слышу! Кричите! Кричите! — комикуя, делая разные глупые рожи, бурно жестикулируя руками, подражая Зиновьеву, выступал как бы на трибуне съезда Паукер, и Сталин смеялся до слез, а Ворошилов даже упал со стула.

Смеялся и Киров, но больше оттого, что смеялись все за столом. Один Серго лишь усмехался в усы, не видя в этом ничего смешного. Потом Паукер пере-

шел на анекдоты и снова сорвал бурные аплодисменты, ловко их обыгрывая.

— Да его в театре за деньги надо показывать! — утирая слезы, повторял Ворошилов.

Подняв настроение, Сталин провозгласил тост за партию, которая из простого военнопленного венгра, занесенного шальными ветрами в Советскую республику, выковала стойкого и разностороннего бойца за новую жизнь. Каганович, подхватив этот тост, развил его дальше через Ленина к Сталину, который и есть сегодня знамя всей партии. Коба попробовал было возразить, но Кагановича поддержали. Тогда Сталин дал знак Паукеру, и тот быстро принес большой рог.

— Если уж хочешь выпить за меня, то тогда полный рог, как это делает настоящий джигит на Кавказе, желая выказать большое уважение хозяину дома!

— Мы все готовы выпить по рогу! — закричал Ворошилов, и Паукер принес еще пять больших рогов.

Орджоникидзе запротестовал, но Сталин, ухватившись за слова Ворошилова, настоял на своем. Всем пришлось пить из рогов по полтора литра «Хванчкары», даже Молотову, который уже нетвердо держался на ногах, объясняя, что не успел сегодня пообедать. Но и для него не сделали исключения.

Ворошилов, выпив свой рог, выскочил из-за стола и начал отплясывать «барыню», постепенно убыстряя темп, потом пошел вприсядку, выкидывая столь замысловатые коленца, что соблазнил и Кагановича, затопавшего ногами вокруг него. Все дружно прихлопывали, выйдя из-за стола и включившись в эту азартную плясовую, подпевая сами себе. Даже Киров, вытащив платочек, прошелся по кругу, а Серго неожиданно начал лезгинку, и все стали изображать гордых джигитов. Сталин радовался, как ребенок, этому общему веселью. Каганович и его хотел

выгащить на лезгинку, но Коба, дрыгнув пару раз ногами, сконфузился и сел на место. Паукер притащил патефон, поставил снова «Барыню», но все уже выдохлись, замахали руками: «Хватит, хватит!» Махнул рукой и Сталин, Паукер остановил патефон.

— За дружную плясовую дружину Политбюро! — провозгласил Сталин и первым поднял большой рог. Пришлось пить из рогов и остальным — таков был кавказский порядок.

В три часа утра стали разъезжаться. Киров со Сталиным проводили гостей, вернулись в дом, где стол уже был накрыт на двоих. Возвышались вазы с виноградом, персиками, гранатами, апельсинами и стояли непочатые бутылки вина.

Сталин, кроме последнего рога, за столом пил мало, два-три бокала вина, не больше, а от водки вообще отказался, хотя строго следил за всеми, заставляя осушать сосуды до дна, особенно во время тостов.

— Давай поговорим, а то с этой суетой даже словом не перемолвились, — предложил он. — Как там настроение у людей, что говорят о съезде? — он наполнил бокалы, закурил трубку. — А то мне шпот одни победные реляции с мест, больше занимаются самовосхвалением, а реальной картины из этих записок не складывается.

Киров рассказал о своих встречах с людьми, о своем выступлении на заводской партконференции, о разговорах с рабочими в кулуарах.

— Я почему эти проклятые склады и вскрыл, — сказал он. — Кричим: «Ура, да здравствует съезд победителей», а приехал на завод, рабочие в лицо бросают, что жрать нечего, по карточкам ничего не дают, мол, какие вы к черту победители!

— Что, так и говорят? — побледнел Сталин.

— Так и говорят, Коба, — признался Киров. — И

похлеще еще слова находят. Вот я получил недавно письмо...

Он достал из кармана листок, передал Сталину.

«Т-щ Киров! — прочитал про себя Коба. — Я решил тебе написать, именно тебе, нужно бы написать Сталину, но ему письмо не дойдет. Неужели Вы все руководители не видите, что ведете страну к гибели и все октябрьские завоевания могут пойти на смарку? Рабочие и служащие голодают, процветает спекуляция, тысячи людей маются каждый день в длинных очередях, чтоб купить грубую пайку хлеба и не умереть с голода. Хорошо живут только спекулянты, лишенцы, жулики. Они живут так же, как стоящие у власти вожди, имея хорошее снабжение и все дефицитное. Ленин бы этого никогда не допустил, и партия, особенно головка, недостойна произносить имя Ленина... Посмотрите торговые организации, из них половину нужно перестрелять при жизни... Фамилии своей не подпишу, боюсь как лозунгщика тебя».

Сталин помрачнел, отдал письмо Кирову.

— Клеветник, которого я бы, не задумываясь, поставил к стенке! — зло сказал он. — Поэтому и подписать побоялся. Отдай Медведю, пусть разыщет этого негодяя и пристрелит как собаку!

— Есть и такие, что не скрывают своих фамилий, — проговорил Киров. Он передал Кобе еще несколько писем.

«У нас всякому человеку, пытающемуся сказать хоть долю истины о деревне, пришивают кулацкий уклон, наша печать так безбожно ведет обман общественного мнения, что по ее — «деревня в цвету»... За время пребывания моего в деревне я видел действительно не прогресс, а, как принято говорить, деградацию сельского хозяйства...»

«Рабочие недовольны политикой партии. Мотивы

недовольства: голод, займы и как вывод из общих настроений — уничтожили людей, которые кормили рабочий класс, тех, кого теперь презрительно называют кулаком...»

— Помощник командира 34-го отдельного артдивизиона Рязанцев, Баку, — прочитал Сталин подпись под первым письмом, — и слушатель областной высшей колхозной школы Кочуро... Что ж, надо разобратсья всерьез с товарищами Рязанцевым и Кочуро, — глядя в одну точку, задумчиво проговорил Сталин. — Вот наша беспомощность! — Сталин бросил письма на стол, придавил их кулаком. — Они нам уже в глаза плюют, а мы только утираемся! — гневно бросил он Кирову. — Армия, высшая колхозная школа! Они, как тараканы, лезут во все щели с легкой руки нашей же оппозиции, кого мы до сих пор гладили по головке. А надо палкой бить по рукам, как учил Ленин, по морде до крови вот за одни такие письма!

— Но они пишут правду, Коба, — мягко возразил Киров. — Мы-то с тобой должны это понимать.

Сталин, оторвав взгляд от писем, удивленно взглянул на друга, точно услышал из его уст жуткую крамолу.

— Нам надо сейчас все силы бросить на решение продовольственных задач, отменить карточки, наполнить магазины разными и желательнo недорогими товарами. И не только продуктами. Может быть, стоит увеличить импортные поставки, тут нужно все серьезно продумать, но мы должны реально, через магазин, прилавок, показать людям, что мы победили, что год от года будет все лучше и лучше! Семнадцать лет мы народу говорили: подождите, все будет, потерпите, мы всего добьемся. Вот разобьем внешнюю контрреволюцию, беляков, вот победим внутреннего врага, внутреннюю оппозицию, и вот нако-

нец победили. Я так всем и говорю: все, мы победили! Товарищ Сталин на семнадцатом съезде сказал: больше бить некого! А значит, вы увидите, как отныне с каждым днем мы будем жить лучше, жить веселее! Вы сами все увидите!.. И они должны увидеть, Коба!..

— Это ты хорошо сказал: будем жить лучше, жить веселее, — заметил Сталин. — Только я бы немного поправил: жить стало лучше, жить стало веселее, — он пригубил вина, взял виноградинку, разжевал.

Паукер вошел на цыпочках, принес бутерброды с красной рыбой и икрой. Поставил блюдо и так же тихо ушел.

— А то, что твои рабочие и отдельные слушатели не хотят этого замечать, весьма прискорбно, — Сталин поднялся, разжег трубку, заходил по комнате. — А хуже всего то, что они своим гнилым зиновьевским душком заражают остальных. И если не выжечь каленым железом всю эту заразу сейчас, немедленно, то завтра они пойдут громить лавки и магазины, хотя там всего будет вдоволь. Вот почему нам так важно до конца, до основания разбить этих пораженцев, уничтожить не только их, но и тех, кого они уже успели взрастить!

— Но Коба, они отчасти правы... — попробовал было снова возразить Киров, но Сталин тотчас его перебил, ударив кулаком по столу.

— Нет! И еще раз нет! Ведь мы же не бунтуем! И тысячи других не бунтуют, не кроют нас последними словами, не называют лозунгщиками, не кричат, что мы злодеи, уничтожившие кулака, который кормил рабочих, а считают нас победителями! Кто так кричит сегодня, тот явный или скрытый троцкист и льет воду на мельницу зиновьевско-бухаринской банде, которой бы очень хотелось, чтоб мы проиграли! —

темпераментно и жестко заговорил Сталин. — Мы слишком расслабились и многое стали позволять этим горлопанам, слишком рано начали играть в демократию, в то время как на повестке дня остается пока один лозунг — диктатура пролетариата! И чтобы не было никаких заблуждений, скажу, как понимал эти слова Ленин. Он говорил: диктатура пролетариата — это диктатура партии, которая его олицетворяет, диктатура ЦК и Политбюро, которые эту партию представляют, а в конечном счете — это диктатура вождя. Поэтому никаких заигрываний и дискуссий с подобными элементами быть не может! Мы будем разговаривать с ними языком жесткого диктата, языком ультиматума, языком репрессий в конце концов! Если враг не сдастся — его уничтожают! Кто сказал?

— Максим Горький, — ответил Киров.

— Правильно! Большой и всемирно признанный писатель, инженер человеческих душ!.. Последнее я уже придумал. Хорошо звучит: инженер человеческих душ? — не без гордости спросил Коба.

— Да, прямо в точку, — согласился Киров.

— Давай, чтобы у нас всегда с тобой было в самую точку! — Сталин поднял бокал, они чокнулись и выпили. — Ты мягкий, добрый человек, но сегодня быть добрым — преступно! Сегодня, как и в семнадцатом, один вопрос на повестке дня: кто — кого! Мы их или они нас!

— Но кого «их», Коба? — не понял Киров. — Это же наши люди, советские! Те, кто был против, погибли в гражданскую или уехали за кордон. Остались те, кто верит и поддерживает нас...

— Эти в нас верят?! — Сталин ткнул пальцем в письма. — Опомнись, что ты говоришь! — вскричал он, и Киров замолчал. — Да, мы разбили тех, кто имел мужество признаться в своей ненависти к нам! Я таких людей уважаю! А эти, — он снова указал на

письма, — ненавидели украдкой, под одеялом, и сейчас ненавидят, стремясь вредить исподтишка, растлевать, насаждать неверие, разрушать авторитет партии и ее вождей! Скрытый враг хуже явного, гласит народная мудрость, поэтому их надо уничтожать без раздумий и всяких там чувствительных колебаний! Вот я и хочу, чтоб мы с тобой этим занялись не дожидаясь, пока они нам выстрелят в спину!

Сталин допил вино. Киров был подавлен. Коба, заметив его хмурое настроение, неожиданно улыбнулся.

— Ладно, не будем горячиться!.. — он взглянул на часы. — Четыре часа утра! А сна как не было, так и нет! У нас всегда так: как выпьем, так только о делах. Как Мария Львовна себя чувствует?

— Да все бессонница ее одолевает, в санаторий собирается.

— У меня тоже бессонница, — признался Сталин. — Такая прорва дел, что до утра лежишь, перемалываешь и уснуть никак не можешь. Ты-то сам как?

— Я-то нормально, — улыбнулся Киров.

— Вот и хорошо! Надо тебя быстрее перетаскивать в Москву и запрягать! — усмехнулся он, поднимаясь из-за стола. — Тебе наверху там постелили. Давай отдохнем... Я тут Лаврентию выдал по первое число за звонок твоему Медведю! Родственники этого сумасшедшего отравителя — друзья его приятелей, а в Грузии, сам знаешь, одного друга имеешь, и вся Грузия в друзьях. Ну и умолили, чтоб он позвонил, вернул этого сумасшедшего обратно в лечебницу. Тебе ведь Медведь докладывал об этой истории?..

— Что-то говорил, я уже не помню, — пожал плечами Киров. — Там отравление какое-то предполагалось?

— Да, нафангазировал себе безумную любовь, о

которой ему рассказывал врач, а его отбрили: там муж, дети...

— Что-то такое было, — усмехнулся Киров.

— Ну и хорошо, спокойной ночи! — улыбнулся Сталин.

Киров лег спать, но сна не было. Наоборот, он так был возбужден, что не выдержал, достал папиросы, открыл окно и закурил.

Уже всходило солнце и стало совсем светло. На траве лежала роса, и где-то рядом громогласно кричал петух. Кирова поразило, как ловко Сталин сплел Зиновьева и Бухарина в одну банду, хотя именно Бухарин помогал Кобе громить Каменева и Зиновьева. И это его разъяснение относительно лозунга «диктатура пролетариата». Ленин действительно так говорил, Киров это помнил, но тогда была революция, потом гражданская война, обстоятельства чрезвычайные, когда сама обстановка требовала, чтобы власть была сосредоточена в одних руках. Неужели Советская власть рассчитана только на «чрезвычайку»? На вождизм и диктат одного? Да еще если этот один болен, то...

Киров не стал фантазировать дальше. Докурил папиросу и лег в кровать, оставив окно открытым. Но сна все равно не было.

Он вспомнил Аглаю. Они говорили около часа, точнее, говорила она, а Киров больше слушал.

— О н сам понимает, что болен, недаром просил у Владимира Михайловича лекарства. О н только не понимает, что это не совсем обычная болезнь, это не грипп, который проходит, это о н сам раздваивается, и кто-то другой, не очень пока е м у понятный, начинает забирать над н и м власть. Это, наверное, жуткое ощущение, которое и рождает страх, и поборо́ть его простой гимнастикой или обтиранием по утрам невозможно. Впрочем, нам это даже понять

или представить себе трудно. Бехтерев бы мог его вылечить, но Владимира Михайловича нет. А мы для него два навозных копошащихся жучка, которых он хочет раздавить. И он это сделает рано или поздно... — голос ее дрогнул, она тяжело задышала, взялась за платок, но сумела удержаться от слез. — Поэтому нам остается одно: бежать, пока этого не случилось, бежать ради детей, которые ни в чем не виноваты. И я только хочу, чтобы вы помогли, нет, посоветовали, как это лучше сделать. Конечно же нам надо бежать за границу, потому что здесь все подвластно ему, и он нас везде найдет. Как нам поскорее уехать отсюда?..

Не дождавшись ответа, Аглая снова заговорила:

— Я могу взять справку, что я больна, и поехать на консультацию куда-нибудь за границу, или Виталий мог бы съездить в научную командировку, но документы надо оформлять через Москву, делать запрос через наркомат, ведь так?

Киров кивнул.

— Но там наверняка уже отслеживают наши фамилии да и потом, как быть с детьми? Мы, собственно, ради них все это и делаем. Просто заколдованный круг, и я не знаю, как из него выбраться. Здесь рядом Финляндия, совсем рядом, а оттуда легко было бы перебраться в Европу, но как выбраться туда?..

Она с мольбой посмотрела на него, но Киров пожал плечами.

— Я понимаю, вы не можете отдать приказ, чтобы нас пропустили через границу, это не в вашей власти. Я даже узнавала: есть люди, которые берутся переправить в Финляндию, но как только они услышали, что двое маленьких детей, так сразу же отказались. Что нам делать, я не знаю...

Аглая не выдержала и заплакала. Она плакала

беззвучно, зажимая платком рот, чтобы никто в приемной не услышал ее плача.

— Простите, я сейчас успокоюсь, просто уже нервы... сапожник без сапог, лечу других, а сама как мокрая курица...

Она поднялась, налила воды из графина, сделала несколько глотков, прошла по кабинету. Киров понимал, что от него ждут конкретной помощи, но как он мог им помочь? Позвонить Медведю и попросить, чтоб их пропустили через границу? Помог сфабриковать заграничные паспорта? Но ни того ни другого он сделать не в состоянии. Медведь, несмотря на всю их дружбу, откажется пойти на такое. Если кто-нибудь про это узнает, его сразу же поставят к стенке. А сообщить рапортом в Москву может любой солдат-пограничник. По логике вещей Киров должен был немедленно подняться, уйти и тут же заявить об этом тому же Филиппу Демьяновичу. Если в этом кабинете есть слуховое окошко (а такие были в некоторых кабинетах, Киров знал об этом), то уж он точно тогда подвергает себя смертельной опасности. Но Пылаев — старый конспиратор, и он как-то сказал Кирову, что в этом плане его кабинет задраен наглухо со всех сторон. Киров вспомнил: это было, когда он говорил с ним о переводе Мильды.

Аглая немного успокоилась, села на стул.

— Я, к сожалению, ничем вам помочь не могу в данном вопросе, — тихо сказал он. — Да и вы сами это понимаете. Я могу попросить наши органы, чтобы они посматривали за вашим домом, квартирой, это максимум, что я могу. А давать советы в вашей ситуации затруднительно. Хотя я еще раз могу повторить, что вы преувеличиваете опасность, вам грозящую. Слишком преувеличиваете.

— Я бы тоже так хотела думать, — вздохнула она. — Ах, как бы я хотела так думать! И если б это

было так! Поверьте, я была бы самым счастливым человеком сегодня в этой стране.

Она поднялась.

— Спасибо за то, что не отказались со мной встретиться, — Аглая грустно улыбнулась. — Я видела вас на портретах, на трибуне, и вот теперь очень близко. Вы мягкий, добрый человек...

— Ну, это не совсем так, — возразил он.

— Человек, который умеет любить, не может быть злым, поверьте мне как врачу-невропатологу. И еще у меня одна просьба: если с нами что-то случится, то пусть наших детей заберут мои родители, не отдавайте их в детдом!

Она посмотрела на него таким пронзительным и умоляющим взглядом, что Киров кивнул утвердительно в ответ на ее просьбу.

— Спасибо! — Аглая быстрым шагом вышла из кабинета, а Киров еще минут пять неподвижно сидел у стола, не в силах подняться и выйти следом. Но самое невероятное заключалось в том, что он п о в е р и л всему, что сказала Аглая. Была в ее словах странная и страшная правда, в которую нельзя было не поверить, ибо нельзя было так лгать, таким душераздирающим душевным шепотом, от которого у него даже заломило в висках. Киров молчал, чувствуя себя немым, окаменевшим свидетелем этой правды. Он хорошо представлял ту опасность, о которой твердила Аглая, ибо чувствовал: стоит ему сделать шаг навстречу Ганиным, и он сам станет мишенью. Но он не хотел и отступать назад, становиться заодно с убийцами. Да, он подписывал огэпэушные списки, зная, что после его подписи людей отправляли в лагерь и ставили к стенке. Он ничего не сделал, чтобы спасти некоторых ленинградских историков и военных. Он мог лишь сказать, что в Москве аресто-

вывали больше, а здесь, в Ленинграде, он, как мог, сдерживал этот вал.

История с Ганиными внесла сумятицу в его душу. Это было похоже на болезнь. Его ломало, корежило, он хотел забыть о них, но не мог. Аглая и Кирова заставила ощутить свою боль, свои адовы страдания.

Возвращаясь в обком, он попросил шофера свернуть к набережной, вышел из машины и долго стоял на берегу Невы. Дул холодный северный ветер, и за полчаса всю боль выдуло. Остался лишь осколочек страха, засевший в сердце.

Киров и сейчас, лежа в постели на даче Сталина, ощущал этот страх. Сергей Миронович не боялся Сталина, который кашлял там, внизу, в своей спальне и тоже не мог заснуть, не боялся краснотуберкулезного Паукера, ни мрачного, с тяжелым давящим взглядом Генриха Ягоду, ни его подручных. Они все были люди, кто лучше, кто хуже, в зависимости от обстоятельств, но то, о чем говорила Аглая, не имело ничего общего с человеческим обликом. У призрака, боровшегося с Ганиными, не было лица и фигуры. Это был о н, безличное, почти неодушевленное существо. Бесформенный и летучий как эфир, о н, вторгаясь в живую природу, мгновенно ее замораживал, принимаясь крошить бессмертную душу в осколки, которые уже ничем нельзя было склеить.

Наверное, это и был страх, только самый отчаянный и безысходный.

22

В эти утренние часы не спал и Сталин. Его мучил не кашель, который он быстро унял, выпив сладкого травяного настоя, его мучила внезапно открывшаяся ложь Кирова. Спрашивая о звонке Берии Медведю, Сталин прекрасно знал, что Киров встречался с женой Ганина, Аглаей Федоровной, Сталин даже запомнил ее имя. Правда, сведения были не совсем точные. Шуга, наблюдавший ранее за Кировым и Мильдой, получил недавно от Кобы новое срочное задание: ослабить внимание к Мильде и Кирову и собрать максимально полные данные о круге знакомых семейства Ганиных.

Перед отъездом в Зубалово Поскребышев передал второе донесение агента, которое насторожило Сталина. Шуга писал, что в тот день он наблюдал за Белочкой, так он назвал Ганину, записывая, кто входил к ней на прием, сколько времени тот или иной пациент проводил в ее кабинете, чтобы вывести закономерность, норму разового осмотра и потом фиксировать все отклонения от него. Еще ранее, наблюдая за Кировым, Шуга дал ему кличку Ремонтник. Сталину она понравилась, потому что Киров понемногу старался все подремонтировать на свой лад. Сталин поругается с кем-то, а Киров тут же его «ремонтирует», успокаивает, дает советы. И у себя в Ленинграде он столько уже наремонтировал в про-

мышленном и партийном хозяйствах, что Сталину легче все заново потом отстроить. Поэтому Коба и старался перетащить его в Москву. Здесь отремонтировать ему никто ничего не даст. Здесь все уже построено им, Хозяином. Секретариат Кирова под стать Ремонтнику Шуга называл вал Мастерской.

«В обеденный перерыв Белочка вышла из кабинета, но направилась не в столовую, а поднялась на второй этаж главного здания, где находились кабинеты уполномоченного наркомата тяжелой промышленности Пылаева, начальника управления Чугуева и других ответственных лиц. Она свернула в коридор, ведущий к этим кабинетам. Я, соблюдая положенную дистанцию, но не теряя ее из виду, пошел за ней. Но едва я вошел в коридор, который вел к пылаевскому кабинету, как меня тотчас остановили два личных охранника Ремонтника, выросшие передо мной как из-под земли. Я даже восхитился такой прекрасной вышколенностью. Они потребовали предъявить документы. Я показал паспорт. Посмотрев его, они спросили, куда я направляюсь. Я сказал, что хотел бы записаться на прием к Георгию Ивановичу Пылаеву. Охранники попросили меня прийти к нему через час, заявив, что в данное время он занят.

Я не придал никакого значения этому факту: встреча Ремонтника с Пылаевым сама по себе обыкновенна, хотя яйцо к курице не ходит. Пылаев обязан являться к Ремонтнику по первому же его требованию, но коли все восхищаются великой простотой хозяина ремонтных работ, то я не заподозрил в этом особого умысла...»

Натолкнувшись на выражение «хозяин ремонтных работ», Коба нахмурился и даже прервал чтение шифровки. Он не любил, когда кого-то, кроме него, тоже называли хозяином, пусть и с маленькой буквы и в сочетании со словами «ремонтные работы». Хо-

зяин в этой стране один, а хозяйчиков может быть много. Но Шуга был не силен в русском языке, и Коба простил ему использование такого слова не по назначению.

«Я решил найти Чугуева, чтобы с его помощью попытаться преодолеть заградительный кордон и узнать, куда же направилась Белочка. Он мог быть в своей столовой, и я направился туда. Заглянув в зал и отыскав глазами Чугуева, я обомлел: с ним за одним столом сидел Пылаев. Войти в зал я не мог, так как не имел соответствующего пропуска, и мне оставалось только дожидаться окончания их обеда. Я прождал ровно тридцать три минуты. Они, как назло, разговорились и не торопились выходить оттуда. Наконец оба вышли. Я знаком подозвал Чугуева и объяснил, что забыл у него позавчера одну тетрадь для записей. Чугуев предложил мне подняться к нему в кабинет. Мы поднялись на второй этаж, но ни охраны, ни Ремонтника, ни Белочки там уже не было. Я выглянул в окно: у подъезда уже не было и машины Ремонтника. Я, не найдя своей тетради в кабинете Чугуева и извинившись перед ним, бегом побежал на медицинский этаж. Белочка была в своем кабинете и принимала пациентов.

Не могу утверждать, что она встречалась именно с Ремонтником, но наличие таких совпадений настоятельно меня, и я счел своим долгом указать на них. Я вернулся к Чугуеву, спросил его, видел ли он Ремонтника. Начупртяжмаша очень удивился моему сообщению о том, что Ремонтник был здесь полчаса назад. Он так этим обеспокоился, что даже хотел звонить по знакомым ему телефонам и все разузнать. Я сказал, что, видимо, обознался, но он все же позвонил в Мастерскую, и там ему сказали, что Ремонтник отъезжал домой пообедать и никакой поездки в управление им не планировалось. Чугуев даже по-

смеялся надо мной, но охранников я видел самолично, не могли же они развлекаться таким образом без хозяина...»

Коба, снова наткнувшись на это слово, даже выругался по-грузински.

— Остолоп! — проговорил он вслух, и в кабинет заглянул Поскребышев, удивленный тем, что Сталин сидит за своим столом, в то время как его все ждут во дворе, чтобы ехать в Зубалово.

Коба махнул рукой, и Поскребышев исчез за дверью.

«К сожалению, Хромой уже не работает в Мастерской, и я не смог выяснить, куда отъезжал Ремонтник, а расспрашивать других владельцев кабинетов на этом этаже не стал, чтобы не привлекать внимания. Хватит мне и чугуевского переполоха. Еще одна неприятная новость. Ремонтник в нашу спальню перевел своих охранников якобы по их просьбе, и мои гургурчики лопнули.

Буду ждать ваших распоряжений. Можно будет воспользоваться отпуском Ремонтника и возобновить гургурчики, но по этому поводу я пришлю вам свой план и скажу сразу, что осуществить его будет нелегко. Но решать вам. Мое предположение относительно встречи Белочки и Ремонтника вполне может быть моим воспаленным бредом, поэтому никаких выводов не делаю, а изложил лишь последовательно чистые факты».

Сталин несколько раз перечитал донесение и встревожился, вспомнив разговор с Берией. Этот хоть и дурак, но нюх у него, как у хорошей гончей. А Берия упомянул имя Кирова. Вот уж сюрприз так сюрприз. Жалко только, что все это размыто, ни у кого нет уверенности. А догадки для нежных барышень: на них раз посмотришь, они считают, что ты уже по уши влюбился. Кобе нужны железные факты.

По догадкам в этой стране каждый второй контра и его надо к стенке ставить. Но провал с Хромьм, которого Киров почему-то перебросил на другую работу, неожиданная поимка Мжвании с поличным, встреча Кирова с Ганиной — все легко выстраивается в одну цепь. Но тогда, бегло прочитав донесение, Сталин еще не до конца дал себя убедить, что Киров мог быть замешан в этой истории: он слишком доверял ему. Да и подумать об этом ему не удалось: в кабинет заглянул перепуганный Ворошилов.

— Коба, тебе плохо? — спросил он.

— Почему мне плохо? — не понял Сталин.

— Мы уже сорок минут во дворе ждем, меня послали узнать: едем мы или нет?..

— Едем! — Коба поднялся, спрятал донесение в сейф. — Из Грузии звонили, связь дали, я не мог им сказать: звоните завтра. Очень плохая связь у нас с Грузией, надо тебе заняться этим вопросом!..

— Почему мне? — не понял Ворошилов. — Наркомат связи штурмом взять требуется? — он улыбнулся.

— Хорошая мысль, — рассмеялся Коба, — запиши! На Политбюро, когда связистов чихвостить будем, напомним!

Тогда за этими шутками он даже забыл о донесении Шуги и спросил Кирова об этой истории с отравлением больше для собственного успокоения. Но от Кобы не ускользнул испуг, промелькнувший на лице собеседника. Видимо, Киров слишком хорошо знает подробности этой истории, вот что мог означать этот испуг, а следовательно, и встреча с Ганиной у него была. Скорее всего была.

Конечно, Коба преувеличивает свои тревоги. Ну мало ли что померещилось профессору, мало ли кому он об этом рассказывал, да и мало ли что вообще болтают про него. На каждый роток не накинешь

платок, всем глотки не заткнешь, но, как говорил Владимир Ильич, стремиться к этому надо. Ах, Сергей, Сергей, чистая душа, не умеешь врать — не берись. Но, с другой стороны, и его понять можно: если эта тварь наговорила про Кобу всяких мерзостей, то Киров, как неподлый человек, хочет выбросить, отторгнуть от себя всю эту гнусь, забыть и не вспоминать. Можно и так рассудить. Но печаль в другом: Киров перестал с ним откровенничать, как раньше, делиться тайными задушевными секретами. В последних разговорах он все больше отмалчивается, слушает, а если начинает говорить, то в пику ему, Сталину, защищая каких-то уродов, которых давно надо смешать с перегноем.

Коба обезопасил себя, и на случай бегства Ганиных из страны отдал распоряжение усилить посты на советско-финской границе, а наркоматам здравоохранения, иностранных дел и ОГПУ отслеживать их фамилии по возможным официальным командировкам советских ученых за рубеж. Сложность заключалась в том, что Сталин не хотел вмешивать сюда Ремонтника, он усмехнулся, назвав Кирова про себя этой кличкой, важно было, чтоб последний вообще об этом ничего не знал.

Коба заснул часов в семь утра и проснулся в половине одиннадцатого. Он всегда просыпался в половине одиннадцатого, но ложился летом около пяти утра, когда становилось совсем светло. Ночами он по-прежнему не мог засыпать. Обычно ему хватало четырех-пяти часов сна, но сегодня он спал всего три с половиной, а кроме того, вчера все же перебрал. Тот бокал, что он выпил, разговаривая вдвоем с Кировым, был уже лишним.

Но надо было вставать. Он обещал быть в Кремле Поскребышеву, как обычно, в полдень или в половине первого. Ехать с дачи тридцать минут, но надо

умыться, позавтракать, а Сталин ничего не любил делать в спешке, впопыхах. Даже соскакивать с постели не любил, а прежде чем встать, минут десять лежал с открытыми глазами, привыкая к дневному свету. «Лучше уеду из Кремля пораньше и отдохну», — решил он.

Сталин знал, что Киров обещал днем заехать к Орджоникидзе, решить несколько вопросов для Пылаева. «Тесная у них дружба», — усмехнулся Коба. Серго обязательно потащит его на обед. Обещал быть и он. Но Коба не поедет. И прощаться с Кировым не будет. Надо, чтоб он осознал свою вину. Свою большую вину перед Кобой, который делает для него все. А Киров ведет себя не как друг. Еще не как враг, но уже не по-дружески. И бронжилет Коба дарить ему не будет — тоже с умыслом, оставляя его грудь и спину как бы уязвимыми для врага. Паукер конечно же не удержался, нашептал, какой он ловкий и шустрый, все достал за пять секунд, и попросил не говорить Кобе, он обидится. «Придунок!» — выругался вслух Коба. Он не сомневался, что Карл все растрезвонил. Что ж, Киров получит еще один повод для серьезных раздумий.

Коба медленно поднялся и сел на кровати. Голова трещала, как перезрелый арбуз. Сталин поморщился. «Вот и причина для плохого настроения, отказа от обеда и провожаний! — подумал Сталин. — Боженька сумасшедших в обиду не дает», — зло усмехнулся он.

Киров рассчитывал, что Сталин вручит ему бронежилет накануне отъезда. Коба любил сюрпризы, ему доставляло удовольствие ощущать себя и высшим судьей, и всемогущим благодетелем, видеть растерянную признательность на лицах близких ему людей, не ожидавших столь неожиданного подарка. «Это как орден Паукеру после крепкой зуботычины», — усмехнулся Киров, вспомнив историю с арестами китайцев в 1927 году. Но, уже отъехав вечером от Москвы, Сергей Миронович понял, что за эти несколько утренних часов что-то резко изменилось в сталинском отношении к нему и весьма серьезно.

Кирову и не нужен был этот немецкий бронежилет, он не собирался его носить, но сам факт внезапного отчуждения Кобы заставил его призадуматься: что могло так резко изменить их отношения? Их последний разговор на даче так повлиял на Сталина?

Но они ни о чем серьезном не говорили, Киров не раз спорил с Кобой по более серьезным вещам и возражал более резко, а вчера какой это был спор? Так, некоторые возражения, вполне безобидные. Нет, не спор о диктатуре вождя развел их в разные стороны. Тут что-то другое. Но что?

Утром они молча позавтракали, у Сталина болела голова, Киров тоже чувствовал себя скверно, поэтому он не обратил внимания, что Коба старается не смот-

реть на него, на желтые злые искорки в глазах. Долго не заводилась машина, они стояли во дворе, Коба еле сдерживал гнев, шофер испуганно суетился, бормоча, что два часа назад все проверил, мотор работал как часы. Паукер, стараясь развеселить Хозяина, сыпал анекдотами, но Сталин даже не улыбнулся. Тогда он вспомнил доклад охранников, которые увозили домой не стоявшего на ногах Молотова, то, как они на себе втаскивали его в квартиру и как злобно ругалась жена Предсовнаркома Полина Жемчужина, проклиная, между прочим, их ночные политзаседания...

Паукер выдержал паузу, посмотрев на Кобу: обратил он на эту деталь свое внимание или нет, но Сталин не обратил. Паукер продолжил живописание буйств пьяного Предсовнаркома, но Коба, любивший слушать такие пикантные истории, неожиданно грубо оборвал охранника.

— Заткнись! — прорычал он. — Ты говоришь о высшем должностном лице государства, мразь!

Паукер побледнел и за всю дальнейшую дорогу не произнес больше ни слова.

Они заехали в Кремль, Сталин прошел к себе в кабинет, а Киров заглянул в секретариат, чтобы просмотреть телеграммы, поступившие от Чудова, и проговорить со своим помощником свое расписание на будущие месяцы. Освободившись, он хотел зайти к Сталину, но у него сидела на совещании группа военных, и Киров поехал в наркомат тяжмаша, к Серго, нужно было обсудить ряд вопросов, связанных с нехваткой сырья для ленинградских заводов и сбытом продукции. Сталин позвонил сам через два часа, спросил у Кирова, где он будет обедать. Серго вырвал трубку, сказал, что Зина, его жена, уже накрывает стол, и они приглашают Кобу в свою компанию.

— У меня компания уже определилась, — ответил Сталин, — а вы посекретничайте без меня. У вас есть о чем поговорить, — многозначительно добавил он и положил трубку.

Орджоникидзе с удивлением передал Кирову ответ Сталина, Сергей Миронович снова набрал телефон Сталина, но трубку взял Поскребышев и ответил, что Сталин только что вышел из кабинета, чего быть не могло: не прошло и десяти секунд.

— Вы что, поругались после нашего отъезда? — поразился Серго.

— Да нет, мы разговаривали по поводу все той же продовольственной проблемы, правда, довольно остро, но потом мирно разошлись... — Киров развел руками. — У него утром давление подскочило, я подумал, что он от этого такой сердитый...

— Тебе нужно заезжать в Кремль?

— Попрощаться только с Кобой...

— Ладно, поехали обедать, неудобно заставлять женщину ждать! — решительно сказал Серго. — А потом заедем к Кобе.

Зинаида Гавриловна, с которой Киров был давно знаком, встретила его как родного, накормила острым харчо и цыпятами табака. За обедом они выпили две бутылки вина. Зинаида Гавриловна не без иронии удивлялась, как это Коба решился оставить Кирова одного без присмотра. Серго посмеивался над этими шутками жены, не любившей Кобу. Пить чай Серго увел Кирыча в свой кабинет. Там было тихо и уютно: большой кожаный диван, на котором удобно было сидеть, такие же широкие кресла, огромные часы в старом деревянном пенале высотой до самого потолка, с огромными стрелками и тяжелым маятником, чей шуршащий ход наполнял кабинет живым движением времени. Орджоникидзе не терпелось узнать подробности ночного разговора с Кобой,

хотя Сергей Миронович не придавал отказу Сталина пообедать с ними серьезного значения и пересказал подробности ночного спора. Орджоникидзе, выслушав друга, помрачнел.

— Это его давняя навязчивая идея: война до победного конца, — сказал Серго.

— Но с кем война?! — не понял Киров. — С павшими духом Зиновьевым и Каменевым? С тысячами рабочих, которые элементарно недоедают и хотят от нас лишь одного: просыпаясь утром, не думать, что они будут есть на ужин? С кем, Серго?

— Со всеми, — ответил Орджоникидзе. — Со всеми! И с тобой, если потребуется, и со мной!

— Но это же... — Киров хотел сказать «паранойя», но вовремя остановился. — Это же глупость!..

— Может быть, — нахмурился Серго. — Иногда мне кажется, что он прав, что мы потеряли бдительность, ведь мы единственная страна в мире, которая строит социализм, и конечно же вражеские разведки не дремлют, они отпускают немалые деньги на все эти вредительские акции, на разжигание недовольства внутри страны, и мы не должны об этом забывать, Кырыч, а иногда...

Орджоникидзе умолк, тяжело вздохнул, поднялся, налил себе и Кирову еще чаю.

— Но объясни мне: зачем, к примеру, он хочет уничтожить Бухарина? — спросил Киров.

— Ну, тут ты не прав, — твердо сказал Серго. — Ругать он его ругает, и правильно иногда ругает, но чтобы уничтожить, я думаю, дело до этого не дойдет.

— Нам надо взять под контроль ОГПУ, Серго! — предложил Киров. — Навести там порядок. Добиться того, чтобы следствие велось по всем правилам, без применения запрещенных методов: избиений, шантажа, угроз и издевательств. Мы, члены Политбюро, должны активно влиять на все стороны жизни и

особенно на те организации, от которых напрямую зависит человеческая жизнь, человеческая судьба. Ты заметил, что когда мы активно ведем себя на Политбюро, ты, я, Куйбышев, то и остальные начинают к нам прислушиваться, а в первую очередь сам Коба!

— Ты прав, — согласился Серго. — И в отношении ОГПУ, и насчет активности. Ты прав... Коба намеренно окружает себя лизоблюдами, чтобы единолично принимать решения, и сегодня только трое: ты, я и Куйбышев, могут возражать ему, но это не так уж мало. Тебе надо перебираться в Москву. Не наскоком бывать здесь, а работать каждый день. Тут Поскребышев посчитал: в 1932 году состоялось 37 заседаний Политбюро, ты был только 9 раз, в 1933-м мы заседали 25 раз, ты был на шести заседаниях, в этом году приехал лишь второй раз. Так же нельзя, дорогой Сергей Миронович, — обидчиво заметил Орджоникидзе.

— Я понимаю, — усмехнулся Киров.

— Что, весь Ленинград медом намазан?

— Ну, не весь, но кое-какие углы намазаны, — улыбнулся Киров. — Я там действительно лучше себя чувствую...

— Я бы тоже лучше себя чувствовал вдали от всех этих свар, да без тебя, видишь, плохо здесь все складывается. — Орджоникидзе посмотрел на часы и поднялся. — Время так быстро шуршит, что страшно становится. Через полчаса нам надо уже выезжать, заехать попрощаться с Кобой.

Серго вытащил из часов бутылку коньяка и приложил палец к губам, чтобы Киров не издавал ненужных криков: врачи запретили Орджоникидзе пить крепкие спиртные напитки и советовали ограничивать себя даже в легком виноградном вине из-за больного сердца. Он налил себе в маленькую, с наперсток, рюмку, а Кирову достал побольше и снова

спрятал коньяк в часы. Они подняли рюмки, несильно чокнулись, и Киров жестом показал, что пьет за Серго. Серго замахал рукой и стал тыкать пальцем в Кирова, столь энергично предлагая выпить за него, что гостю пришлось согласиться. Они выпили, и Орджоникидзе спрятал рюмки.

— Старый опыт конспирации никогда не подводит! — подмигнул Серго Кирову. — Кстати, все забываю тебе рассказать одну историю. После похорон Вячеслава заехал в ГПУ, мы хотим речи, записки, заметки Менжинского издать и выпустить отдельной книжкой, если наберется. Заехал, чтобы забрать его дневники, иду по коридору и вижу навстречу мне идет одна интересная особа. Лицо знакомое, думаю, где я ее видел, а она улыбается, останавливается. «Вот, — говорит, — делаю интервью с Петерсом, а вы сюда какими судьбами?» Я сказал, что по делам, связанным с Менжинским. Она сказала, что хочет сделать интервью со мной, я пригласил ее к себе, и мы расстались. Как ты понял, это была твоя Эля. Я бы и не вспомнил о ней, если бы не встретил тогда же Яшу Петерса и он не затащил меня к себе в кабинет. Угостил чаем с сушками, еще Дзержинский их приучил к сушкам, разговорились, он был как-то возбужден, ну я и брякнул, что посещение красивых девушек не дает воображению долго успокоиться. Он удивился, спросил, о каких девушках я говорю. Я и говорю ему:

— У тебя только была красивая журналистка, подруга Сергея Мироновича... Сказала, что интервью с тобой делает.

Он удивился, стал выпрашивать, я пересказал разговор в коридоре с Элей, обрисовал ее портрет. Он кивнул, сказал, что знает эту даму.

— Но она появляется в этих коридорах вовсе не как журналистка, — сказал Петерс. — Она работает

на нас, используя, конечно, свою профессию как прикрытие.

Тут уж настала очередь удивляться мне: «И давно она на вас работает?» — спросил я.

— Да нет, месяца два, — ответил Петерс, — но уже удивляет многих в нашей конторе. Не могу раскрывать наши секреты, но недавно расколола одного весьма уважаемого человека, на которого мы никак не могли найти компромат, а она выстригла из него такие признания, что у меня волосы встали дыбом. Поэтому передавай Сергею Мироновичу мой искренний дружеский привет и пожелания не иметь таких дам в подругах. За копейку продаст, — усмехнулся Петерс. — А потом, насколько мне известно, она сейчас Генриха обслуживает, с этой целью, видимо, и приходила. Или новое задание получала. Он ее лично опекает...

— Вот такой разговор произошел у меня с Петерсом.

Киров пожал плечами.

— Меня она, как ты понял, мало интересует, а сама история весьма занятная. Думаю, что Ягода с какой-то дальней целью ее натаскивает, — предположил Сергей Миронович.

— Да уж не без этого! — Орджоникидзе бросил взгляд на часы и поднялся. — Двух таких красавцев в знакомых имеет, одно это должно было Ягоду заинтересовать. Все, поехали, времени в обрез, если не заедем к Кобе, обида на всю жизнь!

Но в Кремле они его не застали. Поскребышев сказал, что Сталин неважно себя почувствовал и уехал в Зубалово. Киров позвонил на дачу. Дежурный, услышав, что звонит Киров, ушел и, вернувшись через мгновение, доложил, что товарищ Сталин спит, и дежурный не решился его будить, потому что Хозяин неважно себя чувствует. Трубку выхватил Па-

укер и веселым голосом сказал, что у товарища Сталина подскочило давление, но он просил передать товарищу Кирову счастливого пути и успешной работы и что он обязательно ему позвонит, как только будет себя лучше чувствовать.

Серго проводил Кирова на вокзал. В машине они молчали. Киров сидел хмурый, он был не меньше Орджоникидзе потрясен столь открытой неприязнью Сталина, проявившейся по отношению к нему впервые. По грузинским законам, которые в душе чтит Коба, это было равносильно пощечине и вызову на дуэль. Провожая Сергея до вагона и чуть оторвавшись от охранников, Орджоникидзе, сжав локоть Кирова, прошептал:

— Не переживай, это его обычные фокусы. Он то ревнует тебя ко мне, то к случайной девчонке, не выпускает из дому, то становится подчеркнута безразличен и хамовит да грубости. Он, видимо, почувствовал, что ты на стороне авторов этих писем, разделяешь их правду, а не его, вот и впал в ярость, посчитав в душе, что ты его чуть ли не предал. Не обращай внимания, с ним это частенько бывает...

— Ты говоришь так, словно он болен, и новые приступы болезни неизбежны, — усмехнулся Киров.

— Может быть, это и болезнь, — согласился Орджоникидзе. — Я уже заметил, что у него эти приступы ярой злобы на стыке смены времен года. Потом, как у всех нас, масса всяких болячек, а врачей до себя не допускает, да еще указывает им, что они должны ему говорить. Иногда по четверо суток не спит, ну куда это годится?! И постоянно нас, самых близких ему друзей, проверяет, на чьих мы баррикадах! Просто смешно иногда на все это смотреть.

— А ты на чьей стороне, Серго? — неожиданно спросил Киров.

Орджоникидзе оглянулся на охранников, кото-

рые, понимая, что двум старым друзьям надо посекретничать, деликатно сохраняли дистанцию, и, повернувшись к Кирову, ответил вопросом на вопрос:

— А что, мы уже воюем с Кобой? — Лицо Орджоникидзе вдруг превратилось в непроницаемую маску. — Он уже многое сделал для сплочения партии, много делает и сейчас и во многом оказался прав, даже в вопросе о кулаке. Ты же сам видишь, как наше сельское хозяйство резко пошло в гору, надо просто немного потерпеть, Коба прозорливее нас, поэтому будем снисходительны к отдельным его недостаткам, даже к его нетерпимости по отношению к нашим критикам, а, Сергей?..

Орджоникидзе неожиданно улыбнулся. Они сердечно простились, трижды расцеловавшись. Киров вошел в вагон, сопровождаемый охраной.

— Может быть, ты и прав, — выглянув, бросил Киров.

— А во всем остальном я с тобой! — улыбаясь, крикнул вслед тронувшемуся поезду Орджоникидзе.

Николаев торжественно положил перед собой лист сероватой чистой бумаги и написал: «Посвящается моим детям, Марксу и Леониду». Подумав, он обмакнул перо в чернильницу и размашисто, крупными буквами с легкими завитушками — ему нравились эти овальные завитушки, все крупные писатели не ленились их оставлять — вывел: «Лев Николаев. «За новую жизнь». Это будет титул. Он взял другой лист и написал: «Предисловие». Отложил ручку и задумался.

Он вознамерился оставить детям и Мильде свою подробную биографию. Толстой написал целых три тома — «Детство», «Отрочество», «Юность». У Николаева цель была скромнее: поведать подробное описание своей жизни и своих дел. Прочтут дети, будут читать внуки, правнуки. В душе он не проговаривал явно — потомки, надеясь обессмертить свое имя, но конечная цель была такая: для всех будущих поколений. С этой целью он даже взял в библиотеке «Детство» Льва Толстого, но на четвертой странице споткнулся и читать больше не стал: скучно, длинно и непонятно.

В «Предисловии» он написал коротко: «31-го мая (по нов. ст.) 1934 г. мне исполнилось ровно 30 лет, по этому поводу я даю кратко биографию своей жизни и работы на весь пройденный мною путь». Николаев подумал, что еще можно было бы доба-

вить, но так и ничего не придумав, размашисто расписался: «Лев Николаев» — с завитушками.

После того позорного изгнания из стен института он написал жалобу в районную комиссию партийного контроля с требованием снять с него строгий выговор и восстановить в институте.

Его вызвали в РКК. Сказали, что вопрос о снятии строгого выговора решит специальная комиссия, а восстановление Николаева в должности инструктора Института истории партии целиком зависит от воли директора товарища Лидака. Из комиссии звонили ему, но Лидак категорически отказался брать Николаева не только на прежнюю должность, но и вообще в институт, поэтому они помочь ему тут не в силах. Со своей же стороны, в целях оказания содействия в его трудоустройстве, они могут предложить направление на завод: требуются слесари, плотники, грузчики, разнорабочие, список большой, на разные заводы, к примеру на «Прогресс», Карла Маркса или на тот же «Красный Арсенал», где он когда-то начинал слесарем, а потом строгальщиком. Но Николаев завод сразу отверг, пытаясь втолковать контрольной комиссии, что уволили его из института несправедливо, и РКК должна за него вступить. Он у Лидака и проявлял ту самую партийную активность, остро критикуя работы некоторых историков за их политическую близорукость. Поэтому от него избавились, мобилизовав на транспорт, чего делать по строгим нормам юридического и морального права не имели, так как он белобилетник и освобожден от службы в рядах Красной Армии по состоянию здоровья.

Это первая несправедливость. Он и Терновской на это указывал, но она проигнорировала его возражения. Далее, товарищ Лидак его уволил не за плохую работу, а по причине исключения из партии. Райком эту ошибку первички исправил, в ряды пар-

тии его вернул, а значит, его автоматически должны восстановить и в институте. Николаеву в комиссии снова принялись объяснять, что вопросами подбора кадров в Институте истории партии занимаются не они, а товарищ Лидак, а он категорически не хочет брать Николаева, и они тут бессильны.

Члены контрольной комиссии проговорили с ним четыре часа, так ни в чем и не убедив Николаева. Опальный инструктор ушел с гордо поднятой головой, заявив, что восстановление в институте дело принципа и, возвратившись домой, написал жалобу в горком, а немного подумав, и в обком, самому Кирову.

Чудов сам принес Кирову это заявление и молча положил на стол. Киров просматривал постановления ЦК «О проработке решений XVII съезда партии в начальной школе» и «О перегрузке школьников и пионеров общественно-политическими заданиями», готовясь к городскому пленуму партии о школе. Оторвавшись от бумаг, Сергей Миронович пробежал глазами заявление и, нахмурившись, взглянул на Чудова.

— Я говорил с Лидаком, но убедить не смог, — ответил Михаил Семенович. — Он аттестует Николаева как склочного, невыдержанного человека, жалобщика, профессионально неграмотного, всего четыре класса образования, не пригодного ни по каким статьям для работы в институте партии. В райкоме ему предложили пойти на завод, он слесарь шестого разряда, но Николаев почему-то отказался. Он считает себя несправедливо уволенным, — кратко обрисовал ситуацию Чудов.

Киров вздохнул. Заявление Николаева напомнило ему о Мильде, с которой он не встречался уже почти месяц. Не звонила и она, понимая, что он занят и не может тратить на нее время. Но Киров не

связывался с Мильдой по другой причине. Между ними будто незримо встали Ганины, которым он не только не мог ничем помочь, но и боялся увязнуть в этой истории. Страх, поселившийся в нем еще с той непонятной ему размолвки с Кобой, не затухал. За этот месяц ему несколько раз звонил Поскребышев, передавая различные сведения и просьбы, связанные с его обязанностями секретаря ЦК, члена Политбюро и Оргбюро, но Сталин ни разу не поднял трубку, чтобы перебраться с ним хотя бы парой фраз. Раньше такого не бывало, и любые просьбы Сталин всегда передавал ему сам. Киров тоже ему не звонил. Не было поводов. С Серго они говорили часто. Орджоникидзе как-то сообщил, что он с Ворошиловым, Молотовым и Ждановым приезжал к Кобе в Зубалово, они вспоминали и пили за его здоровье.

— Кто тост предлагал? — спрашивал Киров.

— Я предлагал, но пили все с большим удовольствием, — отвечал шутливо Серго.

О Сталине он не упоминал. И судя по насмешливому тону рассказа, видимо, разговор у него с Кобой о Кирове шел, Орджоникидзе не мог не пожурить друга за такую кавказскую неприветливость в день кировского отъезда. По их обычаям это означало полный разрыв, но Сталин, оправдываясь, что-то сказал ему такое, во что Серго поверить не смог и пришел в изумление. Киров почувствовал, что Серго о чем-то недоговаривает, по паузам их телефонного разговора, в желании подбодрить, утешить друга. Он даже не стал спрашивать о подробностях их беседы со Сталиным. Серго никогда не скажет, если Коба попросил его сохранить ее в тайне. Да и по телефону такие вещи между ними никогда не обсуждались.

Чудов кашлянул, пытаясь привлечь к себе внимание. Киров снова перечитал заявление Николаева.

— Ну а что мы можем сделать? — развел руками

Сергей Миронович. — Отошлите письмо в горком с резолюцией: прояснить ситуацию и разобраться по существу. Не хочет работать, пусть не работает, мы не бюро по трудоустройству!

Вопрос был закрыт, и Чудов вздохнул с облегчением. Если б Киров попросил его помочь с восстановлением Николаева в институте, Михаил Семенович оказался бы в западне: Лидак решительно был против, его ему не уговорить, а Николаев жаждет вернуться только в инструкторы. Пришлось бы ломать голову, искать такое же тепленькое местечко с равноценной зарплатой и привилегиями в снабжении, звонить, упрашивать руководителей, из которых не каждый бы еще согласился внять обкомовской просьбе.

— Кстати, ты внимательно прочитал эту справку по школе? — спросил Киров, показывая документы, подготовленные ему Управлением наркомпроса.

— Они мне обещали экземпляр, — проговорил Чудов, — но еще не поднесли.

— Жуткие вещи! Я прочитал опрос школьников, проведенный по различным предметам комиссией управления, и у меня волосы встали дыбом! Вот послушай! Вопрос: «Когда была открыта Америка?» Ответ: «Купцам стало тесно на Средиземном море, они слышали о какой-то богатой земле Индии. Им стало завидно. Нашелся такой отважный моряк, который вместо Индии открыл Америку». Или вот: «Облако состоит из солнца, луны и тучи». «Где находится Антарктида?» Ответ: «Антарктида находится в Северном Ледовитом океане» — и так далее, это только по географии, а по физике ответы еще хлеще! Вот где надо искать факты вредительства и спрашивать с учителей по всей строгости! — Киров отложил бумаги в сторону. — Такое ощущение, что у нас в школе преподают сплошные неучи или учатся одни

недоумки! И это наше светлое будущее! И все происходит в Ленинграде — крупнейшем культурном и научном центре страны! Представляешь, что делается в провинции?.. Я не говорю уже об учебниках истории, где толкования самих ученых разнятся настолько, что самый искушенный читатель в них запутается. И в постановлении ЦК правильно записано, что все эти «политбои» и «политудочки» уже недопустимы, необходимо изучать историю фундаментально, широко, всесторонне как науку.

Не успел Чудов уйти, как раздался звонок. Киров снял трубку и услышал голос Поскребышева:

— Сергей Миронович, добрый день, Поскребышев беспокоит. С вами Иосиф Виссарионович хочет переговорить...

В трубке что-то щелкнуло, и раздался хрипловатый голос Кобы.

— Здравствуй, Сергей Мироныч, здравствуй, дорогой, как живешь?..

Голос был теплый, приветливый, словно они расстались вчера после дружеского застолья. Киров так же тепло с ним поздоровался.

— Извини, не звонил, болезни замучили: то давление, то сердце прихватило, врачи уложили в постель, но вот вырвался наконец. Я звоню вот по какому поводу: в конце июля собираюсь в отпуск в Сочи, надо погреться на солнышке, хочу и тебя пригласить отдохнуть, а заодно и поработать немного, мы же с тобой не можем без дела загорать. Тут группа наших ведущих историков составила подробный конспект будущего учебника по истории СССР, дело серьезное, надо бы обсудить. Я Жданова с собой захвачу, Каганович занимается метро, я не хочу его дергать, и мы втроем составим, так сказать, объединенное мнение секретариата ЦК. Как тебе такое предложение?

— Я думаю, разумное предложение, — отозвался Киров.

— Ну вот и хорошо, а то давно уж не виделись! Хоть ты и северная душа, но для здоровья южный загар не повредит! Обнимаю тебя, сердечный поклон Марии Львовне!

— До свидания, Коба!..

Сталин положил трубку. Серго был прав: разгадать сталинские перепады настроений еще никому не удавалось. И все же что-то Кобе тогда резко не понравилось, и он сразу же дал об этом понять. Киров снова вернулся к тому ночному разговору. Спор о продовольствии, письма с резкой критикой их политики в деревне, сталинские откровения о личной диктатуре. Но разговор закончился тем, что Сталин сказал: «Я хочу, чтоб мы этим с тобой занялись». И никакой обиды. Потом заговорили о личном... Но перед тем, как попрощаться и разойтись по своим комнатам, Коба спросил об этом отравлении, оправдывая Берию. А он тут сплеховал, испугался, сказал, что плохо помнит...

«Вот и выходит, что если б Сталин знал о моих встречах с Ганиным или Аглаей, он сразу бы тогда догадался, что я не хочу об этом говорить, — подумал Киров, — а раз не хочу говорить, то верю Ганиным. Верю в его болезнь. Только это могло вывести Кобу из равновесия, заставить отказаться от обеда у Серго и уехать в Зубалово, с ним не попрощавшись. Значит, здесь, в Ленинграде есть тайный агент Кобы, который следит за нами. За ним, Ганиными и Мильдой. Следит давно, и микрофон за вентиляционной решеткой тоже его. И он не связан с Медведем, иначе бы я об этом знал. Поверить в предательство Медведя невозможно. Сталин с ним никогда не встречался, Ягода тоже. Значит, это паукеровская, личная разведка Кобы. Серго один раз о

ней обмолвился. Поэтому Коба и не может на нее ссылаться. Это равносильно признанию, что он следит за всеми членами Политбюро постоянно. Отсюда же и такие подробные сведения о нем и Мильде...»

Но что же произошло сейчас? Киров ни с Ганиными, ни с Мильдой не встречается, ведет себя обычно, и подозрительность Сталина понемногу утихла. Болезнь почти не дает о себе знать. Коба сам сказал: болел, а теперь все прошло, он в такие дни не помнит зла и решил снова помириться с Кировым, хотя они и не ссорились.

Кто же тут такой проворный действует у него под носом, что даже посмел безбоязненно прослушивать и записывать его разговоры в кабинете?.. А ведь с Мильдой один раз они говорили здесь о Ганиных, когда она принесла от Виталия записку. Но он ее вслух не читал, а из пересказа Мильды вряд ли можно было что-то понять. Да и едва ли этот неизвестный приходил в секретарскую каждый день, надо было обладать недюжинной смелостью, чтобы вообще делать подобные «записи». Гудовичев, помощник Кирова, был связан с этим агентом, а теперь у Кобы нет никаких сведений о нем, и он успокоился.

Киров вызвал Медведя и рассказал ему о диктографе, показал даже микрофон.

— Я сделал глупость, — признался Киров, — перевел секретарей в другую комнату, а туда поместил охрану, они тебе, наверное, докладывали?

Медведь кивнул.

— Но тогда мне хотелось лишь прекратить эти «записи» моих разговоров, а теперь я хотел бы, чтобы ты нашел его! — потребовал Сергей Миронович.

— А как ты узнал, что тебя прослушивают? — испуганно спросил Медведь.

— Догадался, — ответил Киров.

— Но как?

Киров помолчал.

— Это опасная вещь, Филипп, — сказал Киров.

— Тем более мне это нужно знать, — бесстрастно ответил Медведь.

Кирова всегда восхищало хладнокровие начальника ленинградского ГПУ. Правда, в последнее время и он стал немного нервничать: отношения с Ягодой у них были натянутые, Медведь держался благодаря заступничеству Кирова и хорошо понимал, что значит для него эта поддержка.

— Хорошо, я скажу... — Сергей Миронович покрутил в руке спичечный коробок. — От Сталина. Ты знаешь, что у него свои личные агенты, которые вам не подчинены?

Медведь кивнул.

— А кто работает в Ленинграде, знаешь?

— Нет.

— Но он есть. Сталин знает такие вещи, которые не могли знать ни мои, ни твои люди. Даже твой Райхман. Они касаются моей личной жизни, и в них нет ничего крамольного, но мне не нравится, когда за мной шпионят. Очень не нравится, Филипп Демьяныч! — жестко проговорил Киров.

— Жаль, что вы произвели эту перемену, — Медведь кивнул на секретарскую комнату. — Мы могли бы взять его здесь с поличным...

— Могли бы, — согласился Киров. — Но есть еще одно место, где он должен крутиться.

Киров снова выдержал паузу, загадочно взглянув на собеседника. Не выдержал, махнул рукой.

— Ну да ладно, коли мы уж затеяли этот разговор, скажу! — решительно проговорил он. — Это Ганины. Теперь уж настала очередь задуматься Медведю.

— Теперь ты все понимаешь?

Медведь кивнул.

— И вот тут надо действовать очень осторожно,

чтоб не подставить себя под удар, — сказал Киров. — У тебя есть в управлении надежные люди?

— Есть несколько человек, — подумав, произнес Медведь.

— Арестовывать его; сам понимаешь, ни к чему, — нахмурился Киров. — Москва его тут же заберет, и они сразу поймут, что к чему, и ответный ход последует еще более коварный. Меня они тронуть не посмеют, а вот ты и твои ребята можете пострадать.

— Я понимаю, — не дав договорить Кирову, кивнул Медведь. — Но что делать, просто наблюдать?

— Он же у нас здесь нелегал, — усмехнулся Сергей Миронович. — А действует, как наглый вор! А с ворами и вести себя подобает по-воровски. Подумаем! Ты сначала выследи этого гада! Он сейчас около них крутится, я знаю! — твердо сказал Киров. — Со всем где-то рядом!..

Медведь уже хотел уйти, но Киров его остановил.

— Совсем забыл, Филипп Демьянович, одну забавную бумажку тебе показать! Вернись на секундочку!

Киров протянул ему письмо. На вырванном из тетради листке беглым почерком было написано: «Г. Киров! Извините меня, что я у Вас отрываю драгоценные минуты от Вашей работы, но это сообщение я не могу не послать Вам...»

Медведь взглянул на концовку: письмо было подписано студентом одного из ленинградских институтов, подпись была неразборчива. Студент сообщал, что случайно подслушал разговор двух иностранцев, они говорили по-немецки, а немецкий он хорошо знал и поначалу ему просто доставляло удовольствие слушать и понимать разговор на другом языке, но когда он вслушался в содержание разговора, то оцепенел от страха: двое немцев говорили об убийстве

Кирова. И не просто говорили — подробно планировали это убийство, определяя день и час рокового выстрела. «Речь шла о каком-то отъезде Кирова с Балтийского вокзала, я не разобрал, когда это должно будет случиться, но один из них ясно сказал: «Будь готов это сделать при посадке в вагон! Три выстрела в голову, и все будет кончено!» Я дал им уйти, так как боялся за себя: если б они обнаружили, что я их подслушивал, то убили бы меня. Но я думаю, им известно, куда в ближайшее время Вы будете отправляться с Балтийского вокзала».

— Ну что, прочитал? — усмехнулся Киров. — Я только не пойму, чем немцам-то я помешал?..

— Это несмешно, Сергей Миронович, — мрачно заметил Медведь. — Зачем студенту такое выдумывать?

— В том-то и дело, что студенту незачем, — ответил Киров. — Потому что этого пугливого студента не существует в природе. А вот кому выгодно распространять такие угрозы, ты подумай на досуге. Ладно, извини, у меня секретариат через пять минут!..

25

Изгнание Хромого из секретариата и невозможность подслушивать разговоры Кирова из кабинета изменили и направление дальнейшей работы Шуги. Паукер приказал ему сосредоточиться на Ганиных, узнать о них все: с кем встречаются, о чем говорят, что думают. Есть подозрения, что Ганины плетут антиправительственный заговор, и наилучший способ выполнить задание — установить в их квартире микрофон и записывать их разговоры с помощью диктографа. Так Паукер сформулировал задание Шуге. И он начал действовать.

На одной лестничной площадке с Ганиными через стенку жила одинокая старуха. Одна в двухкомнатной квартире, сын болтался где-то в экспедиции на севере. Сталин приказал Шуге поселиться в этой квартире. Двоюродная сестра Шуги имела в Ленинграде комнату в коммуналке. Шуга предложил свой план: сестра получает двухкомнатную квартиру, меняется со старушкой и переезжает соседкой к Ганиным. Остальное — дело двух недель. Но Сталин отказался помогать Шуге через официальные каналы: это могло привлечь внимание. Паукер прислал деньги и приказал сделать то же самое и как можно скорее.

Шуга занялся переселением своей сестры. Перед этим он получил согласие Хозяина на привлечение ее к операции и поскольку диктограф будет стоять у

нее, то он выхлопотал для сестры небольшую зарплату — сто десять рублей в месяц. О таких деньгах она и мечтать не могла.

За месяц блужданий по разным управлениям Шуга обменял комнату в коммуналке на однокомнатную, а потом и двухкомнатную квартиру, договорился с соседкой Ганиных об обмене, но в самый последний момент, когда все документы, тысяча всяких справок, были готовы, городской комиссии, принимавшей окончательное решение по вопросам обмена, он вдруг показался странным: меняют шило на мыло, зачем, почему, с какой целью? Таисья Андреевна, сестра Шуги, когда ее вызвали для расспросов, ничего толком объяснить не сумела, ибо Шуга настроено ей запретил говорить о своей заинтересованности в обмене. И его не разрешили, хотя никаких препятствий не было. Шуга чуть всю мебель не переколотил у сестры, придя в такое неистовство, которого от него даже она не ожидала.

Пришлось все начинать сначала, искать ходы, связи, знакомства, время уходило. Шуга дергался, писал оправдательные послания в Кремль, за которые уже Паукер его сердито отчитывал, приказывая сделать все невозможное и немедленно начать операцию. В какой-то момент Шуга вообще был готов отказаться от задания, но, поразмыслив, взял себя в руки: Сталин этой истерики не простит, и вся его дальнейшая карьера лопнет. Паукер уж найдет способ, как от него избавиться.

С помощью Чугуева он отыскал несколько лазеек, сводил одного городского чиновника в ресторан, другому сделал дорогой подарок, и два дня назад обмен, наконец-то, разрешили. Теперь оставалось лишь перевезти ганинскую соседку и вселить сестру. В день перевоза и появился странный незнакомец: небритый, в рваном пиджаке, предложивший свою

помощь за пятерку и назвавшийся Николой. Шуга согласился. Помощник ему требовался.

Вдвоем они начали вытаскивать угловую старушечью мебель, грузить на полуторку и лишь тогда Шуга увидел его руки: крепкие, жилистые, цепкие, никак не похожие на руки пьяницы и бездельника. И еще Шуга обратил внимание на ногти. Под ними хоть и чернела грязь, но обрезаны они были аккуратно, заботливо, ножничками, а грязью словно нарочно намазали. Да и взгляд у «пьяницы» был двойной: то пустоватый, рассеянный, то в какие-то секунды острый и все хватающий. Шуга запаниковал. Мужик был явно не из милиции и не из угро. Поводки уголовных сыщиков Шуга знал хорошо, сам протрубил в московском угрозыске восемь лет, откуда его и вытащил Паукер. Но если не ленугро, то, значит, медведевские кадры, но зачем он им, и как вообще они смогли на него выйти, если сам Хозяин из предосторожности не захотел никого подключать ему в помощь из своих людей, была загадка. А может быть, Паукер прислал своего контролера, чтобы проверить Шугу? Он застрял с этим обменом, и Хозяин мог заподозрить его в нечестной игре и прислать проверяющего. Вот это вернее. И все же надо быть настороже. У самого Хозяина могли измениться планы, и Шуга стал лишним в этой игре.

Занимаясь погрузкой и размышляя над появлением Николы, Шуга перевез старухин скарб на Лесной проспект, где жила Таисья, а ее утварь и скособооченные шкафы в освободившуюся квартиру. Они провозились весь день. Когда вносили последние узлы и коробки сестры, появилась Белочка с детьми. Она обеспокоилась этим переездом, увидев двоих крепких мужиков, перетаскивающих вещи в соседнюю с ней квартиру. Но Шуга успокоил докторшу: их только наняли таскать, а въезжает одинокая женщина. У

бывшей соседки Ганиных там, на Лесном, живет через дом племянница, которая будет за ней присматривать, вот почему этот обмен и состоялся. Тут появилась Таисья, Белочка переговорила с ней и немного успокоилась. Шуга отметил это беспокойство и подозрительный взгляд Ганиной, с каким она оглядела его и Николу, и подумал, что лишний раз ему попадаться ей на глаза не стоит. Она тут же забьет тревогу.

Закончив разгрузку и получив обещанную пятерку, Никола предложил выпить, но Шуга отказался. И зря. За бутылкой можно было «выпивоху» основательно прощупать, у Шуги глаз наметанный, а теперь жди, когда непрощенный гость снова объявится. А в том, что Никола подсадной, Шуга не сомневался.

Помогая сестре расставлять вещи, Шуга прощупал общую стенку с Ганиными. По его предположению, она соприкасалась с детской и вентиляционных проходов не имела. «Микрофон придется устанавливать в большой комнате, а вот как скрытно тянуть оттуда провод, голову придется еще поломать, — подумал он. — Дня три на это уйдет как минимум. Еще три дня — снять слепок с замков, у Ганиных их два, один сложный, английский, и заказать ключи у Никиты Ивановича, он мастер хоть и отличный, но меньше двух дней не провозится. Выходит неделя. Хозяин еще пуще обозлится. Но что делать? Тогда и привезу к Таисье диктограф».

Сестра оставляла его поужинать, она даже купила бутылочку, столько времени ждали этого дня, надо отметить, но Шуга махнул рукой: потом. Завтра она должна быть дома с утра, он зайдет.

Он не стал пить, потому что появление Николы заставило его насторожиться. Раз кому-то он стал вдруг интересен, то его уже «ведут», надо отследить «хвост» и понять, что за компания с ним заигрывает,

стоит ли ее опасаться и какие предпринимать ответные меры.

Возвращаясь вечером к себе, Шуга действовал с особой осторожностью, тщательно проверяя, нет ли за ним «хвоста». Раньше он угадывал слежку с первых же минут. В молодости за ним еще охотились царские филеры, и среди них попадались виртуозы своего дела. Одного из них он чуть не привел на явочную квартиру, так ловко тот его вел. И все равно, на лице любого филера приклеена этакая невидимая вуалька сосредоточенности: я пасу, я наблюдаю. Главное, ментально ее распознать, отличить от усталого или замкнутого на своих житейских раздумьях лица. Тут игра требуется филигранная, и лишь единицы, обладая редким актерским талантом, могут обмануть Шугу.

Два трамвайных пассажира показались ему подозрительными, и он несколько раз пересаживался на другие маршруты, путал следы, спрыгивая с подножки, а потом еще около часа кружил вокруг дома, прежде чем войти в свой подъезд, но уверенности, что ушел от слежки, не было. Такое с ним происходило впервые. Видимо, за эти два года он многое потерял, ведя спокойную и беззаботную жизнь, может быть, поэтому чувствовал, что его ведут цепко и умело. И не один, а сразу три или четыре опытных агента. Так ему казалось, и это ощущение угнетало его.

Не зажигая света, он еще с полчаса выглядывал из окон, стараясь обнаружить хоть что-нибудь подозрительное, но двор жил своей привычной жизнью. Его сосед, приняв свои двести пятьдесят, наярывал на гармошке народные страдания, прыгали через скакалку девчонки, ребята гоняли тряпичный мяч, пенсионеры дулись в шашки — в девять вечера было

еще светло, солнце только собиралось уйти за горизонт.

Поужинав с пивом, он немного успокоился и решил, что просто шалят нервишки. Зачем тому же тугодумному Медведю гоняться за ним по всему городу, отвлекать от настоящей работы такие мощные силы. Шуга нигде не наследил за это время, ни разу не попался, документы у него в порядке, а что могло еще привлечь к нему внимание столь серьезных органов?

Измучившись этими сомнениями, перед сном он решил все-таки написать донесение Хозяину с изложением своих подозрений, но потом скомкал бумагу и сжег. Получалось одно нытье и обещание начать работу через неделю. Опять придет паукеровский матюгальник с последним предупреждением. Сейчас его спасет запись первых ганинских разговоров, а вот вместе с ней можно будет сообщить и о своих опасениях. Так-то умнее.

«Без дела — не лезь, — инструктировал его перед отъездом в Ленинград Паукер, — Хозяину нужны только конкретные факты, описание поступков, а не твои домыслы и рассуждения. Для них у него своя голова имеется».

Придурковатый с виду, но по-своему хитроумный Паукер был прав на сто процентов, Шуга в этом уже не раз убеждался.

Донесение он все же составил. Оно состояло из двух строчек: «Обмен состоялся, через неделю буду справлять новоселье. Шура». Под «новосельем» подразумевалось начало работы на диктографе. Поскольку он посылал отчет открытой телеграммой на условленный частный адрес, то пришлось изменить и имя.

...Медведь доложил Кирову, что агента они обнаружили и узнали, где он живет. Хорошо, что Медведь для страховки привлек пятерых ребят. Их подопечный, заподозрив что-то неладное, крутил същиков часа три, прежде чем привести домой. «Профессионал», — уважительно заметил Филипп Демьянович.

— Гусельников Игнатий Савельевич, работает в управлении геологоразведки, но мне сказали, что он подчиняется московскому Метрострою и якобы разрабатывает карту почвенных слоев на предмет возможности строительства в Ленинграде своего метро. Им он не подчиняется, график работы свободный, деньги напрямую из Москвы, так что... — Медведь скривился в улыбку.

Он рассказал также о переезде некой Таисьи Андреевны Гусельниковой в соседнюю квартиру с Ганиными, и что агент якобы является ее двоюродным братом, он еще этот факт не успел проверить. Однако все указывает на то, что Гусельников готовится записывать ежедневные разговоры Ганиных.

— Так что опять вы правы, а я, видно, никуда не похужу, — пожаловался Медведь.

— Не надо лирики, у вас работа посерьезнее впереди, — обрезал его Киров. — Сколько ему понадобится времени, чтобы запустить диктограф?

— Неделю, не меньше. Нужен умелец, который сделает ключи, а там доктор поставил такой замок, что ключ должен быть без зазубринки, но главная сложность — установить микрофон, провести незаметно шнур, — доложил Медведь.

— Что предлагаешь?

— Самое простое — выкрасть диктограф, инсценировав обычную кражу. В милицию заявлять он не пойдет, ему это ни к чему, а без аппарата он ничего не сделает. Будет обязан сообщить о краже Хозяину, а он его по головке не погладит: прошляпить такую

секретную вещь. Скорее всего, отзовут, — заключил Филипп Демьянович. — Конечно, будут подозрения и в нашу сторону, но мы эту машинку подкинем воровской компании...

Киров с удивлением посмотрел на Медведя.

— Нет, все сделаем чисто! У нас тут есть оперативные сведения, где, какие квартиры собирается чистить одна воровская компания, мы внедрили туда своего человека, вот мы и подкинем им аппарат, а милиция их накроет, чтоб отвести от нас всякие подозрения, — предложил Медведь.

— Тогда действуйте! — одобрил Киров.

Наутро Шуга проснулся уже в нормальном настроении. Сварив себе крепкий кофе, съев бутерброд с маслом, он окончательно решил, что все его вечерашние страхи — результат месячной нервотрепки с обменными делами. Шуга в страшных снах не мог себе представить, насколько обюрократились все эти управдомы и главначпупсы, загоняв его и Таисью за справками. От нее даже потребовали справку из психиатрической лечебницы, а психиатры, когда она туда заявила, едва не признали ее шизофреничкой. И только суровое вмешательство Шуги спасло бедную сестру от такого жуткого заточения. Оказывается, в психлечебнице не хватало контингента больных, и они боялись, что у них урежут бюджет.

Все намекали на взятку, медлили, тянули под разными предлогами, и после таких испытаний немудрено стать неврастеником, а в каждом сидящем позади тебя пассажире видеть секретную ищейку. С грузчиком Николой ситуация посложнее, тут явная подставка, он — ряженный, но скорее всего, это Хозяин прислал проверку. Просто и он не выдержал столь долгого ожидания первых результатов. Ничего,

через неделю завалим его длинными записями семейных разговоров Ганиных, и в них наверняка будет то, что смягчит его гнев и успокоит сердце. «Надо искать переписчика, — подумал Шуга. — Пусть Паукер присылает помощника».

Шуга поехал к сестре. По дороге он пытливно оглядывал пассажиров в трамвае, но, не заметив ничего подозрительного, даже повеселел.

Придя к сестре, дождался, пока уйдут на работу Ганины. Он, конечно, мог бы открыть дверь с помощью отмычек, но зачем торопиться, надо делать все чисто. Сестра уже навела порядок, и в квартире стало уютно. Она поджарила ему картошки, достала квашеной капусты, и он охотно второй раз позавтракал, но от рюмочки отказался. С утра никогда не пил.

Едва Ганины ушли, Шуга быстро сделал слепок с замков. Второй иностранный замок оказался действительно замысловатым, и ключ придется выгнать с повышенной точностью, но Никита Иванович и блоху подкует, если Шуга подкинет ему на лишнюю поллитровочку. Он поехал к мастеру, и тот пообещал за два дня все сработать. Оказывается, он уже делал эти английские ключи, и никто не жаловался.

По дороге домой он заехал на рынок, купил кусок парной говядинки, овощей, взял в магазине поллитра водки, чтоб отпраздновать удачное начало новой операции. Он уже не оглядывался по сторонам, а думал о том, как бы выпросить у Хозяина отпуск на пару недель и хорошую путевку в южный санаторий, чтобы пожариться на солнышке. Он вспомнил об одной вдовушке, с кем свел тесное и весьма приятное знакомство, и подумал, что сегодня не мешает ее навестить. Вдовушка в отличие от худого, но жилистого Шуги выглядела, как румяная московская сдоба, с такими пышными прелестями сзади и спереди, что доблестный слуга Хозяина всерьез

подумывал о женитьбе. Он забывал с ней обо всем на свете, а вдовушка, кроме обладания такой усладой, умела еще хорошо готовить и была изумительной молчуньей, что также покоряло Шугу, может быть, больше всего в жизни. Он не любил болтливых баб. Вспомнив о вдовушке и решив насладиться щедротами жизни, Шуга даже подумал, что стоит отвезти ей эти продукты, а не возиться самому на кухне, но решил заехать домой и переодеться, тем более что трамвай подходил к его остановке.

Дома он надел чистую рубашку, белые полотняные брюки, прыснул на себя одеколоном, сложил продукты в авоську и, насвистывая, вышел в прихожую. Что-то заставило его перед дверью остановиться. Точно легкий укол в спину. Шуга повернулся и посмотрел на платяной шкаф, дверца которого всегда была закрыта на ключ и плотно подогнана: в шкафу он держал диктограф. Сейчас дверца была прикрыта, но неплотно. Шуга, предчувствуя самое ужасное, бросил авоську с продуктами в прихожей, звякнула и разбилась бутылка, потекла водка. Он подбежал к шкафу, распахнул его: внутри было пусто. Шуга выгреб оттуда всю одежду, которая там была, но диктографа он не нашел. Он пооткрывал все шкафы, шарил все потайные места, обыскал всю квартиру от кухни до ванной и сортира, но аппарата для тайной записи разговоров нигде не было. Его украли, сомнений больше не осталось.

Вместе с диктографом украли новые башмаки из натуральной кожи, две рубашки и старинные часы с бронзовыми амурами, которые Шуга по дешевке купил на толкучке. Он сразу же сообразил: работали профессионалы, инсценировав обычную квартирную кражу. Но кто, зачем, ради чего? Если это ленинградские огэпэушники, то они должны были узнать, на к о г о он работает. Но тогда почему они это сдела-

ли? Они не должны были этого делать, не должны, тут нет никакого смысла!

Шуга упал на пол, схватил себя за волосы и заорал диким голосом. Если б кто-то захотел наказать его самой изуверской пыткой, то лучшего способа он бы не смог придумать. И это не воры, не уголовники.

— Это сделал о н! — вдруг зашептал в исступлении Шуга. — Никто, кроме н е г о, не придумал бы большего злодейства! Никто!.. Ненавижу! Ненавижу! Чтоб ты сдох со всем своим отродьем!

Он подполз на коленях к прихожей и как собака стал лакать водку из лужи, чтоб на мгновение заглушить дикую душевную боль, от которой заломило в висках и потемнело в глазах. Он даже для себя не мог в ту минуту ответить, кому он посылал свои проклятья, и кто этот о н. Шуга впервые в жизни пожалел, что родился в этой стране, где человек обречен на одни муки и страдания, пожалел, что боролся за эту новую власть, которая оказалась еще страшнее, чем проклятый романовский царизм.

Налакавшись водки, он повалился на пол, закрыл лицо руками и зарыдал, как ребенок.

26

Николаев уже второй месяц сидел без работы. Мильда поначалу ничего ему не говорила, когда он бегал по комиссиям, писал жалобы и заявления, требуя законного права восстановить его на прежнее место инструктора в Институт истории партии, но все лишь разводили руками, а Лидак отказывался с ним даже разговаривать. На выделенном Мильде земельном участке в десять соток неподалеку от дома они посадили картошку. Николаев самостоятельно вскопал его, разрыхлил, взяв на себя львиную долю всех забот. Вечерами он писал свою биографию, начав ее с рассказа о родителях. Немного упомянул об отце, умершем от холеры, когда ему было два года, но отметил, что он был отличным столяром, хоть и попивал горькую. Чуть больше места посвятил матери, работавшей до революции в прислугах у господ, а потом перешедшей на пролетарскую должность обтирщицы трамвайных вагонов. Живописал вкратце свою болезнь. Из-за рахита до одиннадцати лет не мог ходить, два года был прикован к больничной койке, но благодаря силе воли поднялся, встал на ноги. Однако из-за болезни не смог выучиться, запустил школу, зато, как Горький, любил читать книги. Более подробно Николаев описал свои первые трудовые шаги подмастерьем в часовой мастерской.

Огромные часы, выше человеческого роста в старинном узком шкафу с тяжелым раскачивающимся

маятником гипнотизировали его своим вечным движением, и он по несколько минут с разинутым ртом стоял перед ними, не в силах постичь их неукротимый кошачий ход. Часы с бронзовыми амурами, с нежным мелодичным колокольчиком, с музыкой, боем, кукушкой — время лилось из разных уголков небольшой комнатки, и каждый раз, попадая к невысокому, с пушистой седой бородкой, гладкой лысой головой и большими добрыми глазами на круглом лице часовому мастеру, кривоногий Леня замирал от восторга, слушал и смотрел. Но были еще будильнички, брегеты, совсем крохотные часики, похожие на круглых жучков, разглядывать внутренности которых можно было только через лупу, а уж как что-то поправлять в них, подкручивать крохотной отверткой, он и представить не мог, будучи к тому же до отчаяния неловким и неуклюжим. Пальцы совсем не слушались, а страх перед непостижимым для его двенадцатилетнего слабого ума неумолчным часовым ходом превращал Леню в полного идиота. Мастер боялся подпускать его к работе. Шел уже 1916 год, приближалась революция, он с мальчишками помогал строить баррикады и убегал от казаков.

В этом же биографическом очерке Лев, как Николаев именовал себя — Леня звучало по-окраинному грубо и напоминало соседа-пьяницу, — кратко описал и историю жизни Мильды, дочери латышских батраков. В отличие от него она сумела закончить женскую гимназию. В 1919 году она вступила в партию и чудом при наступлении Юденича на Петроград избежала расстрела.

В годы гражданской войны Николаев очутился под Самарой — ему шестнадцать лет, он секретарь сельского Совета. Но время смутное, рыщут белые отряды, и он сбегает обратно в Петроград, поступает конторщиком в коммунхоз Петросовета. Многие из

тех, с кем он жил по соседству на Выборгской стороне и бегал строить баррикады, выбились в люди, заняли маленькие, но начальственные должности. С их помощью он в те безработные годы стал конторщиком, они же дали рекомендацию в партию. Он подписывается на Собрание сочинений Ленина, внимательно изучает его труды, выписывает в блокнотик отдельные его мысли, заучивает наизусть, завидуя старым друзьям, сумевшим выбиться в люди. Он даже пишет заявление в райком партии, просится в Техартшколу, красиво звучит, да и сама профессия артиллериста кажется ему блестящей и перспективной, но ему неожиданно отказывают, и эта первая обида наполняет его злобой. Об этом он в биографии не пишет, потомкам это неинтересно, важно отметить, какой он талантливый, как его не понимали, к примеру, в том же Лужском укоме комсомола, где он и года не проработал, а уже последовала формулировка: «Т. Николаева с работы общего отдела снять и направить в распоряжение ЛГК РЛКСМ», в то время как Мильду не хотели отпускать из лужского укома партии. Но в Ленинградском горкоме комсомола ему работу не предоставили, и он сам устроился слесарем на завод «Красный арсенал», но слесарем не проработал и дня, а стал заведовать цеховым красным уголком. Где же еще работать бывшему укомовскому учраспреду? Не в грязном же дымном цеху, где сквозняки и вонь. Но уже через месяц он не поладил с цехкомом, отказавшись подметать пол в уголке и требуя себе единицу уборщицы. Какой же он заведующий красным уголком, если не имеет никого в подчинении? Его уволили за демагогию. Но в цех он не пошел, а занял должность конторщика. Надел сатиновые нарукавники, обзавелся амбарной книгой и счетами, поработал два дня, но освободилось место кладовщика, и он перешел на склад. Кладовщика

уважали больше, чем конторщика. С последним считались и даже заискивали перед ним. Николаеву это нравилось. Он работал кладовщиком, числясь по штатному расписанию по-прежнему слесарем 6-го разряда. Но поскольку никакой выработки не было, то зарплата не превышала 140—150 рублей в месяц. Его это задевало. Он стал возмущаться, кричать, что ему мало платят, и запросился в грязный, дымный, вонючий цех, к станку, где рабочие получали около двухсот, но продержался лишь месяц.

Но едва он влился в ряды пролетариев, его стали мучить приступы тошноты, и Леонид две недели просидел по больничному листу, врачи признали отравление и порекомендовали разборчиво относиться к пище. Он отравился в заводской столовой, но тошноту стал испытывать, уже подходя к станку. Пришлось уйти поммастером в конторку, перебирать, подшивать наряды, отвечать на звонки. Через пару месяцев его сократили, он стал возмущаться, писать злобные статейки в стенгазету. Подкатила очередная партийная чистка, и ему вклеили выговор по партийной линии — «за создание склоки через печать».

И снова обида. Он уходит с «Красного арсенала», устраивается на завод Карла Маркса, числится снова рабочим, но заведует по-прежнему красным уголком. Поругивается с цеховым начальством, поучает партком, но его терпят. Двухметровый секретарь парткома с удивлением внимает наскокам рахитичного и злобного коротыша Николаева. Выводов не делает. А завкрасугла раздувается от важности своей персоны.

Неожиданно Николаев встретил бывшего дружка по баррикадам, пожаловался на свою судьбу: когда-то вместе железные ворота с петель снимали и волокли на мостовую, а теперь никто не помнит его революционных заслуг. Бывший дружок посочувствовал, подсобил, порекомендовал, и Николаев, как в сказ-

ке, махом взлетел, став референтом отдела кустарно-промысловой секции Ленинградского обкома партии. И сразу же задрал нос. Сунув домоуправу в рожу красное обкомовское удостоверение и указав на грязь в подъезде, рыкнул:

— Чтоб к вечеру было чисто!

— Сделаем, Леонид Васильевич! — заискивающе пропел домоуправ.

«Как все же хорошо на хорошей работе!» — вздыхал радостно Николаев. Ему выдали пропуск в обкомовскую столовую, чистую, большую, светлую, где даже подавальщицы сновали меж столами сытые, гладкие, улыбчивые, а уж кормили там такими мясными борщами, что ложка намертво стояла. И язычки красовались, и балычки, жирком припудренные, сияли, и творожок свежий глаза слепил, а вся эта обеденная благодать со стаканом вишневого компота, сладким до мурлыканья, обходилась Николаеву в двадцать девять копеек. Разрешали также брать мясные или с молотой черемухой пирожки домой и в отдел. Зарплату Леониду Васильевичу положили 250 рублей в месяц, отчего сынков не побаловать.

С работой было посложнее. Должность требовала писать доклады для заведующего, составлять отчеты, справки, сочинять статьи в газету и даже выдвигать идеи по реорганизации. Неважно какой, важно было не стоять на месте. Это не пятнадцать строк в стенгазету. Месячный испытательный срок подходил к концу, и Николаев чувствовал, что пора спасаться. Снова к милдружку: выручай. Тот вспомнил, что Рабоче-крестьянской инспекции, она располагалась в том же обкомовском здании и ее работники пользовались той же столовой, требуется инспектор цен, и в два счета пристроил туда Николаева. А там с работой обстояло еще хуже: ревизии, проверки цен по магазинам, работа нервная, опасная, с угрозой для

жизни. Не то в тюрьму посадят за взятку, а предлагают много, не меньше пятисот рублей за раз да еще оковалок мяса суют и коробку масла, не то изувечат. Наймут хулиганов, а те за пятьсот рублей в Неву сбросят и глазом не моргнут. Один директор так ему и брякнул в лицо: мол, выбирай, что тебе больше подходит. А посмеешь в милицию пожаловаться, и детей утопим. Николаев никаких замечаний в акт не написал, ничего не взял и убежал. А дома извелся, изнылся, в трясучку впал, такой припадок с ним приключился, что к утру еле отошел, губы в кровь пообкусал. На работу идти боялся. Лучше уж сразу умереть.

Мильда сжалилась, попросила Кирова, Николаев попал в Институт истории партии, а там на его голову свалился высокий, худой, властный Лидак с горящим взором бойца. Вот и весь круг...

Николаев грыз ручку, вспоминая свои мытарства и не зная, как их правильно описать в биографии. Мильда по ночам никуда не ездила, вроде тут утряслось, ему бы теперь на прежние 250 рублей в месяц, и зажили бы они душа в душу. Но он добьется, выстоит, восстановит справедливость, а если не добьется... О последнем и думать не хотелось. Он закрыл биографию. Мильда отмалчивалась, ничего не говорила, теща посматривала косо. Теперь четыре иждивенца на шее жены, а у нее всего 275 рублей в месяц. Николаев грыз ногти, обдумывая письмо Сталину. Пусть узнает, что творят в Ленинграде с партийцем, имеющим десятилетний стаж в рядах ВКП(б). «Этого Лидака бы по партмобилизации на транспорт, Иосиф Виссарионович! — сказал бы, встретившись с вождем, Николаев. — И Терновскую с Абакумовым! Не выполняют они ваших указаний, Бухарина цитируют! А я заметил, предупредил и немил стал. Вот как теперь у нас!»

« Не волнуйтесь, товарищ Николаев, — мудро скажет Сталин. Мы разберемся. С произволом покончим. Лидака бросим на транспорт, а вас поставим вместо него. В обиду не дадим. Ждите, вас вызовут!..»

Николаев дремал, положив голову на свою биографию, представляя свое появление в институте в качестве директора. Он приходит, Терновская дрожит от страха, дежурит в приемной, чтобы прорваться к нему в кабинет и объясниться.

— А не хотите ли на транспорт, Леокадия Георгиевна? — спросит Николаев.

— Я женщина, Леонид Васильевич, и свой пышный вид совсем еще не утратила, а вы такой красивый мужчина, вам нужна ласка и забота моих нежных рук, — конечно же льстиво заявит она.

— И это все, что вы умеете, товарищ Терновская? — удивится Николаев. — Мне объедки со стола Лидака не нужны! Вы уволены!

Она будет рыдать, рвать на себе волосы, ползать у него в ногах, кричать, что прилежностью и старанием испуит свою вину.

Но эти призрачные видения посещали его все реже. Николаев знал о дружбе Лидака с Чудовым, и надежд на счастливые перемены не оставалось совсем. Роясь в ящиках письменного стола в поисках стальных перьев, он однажды наткнулся на револьвер и, вытащив его, долго держал в руках, представляя уже иную картину: он входит к Лидаку в кабинет и выпускает в него все шесть пуль. А лучше всего пристрелить Лидака и Чудова, обоих его кровопийц, и отомстить за свое унижение. Они сейчас торжествуют, думая, что им все позволено, но есть и «высший суд, наследники разврата»... Где он слышал это стихотворение? «Он недоступен звону злата...» Николаев попытался вспомнить еще несколько строчек, но так больше ничего и не вспомнил. Спрятал револьвер в

стол. И как ни странно, ему даже стало легче от одних этих картинок мщения. И все потом будут говорить: был же Николаев, он не побоялся постоять за себя, смелый был человек. И дети будут знать: их отец был очень смелый человек.

Прошло полтора месяца с последней встречи Кирова и Мильды. Первое время она вздрагивала от каждого звонка у себя в кабинете, бежала к нему из коридора, но звонили Зине, чаще один и тот же мужской голос, и она, нахально кривясь в улыбке, минут по пять выясняла отношения с новым ухажером.

— Сегодня в театр тащит, — тяжело вздыхала она. — Ну ладно бы в драматический, а то на балет! Там шишки будут, а он дежурит! Кирова, говорит, увидишь! А чего мне на него смотреть? Не икона!

— Он что, милиционер у тебя? — спросила Мильда.

— Еще чего! — фыркнула она. — Стала бы я с милицейской шушерой романы крутить! Он в учреждении посолиднее служит. Жениться хочет...

— А ты?

— Не знаю. Зарабатывает он вроде ничего, но кроме этого ни кола ни двора, в общежитии проживает. На мою коммуналку зарится. Я говорю: если таких шишек охраняешь, пусть комнату тебе дадут. А две комнаты можно на двухкомнатную квартиру выменять, тогда и жениться можно. Апусти его к себе в комнату, он тебя потом оттуда и выселит! — рассуждала Зина.

— Что он, злодей, что ли? — удивилась Мильда.

— А кто его знает! Я эту комнату, сама знаешь, зубами выгрызала, Чугуева облизывала. Его и сейчас вон на сладенькое тянет, а в обмен что? Квартиру

однокомнатную — сразу сказал: не могу, шубу и то не может, они, оказывается, по каким-то там спискам, которые чуть ли не сам Киров подписывает, — она откусила котлету, поморщилась и отодвинула от себя тарелку. — Запах какой-то! Фу! Как ты эту гадость только ешь?

Она запила гадкий запах компотом, вытащила новую пудреницу, чтоб похвастаться перед Мильдой.

— Говорят, в обкомовской столовой чего только нет! И все дешево? — глаза у Зины загорелись.

Мильда кивнула.

— А чего тебя больше не зовут на подработку? — она сощурила свои зеленые глаза.

— Они сами справляются, — покраснев, ответила Мильда.

— А чего ты покраснела? — удивилась Зина.

— Жарко здесь...

— И компот противный! — поморщилась Зина. — Слушай, познакомь меня с этой психичкой.

— С какой психичкой? — не поняла Мильда.

— Ну с врачихой, которая по нервам у нас! Как ни пройду мимо ее кабинета, кофем тащит, страсть! Может, щас зайдем, на кофей напросимся? — предложила Зина.

— У меня бумаг уйма, мне их разобрать надо, — сухо ответила Мильда.

— Да брось ты! Чугуев уже смылся. На дачу едет. Я ему: а меня на дачу не возьмете? Вот, дура! Забыла, что жену он в санаторию спровадил. Пристал как репей: поехали да поехали, еле отвязалась! Я сама видела, как он отбывал на своей колыхаге, а боле нам никто не указ! У нее сережки в ушах триста рублей стоят! — восхищенно проговорила Зина. — И одевается она, как буржуйка, я когда вижу, у меня мороз по коже!

Мильда усмехнулась.

— Зря усмехаешься! — заметила Зина. — Ты глянь, как у нас тут одеваются?! Некоторых увидишь и за себя страшно становится — до чего опуститься можно! А она такая вся, как игрушечка, прямо лечь в постель с ней хочется!

Мильда потрясенно взглянула на Зину.

— Ага! — округлив глаза, прошептала она. — Скажи кому, скажут, с ума сошла! У тебя такого не бывало?

— Нет...

Они вышли из столовой.

— Ну, познакомишь или нет? — заканючила Зина.

— Позже. У нее сейчас прием пациентов, а мне надо разобраться с бумагами...

— Ну ты... — прошипела Зина. — У тебя что, вместо мозгов инструкции, а в груди Устав ВКП(б)?! Ты, наверное, и уроду, мужу своему, никогда не изменяла!

Мильда остановилась, бросила злой взгляд на Зину и пошла дальше.

— Ну, извини, вырвалось, извини, Миля! — догнав ее и схватив за руку, заговорила Зина. — Милечка, это от злости! Ну хочешь, я себе язык прикушу? Хочешь?! Вот!

Она высунула язык и прикусила до крови.

— Ты что, с ума сошла?! — ужаснулась Мильда.

— Ты меня прощаешь, да? Прощаешь?

— Прощаю...

Еще в коридоре Мильда услышала длинный телефонный звонок, доносившийся из их кабинета. Но она не стала торопиться: до конца обеденного перерыва оставалось десять минут, и никто из начальства не посмеет упрекнуть, что ее нет на месте. Телефон продолжал трезвонить.

— Вот нахальный! — обозлилась Зина, входя в кабинет. — Я ему сейчас выдам!

— Я сама возьму! — оборвала ее Мильда.

Зина отступила. Мильда взяла трубку.

— Мильда Петровна? — раздался в наушниках знакомый хриловатый баритон, и ее словно током ударило. — А я уж хотел трубку положить. Ну здравствуй!..

— Здравствуй, — прошептала она и покраснела.

Зина с интересом уставилась на нее, почувствовав, что звонит весьма важный знакомый ее начальницы.

— Я не звонил... — замялся Киров, — потому что...

— Это неважно! — прервала она его.

— Ты сегодня...

— Да! — выдохнула Мильда.

— Тогда на полчаса позже, чем обычно.

— Хорошо.

Мильда положила трубку. Несколько секунд она стояла неподвижно с покрасневшимся от волнения лицом, потом села и уткнулась в бумаги.

— Это кто такой звонил, что переполошил нашу Мильдочку Петровну? — с ехидством пропела Зина, подходя к ней и заглядывая в лицо.

— Молчать! — грохнув толстой папкой с приказами о стол, закричала Мильда с такой яростью, что Зина, обомлев, попятилась к порогу. — Молчать! И впредь не делать мне никаких замечаний!

— Поняла, — кротко закивала Зина. — Извини, все поняла, пописать выйти можно?

— Пошла вон! — с презрением бросила Мильда.

27

Киров решил устроить себе праздник: сходить на балет и встретиться с Мильдой. Посрамленный агент Кобы позорно бежал в Москву, испорченный диктограф изъяли у воришек, доложили в Центр, оттуда пришла «молния»: опечатать и отправить с охраной. Киров был рад не столько тому, что удалось избавиться от гнусного соглядатая, подсматривающего за его интимными утехами, сколько за Ганиных. Он снова сумел отвести от их голов дамоклов меч, ибо за записями их семейных разговоров последовал бы и карающий удар Кобы. Но не проговорись Сталин о Мильде, не окати Кирова холодным душем внезапной неприветливости, не разгадай он ее тайную причину, сидели бы они все в глупом неведении. Медведь прав, что рвет на себе волосы и посыпает голову пеплом: его контрразведка занимается чем угодно, только не поимкой настоящих преступников. Глубокой разведывательной работы нет. Ловят крикунов, охальников, скандалистов, а настоящий заговорщик всегда держится в тени. А туда его генерал Райхман и не заглядывает.

В глубине души Киров понимал, что спасал и себя. Ганины невольно могли проговориться о его помощи в устранении Мжвания, о дружбе с Мильдой, и Коба тотчас бы все понял и вообразил целый заговор против него. Если раньше он по наивности верил в их дружбу, то теперь не сомневался: узнай

Сталин эти новости, за его жизнь никто не даст и медного пятака. Великий повар острых блюд найдет способ устранить его, и никакая охрана не спасет. Коба как был боевиком, так им и остался. Изменилась лишь тактика и почерк работы.

Из театра он поехал в обком, сказав Чудову, который был с ним на спектакле, что ему надо еще поработать. Тому была и причина: в июле должен состояться пленум городского комитета партии, посвященный вопросам образования, и Киров собирался выступить с докладом об изучении истории в школе. До сих пор ее изучали как историю Руси от древнего Киева до конца дома Романовых и отдельно историю революции и образования СССР, не связывая воедино эти периоды, разделяя и подчас противопоставляя друг другу: как было плохо при царизме и как хорошо сейчас. Это был в корне немарксистский, неленинский подход к историческому развитию общества, ибо по диалектике ничего не возникает и не развивается отдельно от всего предыдущего, наоборот, причины революции, ее корни надо искать в царской России. Революция и построение социализма есть продолжение многовекового пути развития единого русского государства.

Разве не подготовили революцию крестьянские восстания Болотникова, Разина, Пугачева, декабристов, разве революционные реформы Ивана Грозного и Петра Первого не подталкивали Русь к коренным народным переменам, разве революционная мысль началась с Ленина, а не с Белинского или Добролюбова, Огарева и Герцена? Весь девятнадцатый век, начиная с Пушкина, был объят революционной стихией — декабристы, землевольцы, чернопередельцы, народовольцы, наконец, большевики как венец этих исканий. Поэтому надо только выявить, очертить контуры этой классовой борьбы, и тогда все увидят,

что Русь с незапамятных времен стремилась к тому, что началось с легендарного залпа «Авроры» в Октябре семнадцатого. И только тогда мы получим живую, подлинную историю СССР с древнейших времен и до наших дней.

Киров, пока ехал в Смольный, мысленно уже набросал главную часть своего выступления: о марксистских принципах преподавания исторических дисциплин в начальной, средней и высшей школе. Сергей Миронович даже обрадовался, что так легко и ясно сложилась у него эта часть доклада, которая долго ему не давалась.

Отъезжая от театра, он обратил внимание на вторую машину, следующую за ними.

— Что это за новости? — спросил Киров у сидевшего на переднем сиденье своего охранника Льва Фомича.

— Филипп Демьянович еще четырех охранников нам в помощь выделил, — заметил Лева.

— Он скоро танковый эскорт ко мне прикрепит! — недовольно пробормотал Киров. — В театр уже нельзя нормально съездить, без шума.

— Начальству виднее, Сергей Миронович, — философски ответил Буковский. — Может быть, какая-нибудь банда объявилась, такие меры предосторожности не помешают.

— Что они сделают, если какой-нибудь идиот в нас гранату бросит? — усмехнулся Киров.

— Это тоже правильно, — заметил Лева.

Они доехали до Смольного. Киров вышел, подошел ко второй машине, заглянул внутрь. На заднем сиденье вместе с двумя охранниками сидела молодая женщина с нахальными зелеными глазами.

— Кто старший группы? — спросил Киров.

— Я, товарищ первый секретарь обкома! — сидевший на переднем сиденье машины гэпэушник вы-

скачил из нее и, отдав честь, густо покраснел. — Геннадий Скворцов!

— Вот что, товарищ Скворцов, на сегодня можете быть свободны! — приказал Киров.

— Но нам приказано... — забормотал Скворцов.

— Я, как старший по званию, отменяю приказ! — перебил его Киров. — Все понятно?

— Но товарищ Киров...

— Я спрашиваю: вам понятно?! — разозлившись и повысив голос, спросил Киров.

— Так точно! — отрапортовал Скворцов.

— Что за женщина с вами в машине?

— Это моя невеста, — еще гуще покраснев, ответил Скворцов. — Я знал, что не положено... но ей очень хотелось на вас посмотреть. Больше такого не повторится, клянусь вам!

— Хорошо, поезжайте! — кивнул Киров и подошел к своей машине. — Лева, съездишь на вокзал, там...

— Я понял, Сергей Миронович! — не дожидаясь, пока он закончит фразу, отозвался Лева.

Киров посмотрел на него и усмехнулся.

Обе машины отъехали почти одновременно. Когда Буковский подъехал к вокзалу, Мильда уже была на месте: в белой блузке и с ниточкой красных бус на шее. Зина даже не сразу ее узнала, так эффектно и зазывающе она выглядела. А узнав да еще увидев, как Мильда, не спрашивая ни у кого разрешения, тотчас впорхнула на заднее сиденье черного кировского «форда», она пристыла на месте.

— Подожди, кто это?! — удивилась Зина, указывая пальцем на Мильду.

— А этого тебе знать не положено! — сердито отозвался Скворцов. Он был не рад, что позволил Зинаиде сесть в машину. Если Киров доложит об этом факте Медведю, его вычистят из органов в два счета.

— Да это начальница моя! — воскликнула Зина, провожая взглядом отъехавшую в сторону Смольного машину.

— Это Мильда Петровна, — уважительно обронил шофер. — Я ее тоже как-то раз в прошлом году в Смольный, к Сергею Мироновичу отвозил.

— Вот это новость! — прошептала Зина.

— Ты поменьше болтай об этом! А то язык-то быстро отрежут! — прервал ее Скворцов.

— Кто это отрежет?! — завелась Зина. — Ты, что ли?!

Она радостно расхохоталась. Да еще подпустила такую издевку в хохотке, что Геннадий помрачнел.

— Останови! — приказал он шоферу.

Машина остановилась.

— Вылезай! — бросил он Зине.

— Ты чего, Ген? Сдурел, что ли? — продолжая смеяться, спросила Зина.

— Вылазь, я сказал! — рявкнул Скворцов.

Зина несколько секунд не могла прийти в себя.

— Ну, ты еще пожалеешь! — зло прошептала она, вылезла из машины и с ненавистью хлопнула дверцей.

Киров чувствовал свою вину перед Мильдой. Он понимал, что она живет только им, этими краткими встречами, а все остальное время терпеливо ждет его звонка. Но именно с Мильдой он испытал лучшие мгновения любовной страсти и даже по-своему любил ее, как умеют любить партийные вожди, вынужденные отдавать всего себя работе. Киров признавал, что через полгода он уедет в Москву, и они, быть может, никогда не увидятся. Встретит ли она еще кого-нибудь в своей жизни или в свои тридцать три начнет медленно угасать, живя лишь воспоминаниями об этих редких ночных свиданиях?

Мильда могла стать ему хорошей женой, родить

детей, и он был бы счастлив с ней, здоровой, крепкой, сильной женщиной, немногословной и на редкость внешне спокойной, но какие страсти бушуют внутри! А почему нельзя перевести ее в Москву, в тот же наркомат к Серго, квартиру она легко поменяет, и все останется по-прежнему, они так же будут встречаться, только не в Кремле, а снимут комнатку для свиданий, так устраиваются многие из его кремлевского окружения. В Ленинграде это сложнее, он тут один, его все знают. Киров вспомнил о Николаеве, муже Мильды, и нахмурился. В Москве он конечно же ни к чему. Киров поможет Мильде материально, и стоит ли тогда тащить за собой мужа?

А если Миля будет еще и разведена, Коба не станет возражать против их свиданий. Он же уверен, что один ребенок у Мильды от Кирова. Если это так, то Киров имеет право навещать мать своего ребенка. Это лучше, чем затаскивать в постель балерин, они капризны, холодны, манерны и с легкостью бабочек залетают в объятия ко всем, кто их поманит.

Часы показывали ровно одиннадцать. Мильда должна быть здесь. Он всегда перед ее приходом испытывал странное беспокойство, точно ждал ее в первый раз, как тогда, пять лет назад. Возможно, все это из-за Мильды, она всегда волновалась, как девочка, сохраняя природный трепет и стыдливость, и ему невольно передавался этот внутренний озноб. Он подвинул к себе конспект тезисов к будущему докладу, стал их просматривать, прислушиваясь к гулкой тишине в коридоре, и как только услышал дробный перестук каблучков, поднялся, подошел к двери. Она влетела в кабинет, бросилась ему на шею, точно за ней снова гнался грабитель.

— Что-то случилось?..

— Нет, я... Я просто рада тебя видеть.

Сможет ли он когда-нибудь забыть простоту и

силу этих чувств, их глубину и открытость? Достаточно ему месяц или два не видеть Мильду, как душа начинает тосковать и требовать запретного свидания. Может быть, это и есть та настоящая любовь, о которой пишут в романах?.. А в юности была лишь дикая вспышка желаний, и он принял ее за высокое чувство, женившись на Маше?.. Он был тогда молод и неопытен. Сейчас ему сорок восемь, он на пороге старости, но забывает обо всем, когда она рядом.

— Я подумал, что и ты, наверное, смогла бы переехать в Москву? — спросил он.

— Зачем?.. — удивилась она.

— Мне придется переехать в начале следующего года, я дал слово Сталину, да и Политбюро требует, чтобы я оставил Ленинград и полностью занялся союзной работой как секретарь ЦК...

Она посмотрела ему в глаза.

— А что я в Москве... — Мильда не договорила.

— Я договорюсь с Орджоникидзе, он возьмет тебя в секретариат наркомата, квартиру обменяем поможем или дадут новую. В Москве теплее, это большой, шумный и тоже красивый город. Зарабатывать будешь даже побольше, в наркомате много льгот, пайки, я готов помогать, если появятся денежные затруднения...

— Ты не хочешь, чтобы он переезжал? — помедлив, спросила она.

— Ты сама говорила, что... он тебе неприятен. Зачем продолжать семейную жизнь, которая кроме огорчений ничего не приносит, — Киров отошел к столу, закурил.

— Я уже думала об этом и хотела с ним объяснить, но...

— Что тебя останавливает?

— Он сейчас без работы, уже три месяца, я не

могу его выгнать на улицу. — Мильда вздохнула, расстегнула верхнюю пуговичку на блузке, села в кресло.

— А почему он не устроится на работу? — удивился Киров.

— Его не берут в институт истории. Лидак...

— Я знаю! — перебил ее Киров. — Читал его слезное послание ко мне. Лидак его и не возьмет, а я ничего не могу сделать, даже формально заставить директора восстановить его. У него строгий выговор с занесением, а с таким нарушением в Институт истории партии имеют право не брать. Но есть тысячи других мест, ему предлагали пойти на завод, он не хочет. Почему?.. Он слесарь 6-го разряда, это высокая квалификация, а потом на заводах есть масса других агитационно-культурных должностей, есть дворцы культуры, что он уперся с этим институтом?!

Киров разволновался, нервно заходил по кабинету.

— Я не знаю. — Мильда пожала плечами. — Мы с ним почти не разговариваем.

— Но у тебя двое детей, мать, а теперь еще и он на твоей шее! Здоровый, молодой, тридцатилетний мужик! Три месяца ничего не делает, кроме того, что строчит жалобы и заявления во все инстанции и на всех. Объясни мне: как можно терпеть такое?!

— Мама уже с ним ругается, а я не могу. И не хочу! Мне противно. Он объясняет, что его уволили несправедливо и восстановиться для него дело принципа.

— Дело принципа каждого нормального мужчины — обеспечивать свою семью, кормить своих детей, — сказал Киров. — Пусть даже его уволили несправедливо, предположим! Хотя он не только не имеет специального исторического, что необходимо для работы в научно-исследовательском институте, но и среднего образования! Но хорошо, отметем это.

Пусть его уволили несправедливо, но директор в данном случае формально прав, он не нарушил закона. Ты видишь, что повода для отмены приказа об увольнении нет, а директор не хочет идти тебе навстречу, значит, надо забыть этот институт и искать другую работу. Любую, чтобы только помочь своей семье! Почему он этого не делает?!

— Я не знаю. И прошу тебя, не мучай меня этими вопросами! Ты хочешь, чтобы я переехала в Москву одна, я перееду! — грустно улыбаясь, ответила Мильда.

— Не одна, а с детьми и с мамой, — уточнил Киров. — Я бы смог к тебе в гости заходить.

— Ты будешь заходить ко мне в гости? — потрясенно прошептала она.

— Если пригласят, конечно, — улыбнулся он.

Мильда поднялась, бросилась ему на шею и долго не выпускала его из своих объятий. Он приподнял ее лицо и увидел слезы на глазах.

— Ну что ты, что ты?..

— Это от радости.

— Кто ж от радости плачет? От радости радуются.

— Я и радуюсь.

— Я скоро на месяц уеду. Сталин зовет.

— Я буду тебя ждать.

— Я иногда думаю, за какие подвиги мне эта награда выпала?.. — улыбнулся Киров.

— Какая?

— А такая вот, с рыжими веснушками.

— Они к концу лета проходят...

— Жалко!

— А весной опять появляются.

— До весны я как-нибудь дотерплю.

То обстоятельство, что Сергей будет заходить к ней в гости, познакомится с ее мамой и детьми, обрадовало и испугало одновременно — начиналась

новая пора в их отношениях, но прибавит ли она им счастья?

Мильда давно уже поняла, что совершила ошибку, выйдя замуж за Николаева, но жалела детей, которые могут остаться без отца, а больше всего самого Леонида. Детей она поднимет и без него, а он без ее поддержки пропадет. Хотя еще здравствовали мать и двое сестер Николаева, которых он изредка навещал. Мильду они невзлюбили с первого дня, видимо, считая, что их Ленечка мог иметь лучшую партию, а не брать голодранку из Луги, которая заявила в Ленинград с одним деревянным чемоданом. Они даже подыскивали ему по соседству одинокую молочницу, у которой имелся свой дом, корова, два поросенка и большой огород. Но Леонид, не спросив материнского разрешения, заявился сразу с обузой, которая притащила за собой еще и мать, а через год родила ребенка, чтоб покрепче привязать к себе их сыночка. Так они считали, и Мильда к ним в гости не ходила, и к себе не звала. Теперь для их будущего разрыва так даже лучше. Пусть говорят все, что им вздумается, она уедет и забудет о них.

Стоял конец июня, и ночей почти не было, опаловый сумрак несколько часов курился в воздухе и мгновенно таял в первых лучах солнца. В такие ночи и спать не хотелось, они то подолгу разговаривали, то целовались, не успевая насладиться друг другом. Прощались, как всегда, наспех, она мчалась как угорелая, опаздывая домой, а потом на работу и снова ожидая заветного звонка и свидания.

В конце июня Сталин вызвал к себе Генриха Ягоду, который после смерти Менжинского временно исполнял обязанности председателя ОГПУ и давно ожидал этого вызова в Кремль, рассчитывая наконец-то по праву занять председательское место. Десять лет он проходил в замах, фактически руководя Госполитуправлением при Вячеславе Рудольфовиче, который, страдая тяжелейшими приступами астмы, редко появлялся на работе. Чаще всего Ягода приезжал к нему на дачу, докладывал о текущих новостях, согласовывал план проведения коллегий и рассказывал о ходе дел по тому или иному следствию.

Начиная с шахтинского дела, Ягода так же обстоятельно доносил о прохождении следствия и Сталину, выслушивал его замечания, принимая их к неукоснительному исполнению, даже не всегда подчас сообщая о них Менжинскому. До сих пор у Ягоды отношения со Сталиным складывались дружественно. Полгода назад по предложению вождя именем Ягоды была названа Высшая пограничная школа ОГПУ. Еще был жив Вячеслав Рудольфович и логичнее было бы назвать школу его именем. Ягода, не желая ссориться из-за этого с самолюбивым и влиятельным председателем ОГПУ, сам внес такое предложение, когда Сталин ему объявил о своем реше-

нии, но Хозяин резко заметил, что от наград отказываются только глупцы или люди с нечистой совестью.

— Какое из этих определений товарищ Ягода выбрал бы для себя? — спросил Сталин.

— Я бы предпочел отказаться от обоих, — сказал он тогда.

— Обычно нормальные люди благодарят за доверие и высокую честь, им оказанную, — озлясь, заметил Сталин.

Ягода пошел на попятную, забормотал слова благодарности, но Сталину все равно тот отказ запомнился, и он время от времени проговаривал вслух: а не рано ли они товарища Ягodu увековечили имен-ной доской.

— Или изувечили? — добавлял Сталин, любивший играть словечками и считавший себя большим знатоком русского языка.

Поэтому, сидя в тихой приемной Сталина и наблюдая за медленным, похожим на жучка, копошащимся в бумагах Поскребышевым, Ягода не обольщался относительно благоприятного расположения к нему Кобы. Оно могло измениться в любой миг, тем более что недоброжелателей у Генриха Григорьевича хватало. Вдруг обозлился на него Каганович. Киров при встрече делал холодное лицо и сухо кивал. С подозрением на него посматривал Орджоникидзе. За последние шесть лет, когда фактически он руководил управлением, оно заработало энергичней, увеличилось количество дел, состоялось несколько громких процессов. Не обошлось и без перелестов. Во время следствия по делу Промпартии в начале 1930 года прокофьевские молодцы из Экономического управления выбили признание у профессора Рамзина, одного из главных обвиняемых, что он якобы в октябре 1928 года встречался в Париже с контрреволюционером-капиталистом Рябушинским

и брал у него деньги на содержание своей партии и проведение диверсий. Эти данные фигурировали на процессе, который широко и подробно освещался в газетах, на этот факт ссылался и государственный обвинитель Крыленко в своем заключении, требуя смертной казни для подсудимого. Скандал разразился уже после того, как суд в декабре того же 1930 года вынес смертный приговор Рамзину и его четверым соратникам. Многие иностранные газеты, освещавшие процесс, язвительно написали, что Рябушинский умер в 1924 году, и встреча с ним Рамзина могла произойти лишь при условии, если советский профессор в двадцать восьмом умудрился побывать на том свете. Точно так же газеты высмеяли и утверждение Рамзина о встрече с руководителями французского генштаба, которые якобы посвятили его в планы нападения на СССР, назвав точные сроки интервенции, места высадки десанта, направления главных ударов и другие сверхсекретные вещи. Любому мало-мальски осведомленному в военных вопросах человеку такой идиотизм не примерещится и в страшном сне. На пост министра иностранных дел в будущем «правительстве Рамзина» планировался известный историк Евгений Тарле, с которым Рамзин вообще никогда не встречался, а сам Тарле в тридцатом году отбывал ссылку в Ташкенте, а на пост министра финансов Рамзин прочил царского финансиста Вышнеградского, который, как оказалось, тоже умер за несколько лет до процесса. Откуда следователи Ягоды только повыкапывали эти имена и почему они даже не поинтересовались, чем эти лица занимаются сейчас, живы ли? Сталин, не спеша, монотонно в течение получаса перечислял Ягоде ошибки его подручных. Наконец он взорвался, заявил, что Ягода превратил важнейший политический процесс в посмешище, обелив тем самым злостных врагов

Советской власти, и дал хороший повод западным зубоскалам посмеяться над справедливым пролетарским судом.

— За такой пасквиль надо самого организатора поставить к стенке, чтобы другим неповадно было! — закончил свою коверную выволочку Сталин и замолчал, прохаживаясь по кабинету. Минута была критическая. Ягода понимал, что судьба его висит на волоске, но как тут оправдаешься, если все, что сказал Сталин, не подлежит сомнению, и в этих ошибках виноват только он. Ягода подписывал следственные тома, отправляя их в суд.

— Я готов умереть, товарищ Сталин, — прошептал Ягода. — Я должен был проверить каждое признание врага, а не доверять все следователям... Это моя вина!

— Похвально, что вы хоть признаете свои ошибки, — проговорил, смягчая тон, Сталин. — И судебские тоже хороши! — проворчал он. — Их обязанность проверять такие факты и находить неточности. На то он и суд, чтобы вникать в суть, — невольная рифма развеселила вождя.

Но не мужественное признание Ягоды в тот момент решило его судьбу. И одновременно жизнь профессора Леонида Рамзина, которого «пасквилист», к счастью, не успел расстрелять. Сталин сказал, что раз некоторые важные пункты обвинения против Рамзина несостоятельны, значит, и высшая мера не может быть к нему применена, а потом он может понадобиться другому следствию. Это был удачный миг в жизни Генриха Ягоды, когда он внезапно угадал направление сталинской мысли.

С легкой руки Емельяна Ярославского к тому времени были арестованы «буржуазные реставраторы», экономисты и теоретики сельскохозяйственной науки профессора Чаянов и Кондратьев. В качестве

основных доказательств их вины Ярославский приводил публикацию вредных статей и книг двух ученых, а роман Чаянова, написанный еще в двадцатом году и называвшийся «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии», в котором автор предсказывал, что в 1984 году Россия будет свободной крестьянской страной, Ярославский назвал «кулацким манифестом». Сталину тогда вслед за процессом над Промпартией очень хотелось устроить суд не столько над двумя легкомысленными учеными, написавшими вредные глупости, сколько над целой партией, такой же крупной и мощной, какой получилась, несмотря на просчеты, промышленная. Получилась благодаря указаниям Кобы и стараниям Ягоды. Последний, горя служебным рвением, даже придумал название для новой организации — Трудовая крестьянская партия, но дело застопорилось, хоть Ягода арестовал немало экономистов-аграриев, агрономов и кооператоров: по замыслу Сталина, крестьянская партия в такой крестьянской стране, как Россия, должна быть более многочисленной, нежели промышленная, а значит, и больше врагов должно присутствовать на будущем процессе.

Но подготовка к новому, еще более масштабному судилищу проваливалась. Идти по проторенному пути и связывать аграриев с Раймондом Пуанкаре, Лоуренсом Аравийским, Генри Детердингом, как это неплохо получилось в истории с Рамзиным, Кобе не хотелось, а без международного размаха получалась не контрреволюционная партия, а кучка вредителей. И Сталину все чаще приходило в голову связать Кондратьева и Чаянова с Рамзиным. Последнего уже как бы нет, он признанный злодей, враг, но пообещать ему жизнь за фантазии против своих коллег-профессоров, которые задним числом можно было вписать в его показания, — эту сталинскую идею неожиданно

и вдохновенно угадал Ягода и тотчас за нее ухватился, чтобы спасти свою голову.

— Они наверняка были связаны друг с другом! — горячо заговорил он. — Как я об этом раньше не догадался!

Генрих Григорьевич даже хлопнул себя по лбу.

— Поговорите с Рамзиным, — кивнул Коба. — Он неглупый человек и найдет время вспомнить, где встречался с Чайновым и Кондратьевым. Может быть, и в Париже, но только без Рябушинского и Вышнеградского. Будьте повнимательнее к таким деталям! Хорошо найденная деталь — половина успеха. Сейчас весь Париж наводнен русскими эмигрантами, и найти в этой навозной куче свежих подлецов, я думаю, не составит труда...

Но процесс над крестьянской партией так и не состоялся. Рамзин отказался участвовать в новом сталинском фарсе. Он устал, выдохся и смотрел на Ягоду, как на больного.

— Тот, кто все это придумывает, явно сумасшедший, — тихо сказал Рамзин на последнем допросе. — Я только не пойму: зачем все это устраивать? Чтоб списать на нас свои стратегические ошибки? Но для них можно найти одного-двух тупоголовых начальников, сделать их козлами отпущения и показательно расправиться с ними. Для чего же вся ваша буффонада? Чтоб загнать сто пятьдесят миллионов в тупик страха, полностью парализовать страну, а потом управлять ею легким шевелением пальца? Вы слышите, о чем я говорю? — спросил Рамзин.

Ягода слышал. Он слышал это тогда, слышал и сейчас, сидя в приемной Сталина, ожидая, когда его вызовут, и вспоминая эти недавние дела. Больше того, Ягода и сам себе задавал те же вопросы и пришел к таким же точно выводам. Но восхищения широтой, мощью и коварством сталинских планов не

было. Не было программы. Если б Сталин поставил перед Ягодой задачу полностью заменить, к примеру, весь слой старых ученых советскими пролетарскими кадрами, это было бы понятно. Или истребить всех военных, получивших выучку в царское время. И это выполнимо. Но вождь точно прохаживался мимо грядки с морковью и время от времени выдергивал те пучки, которые пышно шли в рост. Но корешков у них почти не было. И сталинские чистки рождались странно и хаотично, неожиданно, ниоткуда, словно он ничего не продумывал заранее, а двигался на ощупь, настигаемый припадками неведомого озлобления. Так, едва Ягода начал раскручивать шумный процесс с Трудовой крестьянской партией, как тут же получил от Сталина новое задание: готовить процесс меньшевиков. Генрих Григорьевич попытался уговорить Сталина дать ему возможность довести до конца подготовку Кондратьева и Чаянова, но Хозяин лишь поморщился и сердито махнул рукой, давая понять, что крестьянская партия его больше не интересует.

— Большинство меньшевиков, — поучал вождь, заглядывая в список, подготовленный ему Ягодой, — сидит в плановых организациях. А что такое социалистический план? Это святая святых нашего дела! И меньшевики вредят в самой важной для нас области! Занижают показатели там, где наблюдается большой порыв масс, и наоборот, завышают на тех участках, где наше хозяйство пробуксовывает. А от этого и наши огромные потери!

Он говорил так увлеченно и заинтересованно, словно нашел главный корень зла всех неудач СССР в сфере промышленного развития. И Ягода был вынужден забросить подготовку процесса над крестьянской партией и заняться меньшевиками. Когда Ида, его хрупкая маленькая жена, погруженная в свой мир музыки, спрашивала у него: «Что происходит,

Геня?» — он обычно отвечал: «Ничего не происходит». И саркастически добавлял:

— Весь мир — театр, все люди — актеры, сейчас мы играем хроники, нам кажутся они трагическими, но когда-нибудь их назовут фарсами...

— Я не понимаю: о чем ты говоришь, Геня?

Она смотрела на него огромными испуганными глазами, выразившими, как говорила теща, Софья Михайловна, родная сестра Якова Михайловича Свердлова, «всю скорбь еврейского народа», и не понимала, что вообще происходит в стране, к чему эти бесконечные репрессии и неужели ее дядя стоял у истоков этого всенародного ужаса. Хотя Ида знала лишь одну десятую или сотую часть всего происходящего, Генрих Григорьевич с годами превратился в скрытного и молчаливого человека. Эта была удивительная метаморфоза, с ним приключившаяся, потому что раньше все знали его как импульсивного, взрывного юношу, который, распалившись, мог не только ударить, но и пристрелить обидчика. Недаром он якшался в молодости с анархистами, а не с большевиками. Разница тогда была небольшая, не как сейчас, и Ягода, упоминая в автобиографии о начале своей революционной деятельности с 1904 года, естественно, писал, что состоял в рядах РСДРП, а не в нижегородской группе анархистов-коммунистов, как было на самом деле. Ему нравились тогда террористические акции, нравилось наблюдать страх в глазах приговоренных к смерти, заставляя их корчиться в ногах, вымаливая жизнь, нравилось даровать ее, но внезапно менять свое решение и заканчивать короткий скетч оглушительным выстрелом. Все это так возбуждало, что Генрих, как он стал называть себя, с радостью брался за исполнение таких приговоров. Вместе с ним в анархистах состояла и его сестра Роза,

а сам Геня был правой рукой вожака анархистов, беспощадного Чемборисова.

Но все переменялось с его приходом в 1921 году в ВЧК. За эти годы он столько перевидел казней и расстрелов, что постепенно превратился в замкнутого и молчаливого человека, которого неожиданно увлекла тихая чиновничья работа: составление циркуляров, должностных обязанностей, формирование новых управлений, он буквально купался в этих бумагах, к удивлению окружающих, но внезапно возникший интерес Сталина к ОГПУ, приход Георгия Евдокимова, ставшего начальником СОУ (секретно-оперативного управления), кавалера четырех орденов Красного Знамени, любимчика Сталина, благодаря которому появилось на свет знаменитое шахтинское дело, и претендента на должность первого заместителя председателя, быстро разбудили Ягоду, заставив действовать, искать новые дела, вступить в поединок с Евдокимовым, который неожиданно восстал против своих же методов массового террора, заговорил об ошибках шахтинского дела, о подлогах в деле Промпартии и вообще о чрезмерных репрессиях в ГПУ. Евдокимова тотчас поддержали другие чистоплюи — Ольский, Мессинг, Воронцов, внезапно возникла целая группа, направленная против него, и он понял: они его закопают. Нужно было действовать без промедления. Ягода бросился к Кагановичу, упал в ноги, заявил, что если признать ошибкой шахтинское дело и промпартию, то честь партии будет поставлена под сомнение. Сам Сталин одобрил процессы над шахтинцами и компанией Рамзина, надо остановить Евдокимова. Каганович бросился к Хозяину, тот вызвал Ягоду, и участь евдокимовской группы была решена. Их крепко попинали на закрытом партсобрании в ОГПУ и распахали по разным местам, не очень ущемляя в правах и помня о прошлых

заслугах. Евдокимова Коба направил было в Ленинград вместо Медведя, это было почти повышение, но Киров заартачился, и Медведя пришлось оставить. Теперь наступал четвертый этап в жизни Ягоды, и каким он будет, Генрих Григорьевич даже не представлял. Если Хозяин захочет еще большей крови и новых массовых судилищ, то многим посчастливится увидеть тот самый ад, которым запугивали до революции народ церковные крысы. И Ягода тогда уподобится черту на службе у дьявола. Но может быть, Сталину хватит ума, чтобы остановиться?..

И без того в газетах постоянно мелькали сообщения о процессах философов, историков, старых военспецов, многих из них теща и жена хорошо знали. Ида испуганно смотрела на мужа, задавая каждый раз один и тот же вопрос:

— Что происходит, Геня?

— Ничего не происходит, — отвечал он, лакомясь творогом с клубникой. — Обыкновенное дело, вредители...

Может быть, и действительно ничего не происходило, и реки крови, пролитые и по его вине, были наполнены не сладковатой тягучей темно-красной жидкостью, а ярким клюквенным соком.

29

Зазвонил телефон на столе Поскребышева, он снял трубку, и лицо его преобразилось. Как показалось Ягоде, даже лысина засверкала сияющим блеском. Сталинский секретарь прилип к трубке, услышав голос Хозяина, и, согнув спину, чуть привстал со стула. Переговорив, он устремил свой непроницаемый взгляд на Ягоду, и на рыхлом лице Поскребышева промелькнуло некое мимолетное подобие улыбки.

— Иосиф Виссарионович просит вас зайти, Генрих Григорьевич, — со значением сказал он.

Ягода зашел в кабинет Сталина. Перед ним на столе лежала папка с личным делом заместителя председателя ОГПУ, значит, речь пойдет о его назначении или... О втором варианте Ягода и думать не хотел, да и не водилось за ним ничего такого, что могло бы его очернить в сталинских глазах. Даже влюбленность в невестку Горького Тимошу он выставлял как служебную необходимость: Сталин очень хотел, чтобы Алексей Максимович написал о нем хороший биографический очерк, как в свое время о Ленине, а может быть, и лучше и напечатал его в солидном зарубежном издании. Горькому доверяли, а Сталин жаждал мирового признания. Ягода и перед женой оправдывался той же причиной, постоянно пропадая то в московской квартире, то на даче великого пролетарского писателя и изредка напоминая

старику о наказе Хозяина, но все напоминания заканчивались раздраженным покашливанием народного любимца. Да, он благодарен Сталину, который еще при его жизни переименовал Нижний Новгород в Горький, центральную улицу Москвы, Тверскую, в улицу Горького и разрешил дать имя первого пролетарского писателя еще сотням улиц и фабрик в других городах, самолетам и пароходам. Но Горький пока не готов был взяться за такой труд. Ему нужно время все обдумать. Сталин злился, Ягода врал, сообщая, что Старик уже обдумывает план очерка. Во время подвернулся француз Анри Барбюс, автор знаменитого романа «Огонь», и Сталин согласился, чтобы пока Барбюс описал его революционный подвиг.

«Вы, кто не знаете его, он давно знает вас и заботится о вас. Кем бы вы ни были, лучшая часть вашей судьбы находится в руках этого человека, который заботится обо всем и трудится... Человек с головой ученого, с лицом рабочего, в одежде простого солдата».

Сталин посетовал, что книга написана суховато, и не переставал напоминать Ягоде о Горьком, правда, уже менее раздраженно.

Перед тем как вызвать к себе Ягоду, Коба перелистал папку с его личным делом. Отдельно от анкеты лежал листок, подготовленный одним из руководителей сталинской разведки, где излагались совсем другие сведения о Енохе Гершеновиче Иегуде: и о его членстве в группе Чемборисова, который состоял платным агентом царской охранки, и довольно убедительная версия о том, что и Ягода мог также быть завербован в те годы и состоять платным осведомителем. Архивы охранки были уничтожены, и подлинных свидетельств агент Кобы представить не мог, да Сталину они были и не нужны. Он лишь дал почи-

тать «подлинную справку» самому Ягоде, наблюдая, как меняется его лицо по мере чтения. «Он, видимо, думал, что я вызвал его, дабы объявить о новом назначении», — подумал, раскуривая трубку и усмехаясь в усы, Сталин.

— Я не понимаю, — дочитав характеристику о себе до конца и побледнев, шепотом выговорил Ягода. — Это клевета от начала и до конца!

— И Чемборисова вы, Енох Гершонович, не знаете, и в его группе не состояли? — спросил Сталин и выкрикнул: — Только не врите мне, Иегуда! Хотите, чтоб я вызвал сюда для очной ставки вашу сестру Розу?! Я могу это сделать, но тогда у нас совсем другой пойдет разговор!

Ягода уронил на грудь голову и несколько секунд молчал, не говоря ни слова. Но Сталин не торопился. Он любил эти сладкие минуты напряженной тишины.

— Да, я состоял в группе Чемборисова, — признался Ягода, — но о его провокаторской деятельности мне тогда ничего не было известно...

— Это уже лучше, — согласился Сталин. — Я ничего не вижу страшного в том, что вы одно время примыкали к анархистам. Я тоже прошел через это. Анархисты были в то время революционной партией, что в этом плохого. Просто не надо было придумывать о себе глупых легенд. У вас достаточно большевистских заслуг после революции, наград, которые вы получили заслуженно. И конечно, я не хочу, чтоб все это завтра же попало в газеты, иначе бы с вами вели разговор в другом месте, вы же понимаете. Но я не люблю, когда от меня что-то скрывают. Не надо. Если узнаю еще что-нибудь подобное, сам пристрелю! А я должен знать все о человеке, которого хочу назначить наркомом внутренних дел с включением в новый наркомат и Главного управления государст-

венной безопасности, так теперь будет называться ОГПУ, все, до последней родинки на теле. Потому что партия вручает этому человеку свою безопасность, и в руках этого народного комиссара будет сосредоточена очень большая власть. Может быть, даже больше, чем у наркома обороны, так теперь мы будем называть должность товарища Ворошилова. И я, доверяя вам, должен знать, будет ли оправдано это доверие. Вам это понятно, Енох Гершенович?

— Так точно, товарищ Сталин! — Ягода резко поднялся и отдал честь.

За эти несколько минут он успел уже попрощаться со своей жизнью, вновь возродиться и быть вознесенным на вершину власти. За несколько минут. Поэтому он плохо соображал, чего хочет от него Сталин. Рабского послушания? Но Ягода и до этой минуты не был строптивцем. Еще большего служебного рвения? Но он и так делал все, о чем Сталин едва успевал подумать. Даже эти склянки с ядами, из-за которых Коба прозвал его Аптекарем. В юности он два месяца учился у одного весьма искусного фармацевта — это было все его образование — и преуспел именно в составлении ядов. Генриха заворачивала капля, всего лишь капля жидкости, проглотив которую с водой или пищей, человек исчезает. Не одну скляночку Ягода составил для Кобы.

— Что там у нас в Ленинграде? Хорошо ли охраняется у нас, к примеру, товарищ Киров? — спросил Сталин. — Сидите, мы просто разговариваем.

Ягода сел.

— Мне переслал Медведь письмо этого студента, из которого явно усматривается активизация белогвардейского подполья. Мы сейчас разрабатываем широкомасштабную операцию по захвату отдельных белогвардейских групп, и как только закончится про-

работка этой операции, я представлю вам ее более подробно, — доложил Ягода.

— Это хорошо, но не забывайте и о внутренней контрреволюции, она страшнее! Что с нашими «Сво-яками»? Вы, я вижу, забросили их!

— Никак нет, товарищ Сталин, — Ягода снова поднялся. — Дело тормозится тем, что товарищ Киров никак не хочет подписывать постановления об аресте отдельных лиц — Левина, Румянцева, я вам уже докладывал об этом. Я повторно, приведя новые доказательства их вины, передал через Медведя наши постановления Кирову, но ответа пока нет, и, как говорит Медведь, он скорее всего будет отрицательным.

— Медведь так говорит? — удивился Сталин.

— Так точно, — ответил Ягода.

— Еще Сергей Миронович не принял решение, а он уже так считает, — задумчиво повторил Сталин. — А может быть, он и диктует этот ответ Кирову?

— Я не знаю, — пожал плечами Ягода.

— Никогда больше не произносите при мне: «Я не знаю», — вспыхнул Сталин, и глаза его вспыхнули желтым светом. — Народный комиссар НКВД не может так говорить. Он должен знать все. А если такой нарком отвечает секретарю ЦК: «Я не знаю» — значит, он не народный комиссар.

— Я исправлюсь, товарищ Сталин, — пробормотал Ягода, вытирая пот со лба и подавляя вспышку страха.

Сталин был не в духе. Утром ему доложили, что диктограф, присланный из Ленинграда, неисправен настолько, что не годится для дальнейшей работы. Шуга сидел под домашним арестом и каждый день писал донесения о том, что рядом с Иосифом Виссарионовичем прячется страшный враг, сильный и все-

могущий, верховней самого вождя, потому что он отдает те приказы, которые не в силах отменить даже Сталин. Эти письма так напугали Кобу, что он вторую ночь подряд не мог уснуть.

— Кто это может быть? — вызвав в пять утра Паукера, спросил Сталин, указывая на письма.

— Он сошел с ума, Коба, — зевая, проговорил Паукер, стоя перед Хозяином в ночной рубашке.

— Найди мне его! — прошептал вождь.

— Кого? — не понял Паукер.

— Врага, который прячется рядом со мной, сильного и всемогущего, — оглядываясь по сторонам, в страхе прошептал Сталин.

Паукер мгновенно проснулся и, оглядев пустую спальню, проникновенно проговорил:

— Рядом с вами, Иосиф Виссарионович, только преданные друзья: Клим Ворошилов, Каганович, я, Жданов, Поскребышев, других нет, а мы все тебя любим, как родного отца.

— А Киров мне не преданный друг? — неожиданно спросил Коба. — Ты не назвал Кирова!

— Но Кирова нет рядом, — оглянувшись, сказал Паукер. — Он в Ленинграде.

— Тогда убей этого, — Коба показал на письма, — сам убей, отвези за город и вбей в могилу осиновый кол. Только не по нашей дороге отвези. Сегодня же, сейчас!

— Конечно, сделаем, — прикрывая ладонью нервную зевоту, согласился Паукер. — А все Ленинград, зиновьевский город, он всех отравляет, видно, много там дряни скопилось, — бросил Карл на пороге.

Еще через пять минут Паукер уехал выполнять задание. А Сталин задумался над его словами о Ленинграде. Очень точно сказал начальник охраны Ленинград — страшный город, Коба всегда его боялся,

и конечно же не воришки загубили столь блестяще задуманную операцию. А значит, дело в Медведе или даже выше, в Кирове. Но мозг Сталина отказывался верить, что за всеми неудачами с Ганиными стоит Киров. Это было бы слишком больно. Он столько лет опекал этого вятского мальчишку, растил, двигал наверх, открыл ему свое сердце, душу, полюбил, как брата, чтобы поверить в его страшное предательство. Нет, это невозможно! Если такое случится, это будет самый ужасный день в его жизни. Киров не может этого сделать. Значит, за всем стоит Медведь и еще кто-то с ним? Все это надо проверить. В тот же день он приказал Ягоде послать заместителем Медведю опытного и надежного человека. Он уже наметил и кандидатуру — Ивана Васильевича Запорожца, руководившего информационным отделом в ОГПУ, а до 1930 года выполнявшего ряд ответственных поручений за рубежом. «Пусть он станет нашими ушами и глазами в Ленинградском управлении НКВД и обо всем постоянно докладывает мне», — повелел Сталин.

— И не надо думать, что Киров — хозяин в Ленинграде, — заметил Коба. — Сергей Миронович один из членов Политбюро и всего лишь один из секретарей ЦК, для которого работа в Ленинграде подходит к концу. Мы пошлем туда Жданова, я думаю, с ним у вас работа пойдет быстрее. Кстати, о Кирове... — Сталин выдержал паузу, в упор посмотрел на Ягоду. — Что вы с ним не поделили?

Ягода удивленно посмотрел на Кобу.

— У меня обыкновенные отношения с Сергеем Мироновичем, не сердечные, но и не враждебные...

— Киров требует создать комиссию по проверке законности следственных методов, которые вы применяете к заключенным. Я не могу этого запретить, он секретарь ЦК. В комиссию войдут Орджоникидзе,

Куйбышев, люди принципиальные, и, если они найдут серьезные нарушения, я тебе не завидую, — проговорил Сталин.

— Нарушений нет у того, кто не работает, Иосиф Виссарионович, — ответил Ягода. — И потом если я нарушал, то по вашему требованию, чтоб быстрее добиться нужных показаний.

— Ты меня в свои делишки не впутывай! — обрехал Ягodu Коба. — А будешь на меня ссылаться, по морде получишь. И поедешь на Колыму да еще неизвестно, в каком вагоне. Я знаю, почему Киров на тебя обозлился. Я тебе велел эту девку его, журналистку, только завербовать, а ты и жить с ней начал! Мало других баб вокруг? Надо было именно эту, кировскую, хапнуть, чтобы ему фигу показать! Этого хотел?

— Да я об этом и не думал, — пробормотал, краснея, Ягода.

— А о чем думал, о чем?! — выкрикнул злобно Сталин, и будущий нарком НКВД побледнел, вытянувшись перед вождем по стойке «смирно». Коба, заметив страх на его лице, неожиданно успокоился. — Вот и наскреб на свою шею! — ворчливо пробормотал он, закрывая личное дело Ягоды. — Приступайте к своим обязанностям, товарищ народный комиссар внутренних дел.

Ягода отдал честь, вышел из сталинского кабинета. У стола Поскребышева налил себе доверху стакан воды и залпом выпил.

— Можно вас поздравить, Генрих Григорьевич? — слабая улыбка чуть изогнула тонкий рот Поскребышева.

— Можете, — устало кивнул Ягода.

30

В Сочи стояла жуткая жара, и Киров, давно отвыкший от южного пекла, с трудом теперь справлялся с духотой. Даже ночью, когда зной спадал и с моря потягивало прохладой, он с трудом засыпал, обливаясь потом и поднимаясь утром с головной болью. Зато Коба чувствовал себя замечательно, появлялся к завтраку бодрым и веселым, в белоснежном френче и напевал любимую мелодию «Сулико», страшно при этом фальшивя.

Конспект учебника по русской истории был уже прочитан, они втроем, со Сталиным и Ждановым, его обсудили, придя к общему мнению, что представленные тезисы не отражают подлинного хода развития как русского государства, так и СССР. Нет анализа развития национальных республик, нет поступательного нарастания национально-освободительного и революционного движения, его особенностей именно в России, не показана широко и борьба партии за революцию, социализм, чистоту партийных рядов в столкновении с троцкизмом, нет и четкого марксистского подхода к трактовке отдельных исторических событий. Все замечания были обсуждены втроем и записаны в виде проекта постановления Политбюро, который они отослали в Москву, чтобы Поскребышев разослал его всем членам для прочтения и обсуждения.

Все это Киров мог сделать и в Ленинграде, никуда не выезжая, отдыхая у себя в Толмачеве или в Луге. Каких-то принципиальных разногласий между ними не было да и не могло быть. Киров понимал и то, что обсуждение будущего учебника истории — лишь предлог. Сталин хотел, как в старые времена, отдохнуть с ним вдвоем, покупаться, попариться в бане, выпить вина, полакомиться нежным мясом, редкой рыбкой, пряными соусами; неутомимый Паукер поднял на ноги все Черноморское побережье, поставляя к их столу разнообразные дары от абхазских, осетинских, грузинских и русских хозяйств и парторганизаций, желавших угодить вождям, приехавшим на летний отдых. Делегатов Паукер отметал тотчас, но дары брал и сам командовал, что бы хотелось от того или иного райкома, каждый обед радуя своих хозяев то запеченным в глине молодым барашком, то форелью в сметанном соусе, то нежным козленком, приготовленным в вине с черносливом.

— А где та рыбешка, которую варят, бросая живьем в кипящее масло? — подзуживал каждый раз Сталин Паукера и подмигивал Кирову.

Паукер после обеда сам рассказал Жданову и Сергею Мироновичу, что как-то похвалился попотчевать Хозяина этой редкой рыбкой, которая здесь почти не водится. Но старожилы сказали, что в горах есть одно озеро, там она должна быть. Поймать ее только трудно, она обитает на дне, а озеро столь глубокое, что ни сетью, ни удочкой увертливую рыбешку не прихватить. Паукер поклялся Сталину, что добудет ее, и, прибыв на озеро, стал гранатами глушить всю живность подряд, надеясь среди прочих белобрюхих, всплывших от взрывов на поверхность, найти и редкое лакомство. Местные жители, услышав взрывы и понимая, что кто-то губит их озеро, единственный источник пропитания, в ярости хватили вилы,

колья, ружья и бросились на грабителей. Паукер потребовал, чтоб все защитники убрались подобру-поздорову и не мешали ему выполнять важное государственное задание. Но женщины первыми отчаянно бросились на чекистов-налетчиков и крепко их поколотили, прогнав со своего озера.

— Он пришел вот с таким фингалом! Даже глаз заплыл! — засмеялся Сталин. — Зато пару рыбок принес... Пришлось мне вступить в первый раз за своего охранника, — многозначительно добавил Коба.

— Мы их всех на следующий день в Казахстан отправили! — разъярил Паукер. — Там, в степях, они быстро поумнеют. Обнаглели! Заявляют мне: мы не позволим губить наше озеро! Мы им покажем, кому тут что принадлежит, верно, Иосиф Виссарионович?

— Верно-верно, — точно радуясь паукеровскому бахвальству, засмеялся Коба.

— Теперь там три двора всего осталось. Кстати, можно съездить порыбачить, — загорелся Паукер. — Прямо на берегу ушицу сварим. Места, глаз не оторвешь!

— Это далеко, — поморщился Сталин. — И потом машины туда не пройдут.

Он взглянул на Паукера, и тот, поднявшись, театрально раскланялся, шелкнул каблуками и, громко напевая мелодию аргентинского танго, важно удалился.

— Красавец! — восхищенно хмыкнул Жданов.

Они обедали на веранде сочинской дачи Сталина, выходящей в сад, и в эти послеобеденные часы попадавшей в тень. Официантка унесла грязную посуду и принесла фрукты. На отдельном подносе была нарезана сочная желтая дыня, от которой исходил душистый аромат. Жданов даже облизнулся. Офици-

антка приветливо всем улыбнулась и бросила украдкой кокетливый взгляд на Кирова. Загорелый, в легкой распахнутой косоворотке, со взъерошенными и непросохшими после купания волосами, он казался мальчишкой в компании пузатого Жданова и стареющего Сталина. Тот перехватил жадный взгляд молоденькой официантки и помрачнел.

— Я сегодня утром перечитал наши замечания по историческим конспектам и подумал, — подождав, пока официантка уйдет, и вынимая из кармана трубку, задумчиво заговорил Сталин, как бы открывая послеобеденную, деловую часть их отдыха, — что после прочтения этой книги у молодых людей должно возникать чувство гордости за свою историю, своих предков, великих героев. Таких, как Александр Невский, Петр Первый, Суворов, Кутузов, Ушаков! Нужно превозносить их! Гитлер прав, делая упор на воспитание национального самолюбия, и прежде всего у молодежи! Он говорит: немцы — лучшая нация на этой земле, и все режут от восторга! Так и мы должны говорить: русские — лучшие во всем! Русские — это Ломоносовы, Кулибины, Черепановы, Суворовы! Защищая родину, ты защищаешь национальную славу, завоеванную твоими предками!

— А как же республики? — тихо спросил Жданов.

— Что республики? Русский — старший брат украинцу и белорусу, и все нации должны уважать это старшинство и гордиться своим великим братом, их не должно это задевать, а тем более оскорблять. Мы должны так деликатно это сделать, чтобы через несколько лет быть русским означало бы удостоиться великой чести. Я вот грузин по рождению, но я русский в душе! И горжусь сегодня не тем, что родился грузином, а тем, что стал русским! И хочу, чтобы все чувствовали то же самое. У нас одна страна, один государственный язык, и постепенно будет одна

семья. Русская нация вытеснит и поглотит все другие. Это закон, от него никуда не денешься, — уверенно заявил Сталин.

— Надо просто называть это любовью к Родине, патриотизмом, а эти черты мы должны развивать, — тут же согласился Жданов. — Но без упоминания немцев, Гитлера и фашизма, чья идеология несовместима с нашей.

— Что вы лааете, как шавки: фашизм, фашизм! — возмутился Сталин. — Оттого, что Бухарин так сказал? И пригрозил всем фашизмом? Но нашу жизнь надо сверять не по Бухарину! Между прочим, я на съезде тоже кое-что сказал о фашизме! И сказал, цитирую: «Мы далеки от того, чтобы восторгаться фашистским режимом в Германии. Но дело здесь не в фашизме, хотя бы потому, что фашизм, например в Италии, не помешал СССР установить наилучшие отношения с этой страной». Конец цитаты!

Это был первый случай на памяти Кирова, когда Сталин цитировал сам себя.

— И почему мы вдруг всем миром ополчились на фашизм? — не унимался Сталин. — Из-за того, что Гитлер не любит евреев? Так и я их не люблю! Я ценю рвение Кагановича, но не люблю евреев. И потом Каганович — еще не все евреи. Или из-за того, что фашисты публично сожгли и запретили печатать несколько вредных книжонок? Так мы тоже запрещаем. Крупская недавно мне целый список прислала, что надо запретить и изъять из библиотек, это делают все нормальные страны. Чем нам мешает Гитлер?

— Но эта резня, которую устроил он 30 июня, убив своих старых соратников — Рема и других, — вставил Киров. — Они привели его к власти, помогали ему стать фюрером. Это же варварство, другим словом не назовешь!

— А когда Троцкий и Зиновьев диктуют нам свои условия — это не варварство? — спросил Сталин.

У Кобы, когда он злился, начинали вспыхивать в глазах желтые искорки, хотя внешне он оставался совершенно спокойным и даже не менял интонацию голоса. Вот и сейчас было видно: он разозлился не на шутку, видя, что Жданов и Киров пытаются ему возражать.

— Мы правильно сделали, что выслали из страны Троцкого и вывели из ЦК Каменева и Зиновьева, но сделали это цивилизованно, — решил сказать свое веское слово Жданов. — А в этой резне есть что-то первобытное!..

Андрей Александрович даже поморщился, что окончательно вывело Кобу из равновесия.

— Кто это «мы»? — презрительно бросил ему Сталин. — Еще Сергей имеет право сказать «мы», он почти с первых дней революции в ЦК, — Сталин намеренно польстил Кирову, хорошо помня, как по его рекомендации Сергея Мироновича избрали кандидатом в члены ЦК лишь на Десятом съезде партии, в 1921 году. — А вы, Андрей Александрович, стали кандидатом в члены ЦК лишь на четырнадцатом съезде и пока еще не член Политбюро!

Это было сказано таким угрожающим тоном, что Жданов не рискнул дальше продолжать спор. Он побледнел, затеребил край салфетки, лежащей на столе, с тоской поглядывая на сочные куски дыни.

— И я считаю, что мы поступили в данном случае, как гнилые интеллигенты, выпустив эту сволочь Троцкого и дав ему тем самым возможность поливать нас грязью на всех углах! И будем дураками, если так же поступим и с зиновьевской бандой. Надо было взять да перерезать этому Иуде глотку! — прошипел Сталин, снова разжигая потухшую трубку. — И Гитлер тут продемонстрировал блестящий ум, только и

всего. — Сталин выпустил дым в лицо Жданову и холодным взглядом окинул перепуганного секретаря ЦК. — Я не по-марксистски выразился, Андрей Александрович?

— В душе я с вами согласен, Иосиф Виссарионович, — поддакнул Жданов, — если уж драться, то на кулачках, до крови, но по настроению некоторых наших уважаемых членов Политического и Оргбюро просматривается тенденция блюсти этикет бывшего Смольного института...

— Если враг не сдастся... — Коба, улыбнувшись, повернулся к Кирову, предлагая продолжить полубившееся ему изречение.

— Его уничтожают, — закончил Киров.

— Кто сказал? — спросил Жданова Сталин.

— Вы, товарищ Сталин, — допрашиваемый расплылся в лстивой улыбке.

— Ну и дурак! — рассмеялся Коба. — Горький сказал. Будучи первым секретарем Горьковского обкома, стыдно не знать этих мудрых мыслей своего знаменитого земляка. Просто и ясно. Уничтожают! Так Гитлер и поступил. А что касается настроения наших уважаемых и прочих, то его должны определять мы с вами, секретари ЦК, и задавать нужный тон в работе, а не ждать, что они скажут и как посмотрят. Бери же дыню, а то слюной весь стол закупаешь!

Жданов радостно залился смехом, услышав сталинскую шутку, что весьма польстило Хозяину. Он любил шутить и уважал тех, кто понимал его шутки. А вот Сергей даже не улыбнулся. И хоть Коба только что чуть не стер Жданова в порошок, зла на него уже не держал, а посматривал с отеческой нежностью. С Кирычем же он не спорил, наоборот, во всем соглашался, и тот с Кобой тоже не спорил, а вот дружеской радости от обильных застолий, купаний и разго-

воров не получалось. Они в один миг словно стали чужими друг другу. И Киров чувствовал это разъединение, но в отличие от Сталина, который терялся в догадках, знал, отчего это происходит.

Происшествия с Ганиными и Шугой точно сняли пелену с глаз, и он увидел подлинный лик Кобы, страшный и беспощадный, который скрывался за маской кавказского хлебосола и мудреца. И Киров не мог не видеть, как разрастается в Сталине опасная болезнь, и все воспоминания о Троцком сводятся лишь к одному: не успел вовремя полоснуть по горлу, хотя благодаря Троцкому, наркомвоенмору и Председателю Реввоенсовета в первые революционные годы, они выиграли гражданскую войну. И как писал в своем «Письме к съезду» Ленин, Троцкий «отличается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК...» Теперь это забыто, как и ленинские похвалы Каменеву и Зиновьеву и его предостережения о грубости Сталина. Кирову перед отъездом в Сочи попался машинописный экземпляр «Письма», он несколько раз перечел тот абзац, который диктовал Ильич о Сталине, и ему вдруг на мгновение показалось, что Ленин хотел сказать о чем-то совсем другом, более страшном, что заключено в Сталине и что он неожиданно почувствовал. «Товарищ Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью», — пишет Ленин.

Но какая же в 1923 году была у Сталина «необъятная власть»? Тогда секретариат ЦК считался рабочим, канцелярским органом, гораздо больше власти было у Рыкова, сменившего Ленина на посту Предсовнаркома, ему подчинялись армия и ВЧК. О чем же пишет Ленин, говоря о средоточии в руках Ста-

лина необъятной власти, что он подразумевает под этими словами, почему через десять дней он снова возвращается к характеристике Сталина и говорит о его грубости — «этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общении между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризен и т. д.»

Такое ощущение, что слова давались Ленину с трудом, точно его что-то сковывало, и он выдирает их из сознания последним усилием воли. Ильич соглашался на то, чтобы генсеком был кто угодно, только не Сталин, только бы не было этого «перевеса». Ленин пишет и боится Сталина, он и других предупреждает, советует не переизбрать, не снять Сталина, а обдумать способ перемещения. Странный зашифрованный совет, словно речь идет об опасном преступнике или сумасшедшем. И Ленин не зря боялся. Потом, когда «Письмо к съезду» будет обнародовано, Сталин с восхитительным коварством этот недостаток обратит в свое достоинство. Он скажет: «Да, я груб, товарищи, в отношении тех, которые грубо и вероломно разрушают и раскалывают партию. Я этого не скрывал и не скрываю». И добавит: «Возможно, что здесь требуется известная мягкость в отношении раскольников. Но этого у меня не получается».

Кто же после этого бросит в него камень, кто потребует: будь мягким к раскольникам? Поэтому все и закричали: останься, Коба, генсеком и еще тверже круши наших врагов! Потому что уже тогда

жила во всех эта знаменитая формула: если враг не сдается — его уничтожают. Но Ленин почувствовал совсем другое: Коба болен, он неизлечим, и пусть любой другой станет генсеком, только не он. Любой будет лучше.

Киров понимал, что он уже в каждом сталинском поступке, в каждом его слове видит диагноз Бехтерева. Сергей Миронович был бы рад убедиться в обратном, но Кобу точно ослепила эта мания во всех видеть своих личных врагов, и жажда мщения захлестывает его день ото дня с такой неистовой силой, что Кирову становится страшно. Сталин уже, не стесняясь, говорит о расправе с зиновьевско-бухаринской бандой, в то время как Бухарин только что избран кандидатом в члены ЦК. И если они докатятся до того, что начнут расправляться со своими партийными соратниками, то тогда и самой идее социализма придет конец.

Вчера Кирову звонил Чудов: в Ленинграде под командованием Фриновского, заместителя Ягоды, готовится какая-то ночная операция против белогвардейцев. Причем в операции задействованы четыре тысячи бойцов НКВД и милиции. Это же какой численности должна объявиться в городе на Неве белогвардейская банда, чтобы стягивать в город такие мощные силы! Киров тотчас заподозрил подвох и набрал телефон Медведя. Филипп Демьянович отвечал сбивчиво и невнятно. Киров взорвался и стал кричать: какого же черта он занимает пост начальника управления, если ничего не знает. Лишь после этого Медведь признался: он в операции не участвует, и передал трубку Фриновскому. Последний ответил, что действует по распоряжению наркома НКВД и все вопросы к нему. Киров связался с Ягодой. Генрих Григорьевич стал юлить, приводить в пример те же записочки с предупреждениями, которые при-

сылались Сергею Мироновичу, наконец сказал, что они вышли на одну группу, хотят ее взять, только и всего.

— И в этих целях вы отстранили начальника управления Медведя и свезли в город четыре тысячи бойцов?! — возмущенно выкрикнул Киров в трубку.

— Откуда у вас такие сведения? — испуганно пробормотал Ягода.

— Отвечайте на мой вопрос, с вами говорит секретарь ЦК! — жестко потребовал Киров.

В трубке возникла пауза, Ягода занервничал, не зная, как себя вести. Он вспомнил о предупреждении Сталина и по жесткому тону Кирова понял, что последний решительно настроен против него. Ягода тяжело вздохнул.

— Дело в том, что эта операция проводится по инициативе пограничных войск, которыми командует комиссар Фриновский, и мы посчитали, что участие Филиппа Демьяновича в ней совершенно излишне, а большое число бойцов вызвано протяженностью пограничной полосы, — ответил Ягода.

— Хорошо, — выдержав паузу, проговорил Киров. — Я бы хотел после окончания операции познакомиться с отчетом Фриновского.

— Я вам пришлю его, — пообещал Ягода.

Разговор был закончен. Ягода постоял у телефона, потом заказал телефон Фриновского в Ленинграде.

— Проводите операцию по первому варианту, — приказал Ягода, когда его соединили с Фриновским.

— Но, Генрих Григорьевич, у нас все готово...

— Я вам ясно сказал: первый вариант! — жестко повторил Ягода. — Зиновьевцев пока не трогайте! Все!

Ягода бросил трубку. Сталин будет недоволен. Но если б сейчас Ягода наплевал на этот кировский

звонок и взял этих Румянцевых-Левиных, разразился бы такой скандал, что он вряд ли бы удержался в наркомах. А Сталин недрогнувшей рукой принес бы его в жертву. «Хорошенькое дело, висеть между молотом и наковальней», — усмехнулся Генрих Григорьевич и поехал к Горьким на дачу, чтобы хоть как-то забыться от всей этой гнусности. По дороге он вспомнил ползучую фразу Кобы: «А как у нас охраняется товарищ Киров?» Ее можно было расшифровать и так: не может ли случиться того, что какой-нибудь негодяй все же совершит террористический акт в отношении Кирова и убьет его. Причем понимать эту фразу требовалось не как вопрос или предположение, а как приказ.

Сталин любил сочинять такие восточные загадки и очень сердился, если его подчиненные не умели их расшифровывать. Поскребышев два дня натаскивал его разгадывать ребусы вождя. Но если Сталин всерьез высказал ему эту загадку, то Ягода исполнять ее не будет. На такие вещи пусть нанимает других людей, потому что следом за Кировым слетит его голова. Свидетелей в живых не оставляют. Ягodu даже прошиб пот от такого умозаключения.

На дачной веранде Горьких в белой панаме сидел старик-хиромант, которого Алексей Максимович притащил с собой из Италии, и раскладывал карточный пасьянс. Надя не вернулась еще с прогулки, а Горький, покачиваясь в шезлонге, читал чью-то рукопись. Хиромант, закончив пасьянс, улыбнувшись, посмотрел на Ягodu и проговорил:

— Вы хотели показать мне свою руку, Генрих Григорьевич.

— Извольте, если вас так это интересует, — насмешливо проговорил Ягода и протянул левую руку.

Старик наклонился к раскрытой ладони и долго

ее рассматривал, потом отпрянул в сторону и, вытаращив глаза, испуганно прошептал:

— У вас рука преступника, Генрих Григорьевич...

Горький оторвался от рукописи и посмотрел в их сторону.

— Это чушь какая-то! — покраснел Ягода. — Что вы себе позволяете?!

Он вскочил, бросил возмущенный взгляд на молчавшего Горького, который даже не попытался одернуть своего приживала и, вернувшись к машине, тотчас уехал с дачи. По дороге он позвонил Эле, которой сделал отдельную квартиру, и целый вечер пробыл у нее. Она утешала, гладила его, и он немного успокоился. Сталин хотел, чтобы Эля возобновила свои любовные встречи с Кировым и сообщала бы о всех его настроениях, но Ягода не спешил отпускать ее. Для этого надо было придумать какой-нибудь изящный повод для перевода журналистки в Ленинград в качестве собкора, и Ягода уже сообщил Сталину, что почти нашел его, но каждый день переносил срок ее переезда. Теперь он был назначен на август, Эля уже собирала вещи, понимая, что нового переноса отъезда не будет.

— Но зачем Сталину нужно знать настроение и тайные мысли Кирова, ведь они друзья, ты же сам говорил, — удивлялась Эля.

— У Сталина нет друзей, а тех, кого он называет друзьями, он боится еще больше: они многое знают, и ему важно знать о них все. «Лучший друг — это мертвый друг», — шутит Коба.

— Теперь понятно, почему умерла Аллилуева, — прошептала Эля, и Ягода вдруг резко ударил ее по щеке, да так, что Эля отшатнулась и ударилась затылком о стену.

— Никому не говори таких слов! — яростно прошипел он. — Никому, даже самой себе! Потому что

умрешь не только ты, но и я, моя семья, твои родители, друзья — все! За такие слова он всех уничтожит!

Эля в страхе посмотрела на него и разрыдалась. Ягода помедлил, обнял ее, прижав к себе и гладя по голове.

— Извини, но я не мог иначе. Вырвись эта фраза в присутствии другого человека, нам ничего не оставалось бы, как покончить с собой. Ты должна понимать, что он, он... — голос у Ягоды дрогнул, и он, не договорив, умолк.

— Что он? — не поняла Эля.

— Ничего, — помолчав, ответил Генрих Григорьевич, подошел к столу, налил вина, залпом выпил. — Лучше вообще о нем не говорить: ни хорошего, ни плохого.

— А тебе не противно будет обнимать меня, зная, что я была с Кировым? — неожиданно спросила Эля.

— Глупенькая, это же работа, — рассмеялся Ягода. — Не самая приятная, конечно, но что делать. Я тоже вынужден обнимать жену и даже исполнять супружеский долг, тут уж никуда не денешься...

Он поцеловал ее, она крепко прижалась к нему, затрепетав в его объятиях, и Ягода забыл обо всем на свете. Эля умела доставлять ему немислимое наслаждение.

Николаев всю неделю наблюдал за домом Чудова, вбив себе в голову, что если и решаться на отчаянный шаг, то лучше всего наказать главного обидчика, а он знал, что с позволения второго секретаря обкома партии Лидак творит свой произвол. Чудов уезжал из дому ровно в половине девятого утра, а вот возвращался, когда вздумается, поэтому если приводить в действие свой тайный приговор, то лучше всего утром.

Поначалу Николаев просто хотел переговорить с Чудовым. Позвонил заведующему особым сектором обкома Свешникову и попросил записать его на прием к Чудову по вопросу своего заявления, которое он направлял на имя Кирова, но поскольку в письме, направленном в горком, стояла подпись Чудова, а не Кирова, и последнего в городе не было, он отдыхал в Сочи, то Николаев и встречу просил с Чудовым. Он как член партии имел такое право, чтобы второй секретарь ему лично объяснил причину отказа обкома способствовать его восстановлению на прежнем месте работы. В начале июля партийная тройка, рассмотрев просьбу о снятии с него строгого выговора, не нашла оснований для смягчения наказания и оставила строгач в силе. Но почему сразу строгий выговор? Николаев до этого имел в учетной карточке лишь «поставить на вид». Можно было записать «предупредить» или «строго предупредить»,

это следующая ступенька в партийной шкале взысканий. Леонид Васильевич и об этом хотел переговорить с Чудовым. Но Свешников заявил, что секретарь обкома не может встретиться с ним, он занят. Тогда, обозлившись, Николаев решил подкараулить Чудова около дома. Охрана, обнаружив постороннего, тотчас схватила его и, скрутив руки, оттащила в сторону. Несчастливого просителя грубо обыскали, а один из охранников даже пнул его в пах. У Николаева искры посыпались из глаз, выступили слезы, он застонал, и охранники отпустили беднягу, пригрозив, что в следующий раз просто пристрелят.

Это и разъярило бедного безработного. Уже почти пять месяцев он сидел на шее бедной Мильды. Теща с ним не разговаривала, Мильда не упрекала, но смотрела с такой тоской во взоре, хоть вешайся. Николаев разослал письма и жалобы во все инстанции, отправил большое подробное письмо самому Сталину, но ответа ниоткуда не поступало. Зато все чаще он вытаскивал из стола револьвер и держал в руках. И то, как с ним обошлись охранники Чудова, переполнило чашу терпения. Леонид всерьез решил убить этого жалкого толстенького бурбона, пристрелить его, как собаку, прокричать свой вопль отчаяния на всю страну, на весь мир. Может быть, тогда его услышат и там, наверху, поймут, как несправедливо обошлись с рядовым партийцем?

Другого выхода Николаев просто не видел. В какие-то моменты, наблюдая, как жадно пожирают всухомятку принесенный Мильдой хлеб Леонидик и Марксик, он готов был немедленно пойти и наняться на завод, лишь бы приносить в дом кусок хлеба, но, подходя утром к проходной и наблюдая черную ползущую массу рабочего люда с усталыми, ненавидящими глазами, Николаев в страхе останавливался и поворачивал назад. «Нет, я плюну себе в душу, если

позволю Чудовым и Лидакам посмеяться над собой, втоптать себя в грязь», — возвращаясь домой, бормотал Леонид Васильевич.

Он, как вор, пробирался в свою комнату, доставал заветный дневник, который начал вести, чтобы записывать свои мысли и ощущения, жадно втягивая запах жареной рыбы — теща готовила для детей обед, одну рыбку на двоих — и глотая слюни.

В один из таких дней и пришло это письмо: «Николаеву Л.», обратного адреса не было. Он дрожащими руками разорвал конверт, думая, что в ЦК или в обкоме просто забыли поставить обратный штемпель. Но письмо было частное, написанное от руки с левым наклоном: так наивные люди маскируют почерк. Впрочем, Николаев сам был наивен и уловки просто не заметил.

«Долго не решались вам написать, товарищ Николаев, но потом все-таки решились: партийная честность того требует. Хотим сообщить вам, что ваша жена Мильда Петровна Драуле уже давно изменяет вам с партийным вождем, товарищем Кировым, являясь его наложницей, как во времена Рима. Она делает это по ночам, прикрываясь тем, что надо срочно что-то перепечатать для обкомовской канцелярии, но «трудится» совсем иным способом, не только обманывая вас и всю вашу семью, но унижая вас, посмеиваясь над вами с товарищем Кировым. Она тут недавно ездила в командировку в Лужский район якобы для проверки кадровых вопросов по Упртяжмашу, а на самом деле — вместе с Кировым на охоту, и тоже понятно, чем они там занимались в лесной сторожке. Их связь длится уже несколько лет, и получается, что у вашей жены имеется второй муж, и кто знает теперь, от кого рождены ваши дети. Мы, уважая вашу принципиальность, сочли своим долгом сообщить обо всем этом, потому что не можем за-

крывать глаза на ложь и обман, тем более когда это касается самого святого — семьи, как важнейшей ячейки общества. С коммунистическим приветом группа товарищей».

Николаева охватил озноб. Он дважды перечитал письмо, и все, что тлело в нем в виде подозрений, что давно уже мучило его, вдруг обрело ясную и твердую уверенность: Мильда — наложница Кирова и давно уже обманывает его, вступив в преступную связь. И все сразу прояснилось. Стало понятно, почему его не восстанавливают в Институте истории партии, ведь Кирову стоило лишь снять трубку, и Лидак сам бы прибежал к Николаеву и стал бы уговаривать его занять любой кабинет. Но Кирову важнее растоптать Николаева, чтоб Мильда уже никогда не смогла бы посмотреть на него как на мужчину, чтоб она зависела от него, а не от своего мужа. «Да он ее и жить с собой этим заставил! — вдруг озарило Николаева. — Не по своей же воле она польстилась на рябого, страшного дьявола, имея красивого мужа!»

Мать всегда говорила ему: «Посмотри, Леня, на себя! Ты же красавец писанный — лицом белый, волосом чернявый, нос прямой, губы красны, а глаза, как две звездочки, из темноты светят. А она что? Конопата, телом рыхла, зад низкий, грудь обвислая, а ростом дылда дылдою. Где ты только откопал ее, батрачку безлошадну, да с фацнерным чумуданом притащил на нашу голову!»

По поводу неказистости Мильды мать была не права, Мильда могла увлечь любого мужчину, но в том, что он был пригож собой, Николаев не сомневался. Ему и другие женщины это говорили. А вот Киров с оспинным лицом красотой уж точно не отличался, поэтому и склонить Мильду к сожителству он мог только своей властью.

Николаев еще раз перечитал письмо, и его броси-

ло в жар: «группа товарищей»! Уже партийцы, работающие рядом с ней, не выдержали этой наглой связи и обратились к нему с просьбой спасти Мильду. А что он может сделать, если всегда запрещал ей брать ночные приработки? Теперь понятно, чем они занимались в это время и почему она его послушалась, и до сих пор сама не хочет порвать с любовником! Или не может? Не может, потому что Киров заставляет ее, шантажирует?! Его Мильда — блядь... Какой ужас?!

Николаев схватился за голову, упал на постель, застонал. Заглянула теща.

— Может, поешь, Леня? — спросила она. — Ребята уже поели... Картошечка осталась, супчик из овощей я сделала, хлеб есть...

— Не хочу! — не поднимая головы, ответил он.

— Ты не заболел часом? — спросила она.

— Нет, уйдите! — бросил он.

Теща ушла. Николаев скомкал, выбросил письмо, потом поднял, расправил его, спрятал в карман. Киров уже ни перед кем не скрывает своей связи, коли об этом знает почти весь город и обсуждает их роман. Он считает, что ему все позволено, он может брать в наложницы любую чужую жену и владеть ею сколько ему захочется. Потому что он Хозяин этого города, а остальные его рабы. Но Николаев отказывается быть рабом и убьет его. Он отомстит за поруганную честь Мильды, отомстит за свою честь свободного человека. Теперь уже ясно, что он должен покарать не Чудова, а Кирова. Пусть даже его потом расстреляют...

Он представил себе этот выстрел, разрывающий его сердце, и ему стало страшно. Страшно умирать в тридцать лет. Но разве есть выход? Разве о н и предоставляют ему выход? Нет. Это так же неодолимо, как хочется есть. Он ел вчера днем, вечером выпил ста-

кан чаю. Сейчас уже четыре часа, прошли сутки, как он ничего не ел, идут месяцы, как он недоедает. У него то и дело кружится голова. Это ужасно, когда нечего есть...

Он незаметно для себя уснул. Проснулся от голоса Мильды на кухне, звуки проникали в комнату, и он, лежа в постели, вслушивался в ее тихий, журчащий голос, она рассказывала о ссоре со своей сотрудницей, напутавшей в каком-то отчете, а Чугуев отругал Мильду, потому что сотрудница спит с ним, и, не стесняясь, пользуется этой его слабостью. Теща что-то отвечала ей, но Николаев не слышал ответов. «Они все разложились, эти новые партийные начальники, — подумал он. — А рыба гниет с головы».

Мильда зашла в комнату.

— Ты бы поел, Леня, — сказала она.

— Я не хочу.

— Ты что, заболел? — спросила Мильда.

— Наверное, — ответил он.

— А что с тобой? — спросила она.

— Не знаю, мне плохо.

— Температуру мерил?

— У меня нет температуры.

— А что болит?

— Душа, — помедлив, ответил он.

Она помолчала.

— Пришел ответ из Москвы?..

— Нет.

— Тогда надо поесть, — сказала Мильда.

— Я не хочу... — ответил он.

Он хотел сказать ей: «Я хочу умереть». Но не сказал. Мильда еще несколько секунд постояла в комнате и ушла.

— Чего он? — спросила теща.

— Не хочет, — ответила Мильда.

— Заболел? — удивилась теща.

— Да нет вроде...

И Мильда снова стала рассказывать о своей со-труднице. О том, как она купила себе шубу из лисы, явно не за свои деньги, и на работе целый день сидит в ней.

— Да жарко же, — не поняла теща.

— Не то слово! С нее пот льет ручьями, — засмеялась Мильда, — а она сидит и жалуется, что от окна дует, вот шубу и приходится надевать. Прямо комедия!

«А у тебя есть у кого шубу потребовать!» — подумал Николаев.

Загрели тарелки, из кухни донесся запах овощного супа, Мильда села ужинать. Николаев снова ощутил приступ голода. Если б Мильда еще раз позвала его, он бы пришел. Но она не зовет, а так выйти он не может. Он отказался. Она ест без него. И дети едят без него. Николаев вдруг шумно задышал и расплакался, как ребенок. Ему стало так себя жалко, что он готов был зареветь в голос, лишь бы его услышали. Но стыдно, ох, как стыдно! И он, зажав ладонью рот, плакал от обиды и унижения. Потом успокоился. Слезы заглушили чувство голода.

Мильда, поужинав, занялась стиркой, потом мыла детей и вернулась в комнату лишь в половине одиннадцатого. Николаев ждал ее, чтобы объясниться. Он показал ей письмо. Мильда прочитала его и усмехнулась:

— Это ложь, — покраснев, сказала она.

— Нет, не ложь! — вскричал он. — Это не ложь!

— Не кричи, дети спят.

— Это не ложь, — сбавив тон, заупрямился он.

— Это обыкновенная анонимка, клевета, вот и все. С таким же успехом можно написать, что я любовница Чудова или Свешникова, — устало прогово-

рила Мильда. — Так у тебя из-за этого душа болит? — спросила она.

— Я знаю, что это не ложь, — упрямо повторил Николаев.

— Может быть, мы разведемся, Леня? — предложила Мильда.

Николаев вздрогнул, испуганно посмотрел на нее.

— Ты... серьезно? — спросил он.

— Серьезно, — ответила она.

— Я не хочу! — тотчас отрезал он. — И развода никогда не дам! Никогда! Ты хочешь к нему уйти? Он заставляет тебя развестись со мной! Я знаю: он! — Николаев вспыхнул, соскочил с постели, подошел к Мильде: в его глазах загорелись сумасшедшие огоньки. — Ты скажи ему: он тебя не получит! Я убью его!

— Хватит, Леня, — устало отмахнулась она. — Я тебе серьезно говорю: совместная жизнь у нас не сложилась, ты это тоже чувствуешь. И он тут ни при чем.

— Значит, он есть, есть?! — яростно зашептал Николаев.

— Да, — помолчав, призналась она.

Николаев несколько секунд, оцепенев, смотрел на жену.

— И ты так спокойно об этом говоришь? — выговорил он.

Губы у него задрожали, в глазах блеснули слезы.

— Не в этом причина нашего неблагополучия, — заметила Мильда. — Мы разные люди, Леня, и, пока не поздно, нам самим надо исправить ошибку. Тебе только тридцать лет...

— А дети?! — возмутился Николаев. — Ты подумала о детях?!

— А ты думаешь о детях?! — вспыхнула Мильда. — Ты пятый месяц о них не думаешь и не хочешь думать! Ты уперся лбом и ни с места! Тешишь свое

самолюбие, будто тебя придут упрашивать вернуться обратно, но никто не придет. И дети недоедают, и мы все недоедаем из-за твоего дурацкого упрямства! Не говори мне о детях! И о том, что ты — заботливый отец и муж, не говори!

Мильда вышла из комнаты, хлопнув дверью. Николаева трясло, он никак не мог успокоиться. Мало того, что Мильда во всем призналась, она даже хочет развестись с ним, отнять у него детей, выбросить его на улицу, как ненужную вещь. И во всем этом виноват он, Киров. Он лишил его работы, а теперь хочет отнять самое дорогое — детей и Мильду. Но Лев Николаев этого не допустит. Лев застрелит его. Застрелит, как бешеного пса.

Коба в плетеном кресле и легком белом кителе сидел за письменным столом, когда Киров явился к нему.

— Ты чего, сбежать хочешь? — с притворным удивлением спросил Сталин.

— Измаялся я в этой жаре, Коба! Ночами не сплю, извелся весь, — пожаловался Сергей Миронович. — Да по мне денька два на северном холодке, и я свеж как огурчик!

— Смотри, Поскребышев мне все листочки подсовывает, просвещает, — пропустив мимо ушей слова Кирова о северном холодке, похвастался Сталин, показав напечатанные на машинке выдержки из «Декрета о подозрительных», принятого Национальным Конвентом Французской республики 17 сентября 1793 года. Перед текстом декрета особо выделенным шрифтом было напечатано: «Немедленно по распубликовании данного декрета все подозрительные лица, находящиеся на территории Республики, подлежат аресту.

Считаются подозрительными:

1. Те, кто своим поведением, своими связями, своими рассуждениями или писаниями выказал себя сторонником тирании, федерализма или врагом свободы;

2. Те, кто не сможет представить в предписанной

законом от 21 сего марта форме удостоверение о своих средствах к существованию и выполнении своих гражданских обязанностей;

3. Те, кому было отказано в удостоверении о благонадежности;

4. Общественные должностные лица, устранившиеся или смещенные со своих должностей Национальным Конвентом или его комиссарами и не восстановленные в своих правах, особенно те, кто был смещен или должен был быть смещен на основании закона от 14 сего августа;

5. Те из бывших дворян, считая мужей, жен, отцов, матерей, сыновей или дочерей и агентов-эмигрантов, кто не проявлял своего постоянного влечения к революции...»

10 октября 1793 года Анаксагор Шометт на Совете Коммуны предложил дополнительно считать подозрительными следующих лиц:

«1. Тех, кто в народных собраниях мешает коварными речами, шумными криками и ропотом проявлению народной энергии;

2. Тех, кто, будучи более осторожным, говорит загадочно о бедствиях Республики, сожалеет о судьбе народа и всегда готов распространять дурные вести с притворной печалью;

3. Тех, кто, смотря по обстоятельствам, менял свое поведение и язык, кто умалчивал о преступлениях роялистов и федералистов, с жаром распространяется о легких ошибках патриотов и, чтобы казаться республиканцем, выказывает притворную суровость и строгость, которые исчезают немедленно, как только дело коснется какого-нибудь умеренного или аристократа...

8. Тех, кто, не совершив ничего против свободы, не сделал ничего и для нее».

Киров вернул листочки Сталину.

— Ну как?! — радостно спросил Сталин. — А мы головы ломаем, придумывая, за что бы посадить иного подлеца! А у них было запросто: считать подозрительным и точка. Вот к примеру: «тех, кто не совершив ничего против свободы, не сделал ничего и для нее!» Думаешь тихо отсидеться в партии, рвения не проявляешь, а тут тебя под белы ручки и в тюрьму. Поработай активно в лагере лет пять, сделай кое-что для социализма! Мы бы давно с такими законами его построили! А я Поскребышева недооценивал...

Коба замолчал, раздумывая о своем. Не встретив бурного восторга со стороны Кирова по поводу декрета французских революционеров, он неожиданно помрачнел, спрятал листочки в папку, завязал тесемки, вытащил трубку.

— Жаль, что ты уезжаешь, — равнодушным голосом проговорил Сталин. — Паукер обещал нам со Ждановым устроить рыбалку. Я рыбу кушать люблю, а ловить — нет, а Жданов говорит, что это как ночь с женщиной. Чудной он...

Сталин обычно не зря заводил такие пустяковые разговоры, за ними следовали официальные распоряжения, иногда и довольно неожиданные. Но Киров знал, о чем пойдет речь.

— Я говорил сегодня с Молотовым, надо тебе в Казахстан ехать и добиваться, чтобы они все свои обязательства по поставкам хлеба выполнили полностью и дали бы что-нибудь сверх того, — сказал Сталин. — Мы совместно с Совнаркомом издали постановление, и всех секретарей, членов Политбюро отправляем в разные края. Молотов сам поедет в Западную Сибирь, Каганович на Украину, Жданов в Сталинградский край. Сам понимаешь, это настолько серьезный вопрос, что я даже не хочу удерживать тебя здесь, хотя мне будет без тебя тоскливо. Но

останемся без хлеба на зиму, не сможем отменить карточки с нового года, как хотели, да и спасибо нам никто не скажет! Будь там столько, сколько нужно, все полномочия мы тебе даем, да и как секретарь ты имеешь их больше, чем нужно.

— Раз надо, так надо, — сказал Киров.

— В Казахстане твой друг, Левон Мирзоян, передавай ему привет от меня...

— Передам, — кивнул Киров.

— Но дружба дружбой, а спроси с него по всей строгости. Скажи, взыщем так, что костей не соберет, если обязательств не выполнит. Когда сможешь выехать?

— Заеду на пару дней в Ленинград, увижусь с женой и отправлюсь.

— Ну-ну...

Сталин что-то еще хотел сказать, но промолчал. Они простились по-товарищески, пожелав успехов и пожав друг другу руку, хотя раньше при встрече или расставании обязательно обнимались и трижды по-русски расцеловывались. Но Коба всегда первым делал этот шаг к Кирову, а теперь сам протянул руку и даже попридержал порыв Кирыча к объятию. «Все это странно, очень странно», — подумал про себя Сергей Миронович.

Но он радовался, что уезжает. Уезжает от лжи Паукера, от грубой лести Жданова, от барских тиранических замашек Кобы, которых тот уже не скрывал. Так, плов из бараньих яиц, который специально был приготовлен таджиками и привезен теплым прямо к столу, он велел передать прислуге: Сталина оскорбило, что для него приготовили традиционный еврейский плов. Коба даже приказал Паукеру узнать, какой умник придумал такой подарок. Он увидел в этом попытку унижить его достоинство.

Киров в отличие от Кобы любил ездить. Любил

мягко покачивающийся вагон, летящий, переменчивый пейзаж за окном. В поезде хорошо спалось и думалось. А подумать было о чем. Дружеские отношения с Кобой разваливались на глазах, и с каждым днем это становилось приметнее. В час, когда за Кировым пришла машина, чтобы везти его на вокзал в Сочи, Коба со Ждановым возились в саду, пересаживая в естественный грунт редкий сорт лианы. Перепачкавшись в земле, Коба не смог даже пожать ему руку перед отъездом, а только помахал, притворно улыбнувшись. Для Кирова акт рукопожатия не имел особого значения, но Сталин относился к таким вещам со священным трепетом, и прекратив целоваться с другом при прощании, а потом не пожав ему руку, он как бы объявлял о разрыве их дружбы. Сталину стоило лишь моргнуть, и принесли бы воды, полотенце, чтобы он мог пожать руку уезжающему, и надолго, старому другу. Но он не захотел, больше того, сам дал понять Кирову, который немало времени провел на Кавказе и хорошо знал цену таким обычаям, что делает это намеренно. Приглашая его в Сочи, Коба хотел восстановить пошатнувшуюся дружбу, но Киров этим жестом не воспользовался. Он стал еще более замкнутым и скрытным, чужим, и Коба это почувствовал.

«Что ж, он прав, — покачиваясь в правительственном вагоне, который уносил его на восток, думал Киров. — Я сам пошел на этот разрыв, сам поставил себя в глупое положение и как выходить теперь из него, не знаю. Но Коба не будет сидеть сложа руки. С января отзовет в Москву и там уже будет думать о расплате. Ходы его просты: сначала бросит на прорыв, в Закавказье или тот же Казахстан, как бы временно, на год, с надеждой, что Киров не справится, и может так случиться, что он не вытянет завышенные обязательства. Тогда поставят первым в области

или городе, но это уже будет политическая смерть. Сталин доведет ее до апофеоза. Перебросит Кирова в заводской партком или райком, чтобы бывший секретарь ЦК полной чашей испил унижение. Если еще раньше не пристрелит.

Конечно, есть время все исправить, какая-то надежда на последний шанс еще теплится, но Киров вряд ли им воспользуется. Его, как говорят, заклинило. А хватит ли у него смелости выступить против Сталина? Из нынешнего Политбюро лишь Куйбышев настроен воинственно, но он сам рвется к власти и кровожадности в нем не меньше. А те, кто мог противостоять когда-то Кобе, уже раздавлены.

Две недели они мотались с Левом Мирзояном по Казахстанскому краю. Под Семипалатинском Киров заехал в одно из хозяйств, где работали спецпереселенцы, бывшие раскулаченные крестьяне, согнанные из разных мест. Киров, выйдя из машины, заглянул в одну из глинобитных развалюх, где ютилось сразу шесть семей. Мужчин и женщин в это дневное время не было, но в тесной и пропахшей потом и гнилью комнате вповалку прямо на соломе спали, прижавшись друг к другу, десять малолетних детей и четыре старухи. Еще одна, с узким костлявым лицом, кашеварила с двумя взрослыми девочками, помешивая в котле мутное черное варево, от которого исходил резкий кисловатый парок. Худой, со скосившейся набок и подергивающейся бритой головкой малец сидел у котла и жадно глотал этот жуткий запах. Небольшой костерок, разведенный прямо на земле, поддерживался кизяком. От него шел удушливый дым, и у Кирова тотчас защипало глаза, хотя старухи и дети не обращали на него никакого внимания. В углу лежали дырявые мешки с гнилой картош-

кой, от которой исходила дикая вонь, и Левон даже зажал платком нос. На одной стене в ряд висели пожелтевшие фотографии. С одной из них на вошедших гордо поглядывал бравый матрос, на ленточках бескозырки золотистыми знаками было начертано «Аврора».

Увидев вошедших, мальчик встрепенулся и, дергаясь всем телом, бросился к Кирову, стоящему в центре, протянув за подаванием руку и громко мыча. При этом его большие глаза смотрели на вождя с такой отчаянной мольбой, что Киров вздрогнул и отступил назад. Охранники накинулись на мальчика, но Сергей Миронович их остановил.

— Принесите еду, какая у нас есть, — негромко приказал он. Принесли еду, Киров отдал ее голодному, и тот с остервенением, не сходя с места, набросился на нее, поглощая яйца прямо с кожурой, запихивая в рот хлеб, куски колбасы, точно боялся, что все это сейчас отнимут. Две девочки и старуха, бросив свои дела, со злобой смотрели на него, а Кирова точно пригвоздили, он не мог сдвинуться с места.

— Подавится ведь, гаденьш! — пробормотал стоящий позади Левон, и его опасения подтвердились: мальчишка, набив рот, вдруг захрипел, выпучил глаза и стал задыхаться.

— Да сделайте что-нибудь! — вскричал Киров, и охранники, вытащив пацаненка на улицу, схватили за ноги и стали трясти его вниз головой. И этот варварский прием, как ни странно, помог. Пища вывалилась у него изо рта, а еще через несколько секунд он заорал. Две девочки, не дожидаясь, пока их брат опомнится, быстро забрали оставшуюся еду и отнесли старухе. Она дала им по кусочку хлеба, а остальное спрятала под ковшу в углу.

Несмышленьшца поставили на ноги, он тут же доел с земли все, что вывалилось изо рта, и рванулся

в саманку. Не увидев своих богатств на земле, где только что сидел, мальчишка с яростью набросился на старуху и, вцепившись в ее ветхий подол, яростно мыча, стал трясти ее с такой силой, что она зашаталась и чуть не упала. Той же палкой, которой она помещивала варево, старуха с размаху наотмашь ударила наглеца, и он с диким визгом отлетел в сторону, завыл, заскулил от боли, держась за голову, по которой пришелся жестокий удар, но сквозь скулеж и вой он продолжал посылать ей проклятия. Обе девочки, дожевывая хлеб, со злорадством наблюдали за страданиями брата.

Не дожидаясь вопросов от вошедших, старуха, даже не взглянув на них и продолжая помещивать черную жижу в котле, заговорила:

— Ночью места всем не хватает, вот и спят днем, когда родителей нет. А годовалых к груди привязываем. Днем-то и спать лучше, какое-то тепло все же ухватывают. А ночью и рады бы топить, да нечем. Коз уж не осталось. Как эту зиму проживем, ума не приложу, мы-то уж померем, нам пора, натерпелись, а детишек жалко...

Старуха искоса посмотрела на Кирова, его охранников и зажавшего нос Левона.

— Это убойна, кишки в крови были, вот и суп черный, и вонь идет. Да воды ведь тоже нет. Привозят раз в три дня, попить да на суп, а промыть-то кишки нечем, ну да кровь она полезная... А вы уполномоченные какие?

— Уполномоченные, — отозвался Киров.

— Крупы еще с прошлого года не завозили, — снова монотонно заговорила старуха. — Детишкам бы надо. А наши-то уполномоченные говорят, не положено. Зять мой где-то услышал, что обязаны и крупы давать, пожаловался также одному из приезжих, так его свои-то и побили. Все еще кровью хар-

кает, видно, отбили чего. К зиме, думаю, помрет, очень уж плох стал. У нас в ту зиму сколько, Зин, померло? — спросила старуха у одной из девочек, которая уже скребла картошку.

— Девять с Павликом, — ответила Зина и испуганно посмотрела на Кирова.

— Да, девятерых закопали. Летом-то еще тепло, а зимой в щели снег набивается, и если лютая зима, то и замерзнуть можно. В ту зиму сильные-то морозы дён пятнадцать стояли, так четверо и померзли. И Павлика Господь прибрал, нам все стало полегче, — добавила старуха. — Этого бы изверга кто прибрал, — она кивнула в сторону скулящего пацаненка, — все дочиста сжирает, оглянуться не успеешь, он уже в рот и проглотил, жевать не может, зубов-то нет, так плотает, а желудок, как мельничные жернова, все перемалывает, чего только ни дай...

Она тяжело вздохнула. Малец, услышав, что речь зашла о нем, притих.

— Осенью грозят новую партию пригнать, а где селить? Говорят, в степи выбросят и кто выживет, тот и выживет. Дак трупы весной разлагаться начнут, и волки всю заразу растащут. Вот беда будет...

Киров вспомнил заключенных, которых гнали на Беломоро-Балтийский канал, и жуткую сцену в зале ожидания на одной из ленинградских станций. Он вышел из развалюхи, шагнул к следующей, но Левон его остановил.

— Там так же, — тяжело вздохнув, обронил Мирзоян. — Чего ходить...

— Кто тебе позволил так обращаться с людьми? — с яростью зашипел Киров, наступая на Левона, щеголеватого красавца с узкой полоской усов над верхней губой. Мирзоян в страхе отступил назад.

— Я не всемогущ, Сергей Миронович, — с заметным акцентом проговорил Левон. — Тут сколько

таких хозяйств! Почти половину всех раскулаченных ссылают в наш край, а этим, сам знаешь, занимается НКВД, я могу лишь пожаловаться прокурору на то, что не соблюдается социалистическая законность. Но сами прокуроры мне говорят: не лезь, Левон, тебя же потом обвинят, что ты защищаешь врагов народа... — он помолчал, опустив голову. — Здесь еще ничего, хоть какие-то дома есть, а в соседней зоне голая степь. Нарьбли землянок и живут. Я спросил уполномоченного: нельзя бараки построить? Он сказал, что задавал своему начальству этот вопрос, а начальник ответил: чем больше подойдет, тем лучше. Да что говорить, если у нас свои-то, вольные, живут подчас хуже, я такого повидал, что эта развалюха дворцом паши покажется...

Киров приказал срочно ехать в Семипалатинск. Он вломился в кабинет областного прокурора Веселкина, отменил совещание, которое тот вел, и минут двадцать крыл его последними словами, обвиняя в сознательном вредительстве и планомерном уничтожении здорового контингента спецпереселенцев как необходимой рабочей силы для выполнения сельскохозяйственного плана.

— Я теперь понимаю, почему ваша область стоит на последнем месте в сводках о ходе уборочных работ и хлебосдачи. Потому что вы как должностное лицо, обязанное следить за соблюдением революционной законности, ничего для этого не делаете! Не требуете от управления НКВД делать то, что они обязаны по закону: выстроить бараки для размещения спецпереселенцев с учетом жилищных и санитарных норм. Мы вам не позволим бесконтрольно губить людей! Сытой беззаботной жизни захотелось? Вы ее найдете на Колыме!

И Киров вышел из кабинета облпрокурора, который от страха лишился дара речи.

Еще через неделю Киров получил телеграмму от Вышинского из Москвы: «Веселкин отозван. Временно прокурором Восточно-Казахстанской области направлен Аджаров. Ближайшие дни обеспечим усиление прокуратуры, суда».

Киров в правом углу телеграммы написал: «Товарищу Мирзояну! Обеспечить строгий контроль по наведению порядка в прокуратуре В.-Казахстанской области. Киров».

— Я тебя прошу: не поленись, сам съезди в то же хозяйство и посмотри, что конкретно сделано для людей. По сути-то многие из них никакие не враги, Левон, а просто несчастные люди, которые попали в жернова наших партийных просчетов и перегибов. Пусть даже кто-то из них был нашим врагом, но они должны чувствовать не только карающую руку власти, но и прощающую, милосердную...

Они сидели вдвоем в доме Левона за прощальным столом, накрытом щедро и хлебосольно, и Кирову впервые кусок не лез в горло. Он неожиданно умолк и несколько секунд смотрел на отретушированный фотографический портрет Сталина, висевший в гостиной Мирзояна. Гладковыбритый, с мудрым снисходительным взглядом, Коба на этом парадном фотоснимке совсем не походил на себя настоящего. Он выглядел кротким, доверчивым и невинным, кого легко было обмануть и от кого, казалось, скрывали страшные злодеяния. Легкая полуулыбка светилась в глазах вождя, словно он повторял всем одну и ту же фразу: «Жить стало лучше, жить стало веселее, как вы думаете?!»

Коба однажды показал Кирову английский журнал, где какой-то знаменитый биолог с восторгом писал о великой сталинской душе, что советский

вождь по ночам тайком ходит на товарные вокзалы и помогает обыкновенным грузчикам разгружать вагоны. Коба очень смеялся.

— Но это же глупость! — проговорил Киров.

— Это, по их понятиям, и есть социализм, — отозвался Сталин. — Ленин когда-то поднес одно бревно на субботнике, а мы сами уже десять лет про это говорим. Так и тут. Пусть пишут. Разве не приятно, когда известный лейборист Гарольд Ласки заявляет на всю Англию: «Никогда в истории человек не достиг такого совершенства, как при советском режиме». Или вот, Линкольн Стеффенс, американский журналист: «Я видел будущее и оно действует». А это Эдмунд Вильсон, литературный критик: «В Советском Союзе я себя чувствовал, как в святыне морали, где не перестает светить свет». В Нью-Йорке мы рекламу из огней установили и там такая надпись: «Иди в Советскую Россию, где осуществляется величайший в мире эксперимент — среди мириада красочных национальностей, чудесных пейзажей, великолепной архитектуры и экзотических цивилизаций!» Сам текст составлял. А вот еще, — Сталин ткнул в жирный заголовок на всю журнальную полосу: «Советский коммунизм — новая цивилизация». Когда мне становится хреново, я почитаю эти журналы и говорю себе: «Нет, верной дорогой идете, товарищи! — как любил говорить Ильич», — и Сталин снова засмеялся.

Киров тогда подумал о том, какие огромные деньги тратятся на всю эту журналистскую трескотню о райских кущах в СССР. Хорошо хоть рабочие, живущие впроголодь, об этом не знают. Но в этом и состоит, наверное, коммунистическая экзотика. Киров становился злым. Он сопротивлялся этой злости, но она, подобно ржавчине, разъедала его.

— Почему ты ничего не ешь? — огорчился

Левон. — Такой гость в моем доме, счастье для меня на весь год, а ты даже ничего не попробовал. Исправим все, Сергей Миронович. И этим твоим переселенцам поможем.

— Они не мои, Левон, они наши, — уточнил Киров.

— Конечно, наши! Преступники, но наши! — рассмеялся Мирзоян. — А Сталин тоже так думает, как мы? — помолчав, шепотом спросил Левон.

— Он тоже так думает, — помедлив, ответил Киров.

Шел уже седьмой месяц, а Леонид Николаев все еще сидел без работы, без копейки денег в кармане, с жестокой откровенностью занося в дневник: «Деньги на исходе, берем займы, весь мой обед сегодня состоит из стакана простокваши». Но самым страшным и мучительным было смотреть на детей. Оба сына жутко исхудали. Старший, Леонидик, еще держался, а Марксик то и дело плакал и просил есть. Хорошо хоть уродилась картошка, Николаев собрал шесть мешков, но на них долго не продержишься. Он посчитал, что можно протянуть до Нового года, а что потом есть?

Он написал письма во все инстанции, откуда только могла прийти какая-то помощь, но все — и Сталин, и ЦК партии — молчали, словно такого члена партии «Николаева Л. В.» совсем не существовало.

«Мне нечего скрывать от партии, — пишет он в ЦК ВКП(б), — я предупреждал в своих письмах-заявлениях не один раз — но никто не хочет понять этого. Мне жизнь не н а д о е л а, я с малолетства боролся за жизнь, но сейчас я не только обессилен и беспомощен помочь людям, но у меня самого завязалась борьба не на жизнь, а на смерть.

Я редко когда ошибался. Я решил пройти и создать школу решимости и твердости умереть за правду, за идею...

Привет царю индустрии и войны — СТАЛИНУ».

Из газет он узнал, что вернулся Киров. Его не было два месяца, и теперь можно было осуществить свой план. После того объяснения, когда Мильда объявила ему, что хочет с ним расстаться, они почти перестали разговаривать друг с другом. Спать она перебралась в детскую, и практически они жили врозь. Правда, Николаев сам выкопал всю картошку, а поскольку он ее и сажал, то считал себя вправе пользоваться ее запасами, еще брал от Мильды хлеб и изредка стакан простокваши, которую любил до умопомрачения с детства. Обедать частенько ездил к матери и сестре, иногда забегал в столовую для голодающих, где давали тарелку супа и кусок хлеба.

Нет, Мильда его не попрекала. Наоборот, когда они перестали спать в одной постели, она сделалась мягче, добрее, вечером постоянно звала ужинать, он чаще всего не выходил из комнаты, и она приносила ему то кусок черного хлеба с картошкой и селедкой, то дополнительно стакан любимой простокваши, то бутерброд с колбасой. Мильда старалась, как могла, разнообразить и стол, детям нужно было есть и что-то мясное.

Все эти два месяца до возвращения Кирова Николаев еще на что-то надеялся, но вот он вернулся, и Мильда будто проснулась: дольше задерживалась у зеркала, дольше разглаживала юбку и блузку, дольше прихорашивалась. В квартире вдруг появился запах духов, до сих пор Мильда редко ими пользовалась, и рыженький круглолицый Марксик, так похожий на их ленинградского вождя, недоуменно спрашивал:

— А чем это так сладко пахнет, папа?

— Так смерть пахнет, сынок, — однажды ответил ему Николаев, и теща возмущенно его отчитала. Но изгнанник партинститута не солгал. Он уже носил в портфеле револьвер, и ранним утром спешил, как на

работу, на улицу Красных Зорь, где жил Киров, пока только издали наблюдая, как подъезжает к подъезду черный «форд» с охраной и два крепких охранника, выскакивая из автомобиля, придирчиво оглядывают улицу, двор дома, чердаки соседних зданий, прощупывают взглядом каждого прохожего, посматривают на окна квартир. Издали Николаеву не попасть. Он неважный стрелок. Надо приблизиться хотя бы на несколько метров, чтоб выстрелить наверняка.

С каждым утром становилось все холоднее, мерзли ноги от долгого ожидания. Подъезд кировского дома охранялся, но швейцар-охранник находился внутри, и во двор войти было можно. Но когда въезжал черный «форд» и выскакивали охранники, они всех гнали со двора. Дворник, завидев машину, уходил сам, хотя его уже знали в лицо.

Когда автомобиль подруливал к дверям подъезда, один охранник обычно вставал рядом с ними, а второй, оглядывая окрестности, стоял с другой стороны, ближе к дороге. Правда, на какой-то момент, когда выходил Киров, оба энкеведэшника смотрели на него, но шансов приблизиться в эти считанные секунды все равно не было. Шофер все время ставил машину так близко от входа, что Киров в мгновение ока нырял в нее, словно сам чего-то боялся.

Намерзнувшись в бесполезном ожидании и проводив уехавшую машину, Николаев возвращался домой. Его еще трясло от напряжения, от простого проигрывания в уме, как мчится к машине, палит на ходу, как в ответ стреляют охранники, он падает, сраженный пулей. Перед смертью просит допустить к нему жену и детей. Мильда плачет, по щекам сыновей текут слезы. Леонид говорит им: «Простите своего отца!» — и умирает.

На глаза Николаева, представляющего эти душе-раздирающие сцены, навертывались слезы. А город

бурлит, люди в трамваях только и обсуждают его поступок. Одни защищают с пеной у рта, доказывая, что он поступил как настоящий мужчина, другие осуждают. Газеты пестрят сенсационными сообщениями о покушении на жизнь Кирова. Публикуется и портрет Леонида Васильевича. Какая-нибудь загадочная дама вырежет его и наклеит в общую тетрадь, куда переписывает стихи. Может быть, ему удастся сказать несколько слов репортерам. Это было бы хорошо. Он бы сказал: «Ухожу из жизни честным человеком, пытавшимся отстоять свою честь». Нет, лучше так: «Ухожу из жизни достойным человеком, пытавшимся защитить свою честь». Да, так лучше.

Голод, мучивший его, лишь усиливал эти переживания. Он открывал дневник, занося туда новые мысли. Но едва он начинал раздумывать над своим поступком, как мгновенно пропадал всякий мотив личного мщения, он ощущал себя народным спасителем, революционером, борющимся за права обездоленных и угнетенных, Прометеем, похищающим огонь свободы у алчных тиранов.

«В таких действиях важно одно — сила рвения на самопожертвование. Да, еще потребуется немало людей, готовых отдать себя во имя исторической миссии. И я готов пойти на это ради человечества, оставляю мать, жену на добрых людей, — Николаев подумал и дописал: — мать, жену и малолетних детей».

Прошла неделя. Он уходил и возвращался. Но с каждым возвращением он чувствовал, как крепнет в нем это справедливое и единственно возможное решение — убить Кирова. Другого выхода он уже не видел. На его жалобы никто не отвечал, не присылали повестки с просьбой явиться для беседы в райком партии, никому он был не нужен. Даже Мильда не интересовалась, куда он ходит и что делает. Теща

смотрела на него с испугом, точно он сумасшедший и сейчас огреет ее поленом. Дети здоровались с ним робко и смотрели, как на зачумленного.

Утром 14 октября он поднялся и написал завещание: «Дорогой жене и братьям по классу. Я умираю по политическим убеждениям, на основе исторической действительности.

...Ни капли тревоги, ни на йоту успокоения...

Пусть памятью для детей останется все то, что осталось в тебе.

Помните и распространяйте — я был честолюбив к живому миру, предан новой идее, заботе о исполнении своего долга.

Поскольку нет свободы агитации, свободы печати, свободного выбора в жизни, я должен умереть.

Помощь из ЦК (Политбюро) не подоспеет, ибо там спят богатырским сном...

Ваш любимый

Николаев».

Но в тот день, 14 октября, он никуда не пошел. Составление завещания отняло у него массу душевных сил, каждую строчку он писал будто собственной кровью, а закончив писать короткое, в полстранички объяснение и поднявшись из-за стола, Николаев чуть не упал: закружилась голова, и он прилег на постель. Когда волнение улеглось, идти было уже поздно, Киров уехал в Смольный, а вечером его встречать бесполезно, он засиживается в Смольном до полуночи. Пришлось перенести выстрел на 15 октября.

Вечером зашли в гости Кулишеры — Ольга, младшая сестра Мильды, с мужем Романом Марковичем. Они принесли бутылку вина и собственную настойку на перепонках грецких орехов, которую выдерживал на спирту сам Кулишер. Он был на год старше Леонида, работал стоматологом и получал приличные

деньги, зарабатывая их, конечно, частным образом, не брезгуя практиковать и на дому. Кулишера дважды исключали из партии, один раз даже «за развращенные половые действия»: его застали с клиенткой прямо в зубоврачебном кабинете за необычным половым актом, причем Роман Маркович тут же нахально заявил, что идет опробование двух пломб, которые он только что поставил клиентке. Николаев его презирал, вообще не понимая, как Ольга может жить с таким развратным типом.

Кулишер без стука ворвался в комнату к Николаеву и плюхнулся на кровать. Николаев закрыл тетрадь, в которой вел дневник, спрятал ее в стол. Полное круглое лицо Романа расплылось в ехидной улыбке.

— Стишки пописываем? Я встретил вас, и все дурное в отжившем сердце отжило? Ха-ха! Вы чего, разводиться надумали? — спросил Роман.

— Почему? — не понял Николаев.

— Ольга мне проболталась, а ей, видимо, Мильда. Ты чего, до сих пор не работаешь? Все за справедливость борешься? Так не надо. Я вчера чуть велосипед не купил. Немецкий. «Даймон». Шикарная вещь.

Это была манера Кулишера перескакивать с одного на другое.

— Чем занимаешься? — спросил он.

— Отдыхаю, — с вызовом ответил Николаев.

— Молодец! — хохотнул Роман. — Устроил себе каникулы на восемь месяцев! Ой не могу!..

Он хохотал минуты три.

— Ну почему я такой идиот? Все люди как люди. Тут ко мне такая дива ходит зубы лечить из Мариинского, я просто млею: эмаль — россыпь жемчуга, а коренные! — он простонал от восхищения. — Фасад же сам понимаешь: ни груди, ни бедер, и кожа гусиная, брр! Но зубы! Я готов отдать свою свободу, чтоб

каждый день смотреть ей в ротик. Я ей сказал: мадам, ваши зубки надо показывать всему миру!.. Я готов немедленно в них влюбиться!

— Роман Маркович, я вас прошу переменить тему, мне неприятны эти ваши разговоры! — побледнев и еле сдерживаясь от гнева, выговорил Николаев.

— Чего тут неприятного? Наоборот, о чем еще говорить?! У нас студентки заявили на практику, ты не поверишь, какой цимес, как говорил мой сосед Исаак! Такие попки, у меня даже слюнки текут!

Кулишер закатил глаза от удовольствия.

— Роман Маркович, я вас еще раз предупреждаю! — губы у Николаева затряслись, и глаза полыхнули диким огнем.

— Да пошел ты в задницу! — разозлился Кулишер, поднимаясь с постели и подходя к двери. — Тебе никто не говорил, что ты сумасшедший? Так вот я тебе говорю! И правильно, что Мильда хочет с тобой развестись! Зачем ей сумасшедший, когда вокруг столько здоровых людей и с хорошими зубами!

Кулишер хлопнул дверью. Несколько секунд Николаев держался, но потом рухнул на пол и потерял сознание. Очнулся он уже в постели, света не было, а в окно проникала полная луна. В полнолуние с ним всегда случались припадки. Он вспомнил, что завтра должен выстрелить в Кирова. «Только бы не проспать», — прошептал он и заснул, проснувшись ровно в шесть утра, как и намечал.

Он выложил «завещание» на стол, оделся, взял портфель и вышел в коридор. Мильда кормила детей на кухне, запах вареной картошки остановил его на мгновение, но, увидев, как заботливо она наклонилась над младшим, Марксыком, он с грустью улыбнулся, бросая прощальный взгляд на сыновей, и ушел.

Добираясь на трамвае до Красных Зорь, он увидел в окно большие щиты, извещавшие о новом звуковом фильме «Чапаев». Леонид пожалел, что никогда уже не увидит этого фильма, тем более что курносый молодой парень в рабочей спецовке взахлеб рассказывал о психической атаке каппелевцев и как Чапаев разгромил их. Николаев вдруг вспомнил Романа Кулишера и подумал, что он тоже отчасти сумасшедший с его тягой к извращенной любви: большие груди, зады, рты — обо всем этом Кулишер мог говорить часами, но Леонид никогда же не говорил ему, что он чокнутый на этой почве. Жалко только его жену Ольгу, которая все это терпит.

Очутившись у кировского дома, Леонид решил больше не прятаться, а уверенно вошел во двор и стал ждать машину Кирова. Она приезжала минут за десять до его выхода. Еще желтые листья сыпались со старых лип и кленов, устилая двор красно-желтым ковром, но морозный парок уже таял в воздухе, и уши мерзли. Николаев присел на скамейку во дворе. Он не чувствовал ни особого страха, ни волнения. Ему очень хотелось посмотреть в глаза тому, кто украл у него жену и без стыда ходит каждый день на работу, вершит государственные дела.

Старуха выползла из подъезда и, с презрением оглядев незнакомца, сидящего на лавочке, покачиваясь утицей, двинулась дальше.

Подъехал черный лимузин, выскочила охрана, один из охранников, тот, что постарше, подошел к Николаеву.

— Ты из этого дома? — спросил он.

— Нет, — ответил Леонид.

— Тогда выйди со двора!

— Почему?

— Потому! — охранник предъявил удостоверение НКВД. — Выкатывайся!

— Но мне нужно увидеть Кирова!

— Иди в обком, запишись на прием! Ты член партии?

— Да!

— Тогда иди в обком!

— Но там к Кирову не допускают! Мне нужно только его увидеть!..

Николаева трясло как в лихорадке, глаза горели огнем, и охранник, подозрительно взглянув на него, потребовал показать документы и дать ему на осмотр портфель.

— Там ничего нет, — соврал Николаев.

Охранник вырвал из его рук портфель, отшвырнул Николаева, который хотел вернуть портфель, в сторону. Открыл, увидел револьвер и, вытащив свое оружие, направил его на перепуганного Леонида.

— Вы арестованы! — зычно выкрикнул он. — Встать!

Еще через десять минут Борисов, так, оказалось, звали охранника, притащил его в отделение милиции, заявив: «Хотел увидеть Кирова, имел при себе оружие, разберитесь!»

Николаева допрашивал сам районный комиссар. Вид у него был благодушный, сытый, животик выпирал из-под ремня. Он осмотрел револьвер, проверил подлинность разрешения на хранение оружия.

— Как же вы все-таки оказались во дворе дома, где живет товарищ Киров? — в пятый раз спросил комиссар.

— А я вам отвечаю, что писал товарищу Кирову письмо с просьбой о помощи, но ответа не получил, просился на прием через Свешникова, но в приеме мне было отказано, что мне оставалось делать?! — в пятый раз одно и то же повторял Николаев.

Заглянул помощник комиссара, утвердительно качнул головой и скрылся.

— Что ж, сведения ваши подтвердились, — вздохнул он, не зная, что делать с этим психическим жалобщиком. — А зачем на встречу с товарищем Кировым вы взяли револьвер?

— Я взял портфель, а револьвер у меня всегда лежит в портфеле. Вчера вечером я возвращался, меня чуть не раздели, пальто на мне совсем не заношенное, и если б не пугнул их этим, сегодня, может быть, меня хоронили. Я даже не подумал, что наличие револьвера поставит меня в такое подозрительное положение, — нервно усмехнулся Николаев.

— Хорошо, напишите в приемной все это на бумаге, — попросил комиссар.

Николаев вышел, написал объяснение.

— Поскольку вы впервые у нас, то мы вам поверим и отпустим, но я надеюсь, что в следующий раз вы таких ошибок больше не совершите! — предупредил его комиссар, пряча его объяснение в ящик стола.

«Им лень мозгами пошевелить, — обозлился Николаев. — Если б они узнали, что я полгода хожу безработный, быстро бы обо всем догадались, но что делать, когда мозгов нет!»

— Поверьте, больше не совершу! — искренне заверил Николаев. — Растерялся, а надо голову на плечах иметь! До свиданья!..

Выйдя из отделения милиции и прищурившись от яркого осеннего солнца, он даже рассмеялся. «Какие тут олухи еще работают! — подумал Николаев. — Верят на слово! А я разные еще слова знаю! Верьте, верьте, дураки!»

Он вдруг подумал, что мог бы лучше многих работать в НКВД. Только не рядовым, а каким-нибудь маленьким начальником, чтобы только сидеть за столом, подписывать бумаги, допрашивать. Он бы всех в бараний рог скрутил. Каждого второго — в

камеру, на хлеб и воду. Даже без хлеба. И без воды. И чтобы мучились, ползали у него в ногах, вымаливая прощение. Он бы всем отомстил за те муки, которые выпали на его долю.

Николаев вернулся домой, выпил чаю с хлебом, спрятал «завещание» и лег спать. На душе у него было легко и радостно, словно он получил прежнюю работу. «А ведь если вдруг восстановят, смирюсь ли я с тем, что не застрелю его? — задумался Николаев и долго не мог себе ответить. — Теперь-то я, пожалуй, и не смирюсь. Он должен умереть, этот кровопийца, тиран и сладострастник! «Но есть и Божий суд, наперсники разврата. Есть грозный суд, он ждет, он недоступен звону злата. Все мысли и дела мои, — вставил Николаев, — он знает наперед». Четверостишие вырвалось само собой. Еще недавно он пытался его вспомнить, но не мог, а теперь вспомнил. Словно про него сказано. «Я не один страдаю и готов бороться до последнего дыхания. У меня нет больше надежд на спасение».

Последняя фраза ему так понравилась, что он поднялся и записал ее в маленький блокнотик. Это для будущего. Потом эти фразы будут заучивать наизусть школьники. Ведь он второй Желябов, и все приготовления ведет, подобно ему: ездит, примеряется, выслеживает. Но Желябов не оставил своих дневников, а Николаев оставит. Чтобы никто не усомнился в том, что он готовился совершить не просто частную месть, а политический акт. Киров умрет хотя бы за то, что сделал из Мильды потаскушку, развратил ее, унизил, растоптал. Эх, Мильда, Мильда, ты могла предупредить многое, но сама не захотела.

Киров в то утро даже не обратил внимания на исчезновение Борисова, он лишь после обеда от самого Михаила Васильевича узнал, что последний отводил в отдел милиции одного партийца по имени Николаев. Он рвался переговорить с Кировым, но поскольку Борисов нашел у него заряженный револьвер, то счел своим долгом отвести его на дознание.

— Такого человека, по имени Николаев, не знаете, Сергей Миронович? — спросил Борисов.

— Нет, такого не знаю, — подумав, ответил Киров.

— Странно, — пробормотал Борисов, — а он уверял, что вы должны его хорошо знать. Вот негодяй!

Лишь к середине дня Киров неожиданно вспомнил: Николаев — муж Мильды. О чем же он хотел с ним переговорить? Мильда, наверное, подала на развод, а раз он давно следил за ней, то догадался, кто ей дал такой совет. Или просто хотел попросить его переубедить Лидака? Неужели этот несчастный до сих пор не устроился на работу?

Киров уже хотел позвонить Мильде, но раздался звонок по прямому телефону.

— Киров слушает!

— Привет, — проговорил нежный женский голос.

— Я вас слушаю, — сердито повторил он.

— Не узнаете, Сергей Миронович, — в голосе по-

слышались насмешливые нотки. — Это Эльвира Костаниди. Сто лет не слышала ваш голос. Как поживаете, товарищ секретарь ЦК?

— Спасибо, живу, как видите, — усмехнулся Киров.

— В том-то и печаль, что не вижу, — рассмеялась Эля. — А я теперь у вас работаю, собкором, квартиру дали. Давно хотела переехать в Ленинград, и вдруг выпало это счастье: ходить по пушкинским улочкам, каждый день видеть собственными глазами эту застывшую музыку растреллиевских дворцов. Вы знаете, как его звали?

— Нет...

— Варфоломей Варфоломеевич. Если хотите, я вам пришло свою статью о нем. Целую неделю просидела в архивах. Интересная получилась статья. О нем, о папе Бартоломео, впрочем, ничего не буду говорить, сами прочитаете. А может быть, мы встретимся? Или образ мой давно померк, а всякий слух обо мне из сердца изгнан? — она рассмеялась. — Я готова принять вас у себя, у меня отдельная квартира. Напою вас кофе по-турецки, с солью и пряностями, а в порядке подхалимажа угощу нежным куском мяса, запеченного с чесноком, и к мясу найдется терпкое вино «Саперави». Мне вот интересно: неужели можно устоять против такого предложения, не бросить все к черту и не помчаться навстречу нежному зову, ведь жизнь коротка, а любовь вечна...

— Мне так и хочется сделать, — отозвался Киров. — Но разве речь идет о сегодняшнем вечере?

— Конечно, я уже и мясо ставлю на огонь...

Кирова всегда обескураживали напор и бесцеремонность. Несмотря на всю свою жесткость, в душе он оставался мягким, застенчивым человеком. Сергей Миронович посмотрел на часы: 16.20.

— Хорошо, но не раньше восьми...

— Что ж, я успею принять ванну, — нежно проворковала она и продиктовала адрес.

Киров хорошо помнил рассказ Орджоникидзе со слов Петерса и предполагал, что Эля должна вот-вот объявиться. Он знал, что ей скажет, когда она позвонит: каждый день у него на два месяца вперед расписан, он рад, сожалеет и прочее. Но едва Эля заговорила о пушкинских улочках, Растрелли, как ему стало интересно ее слушать, она угадала и его тайную любовь к Ленинграду, он даже немного заволновался и, сам того не ожидая, согласился заехать прямо сегодня. Она все же бесовская девка, в ней уйма таланта и обаяния, и Ягода хорошо знал, на кого делал ставку.

Киров поднялся, налил себе полстакана воды, выпил, стараясь успокоиться и все хорошо обдумать. «Может быть, это даже хорошо, что я согласился», — подумал Киров. Ему предоставлялась редкая возможность поправить свои пошатнувшиеся отношения с Кобой таким способом, через Элю, дать ему понять, что он не держит камня за пазухой. Отчего ж не воспользоваться? Эльвира не звонила раньше, потому что наверняка ждала, пока «оборудуют» квартиру. Теперь все готово, и можно принимать гостей. Кирову — великая честь открыть этот шпионский салон. Что ж, он откроет и не будет множить подозрений Кобы на свой счет.

Он позвонил Мильде. Она обрадовалась, знала, что он приехал, и ждала каждый день его звонка, но об этом не было сказано ни слова, одни сухие «нет» и «да», выдавало лишь ее дыхание, эти скупые «да» были напоены такой нежностью и страстью, что Элина красивая речь после разговора с Мильдой показалась ему напыщенной и фальшивой. Киров пообещал, что дня через два они обязательно встретятся, у него пока уйма всяких дел. Он спросил, как у

нее с мужем, и она сказала, что объявила ему о разводе. Он не стал говорить ей об утреннем происшествии. «Скорее всего, — подумал Киров, — он хотел объясниться со мной по поводу Мильды. Только почему с револьвером, да еще заряженным?.. Решил попутать? Но ему может боком выйти его смелость...»

Кирову и в голову не пришло, что Николаев готовился к выстрелу. Безумный ревнивец убивает своего соперника из револьвера — такой сюжет годился только для оперы.

Эльвира встретила его в ярко-красном японском кимоно, ей шел этот цвет. За год, что они не виделись, Эля чуть округлилась, но прежней утонченности фигуры не утратила. Она перестала выглядеть девочкой-подростком, а превратилась в изящную маленькую даму, совсем бесстрашную по части откровенных взглядов. Это был вкус Ягоды: хрупкая женщина, наделенная изысканным коварством. Надо сказать, что Кирову тоже нравились такие женщины, он любовался их грацией, изломанностью жестов, они были приятными собеседницами, магия их обаяния завораживала, но любовная интрига на этом кончалась. Более близкие отношения разочаровывали. Для них требовалась иная отвага, иная телесная крепость. То же произошло год назад у Кирова и с Элей, и она тогда этого не поняла, потому что ее в мужчине интересовал только ум и природный дар, если таковой имелся, об остальном она и говорить не хотела, милостиво уступая животному напору собеседника лишь из уважения к другим его качествам.

Но сейчас Киров видел перед собой совсем иную женщину, обладавшую опытом знаменитой гейши

или гетеры, в чьих жестах, взглядах и движениях угадывалась страсть к наслаждению.

«Неужели Ягода за несколько месяцев смог так изменить ее? — подумал Сергей Миронович. — Я недооценивал нашего Аптекаря!» Последнее слово у него вырвалось невольно, так Коба один раз назвал серого кардинала ОГПУ, пояснив, что тот учился в юности на фармацевта, но Киров неожиданно вспомнил о странном яде, обнаруженном у Гиви Мжвания, и все вдруг связалось в одну цепочку. «Значит, и он замешан в этой истории?..»

— Я изменилась, правда? — угадав его мысли, улыбнулась Эля.

— Немного, — кивнул Киров.

— Все это замечают, — согласилась она. — Я встретила одного человека, но мы вынуждены были расстаться, я любила его, и он словно открыл меня заново. Я стала по-новому ко всему относиться, я стала женщиной, потому что раньше ею не была. Можно долго об этом рассказывать, но чудо случилось.

— А как вы познакомились?

— Он сам меня нашел. Приехал, забрал, это тоже было необычно, увез сразу на дачу и стал всему учить. Абсолютно всему. И я, человек независимый, неожиданно ему подчинилась, а потом уж сама напрашивалась на свидания...

— А кто он, если не секрет? — спросил Киров.

— А он. — Эля вспыхнула румянцем. — Он тоже журналист, много ездит, давно женат, именит, словом, я, как девушка на сезон, в один прекрасный миг исчезла из его жизни, но эти несколько месяцев были удивительными, и я буду ему всегда благодарна...

Она принесла по зажаренному куску мяса, укра-

шенному листьями салата, черными маслинами и долькой лимона.

— Говорят, на Западе никакого гарнира к мясу не подают, — чуть смутившись, выговорила Эля, — а потом картофель несовместим с мясом...

— Это ваш журналист говорит? — спросил Киров.

— Да, он был на Западе...

Эля смутилась, потому что Ягода никогда никуда не выезжал. Киров вспомнил, что нечто подобное говорил Горький, когда принимал их с Кобой у себя, а председатель НКВД туда бегаёт довольно часто.

Киров открыл «Саперави» и шампанское, он привез с собой несколько бутылок. Они приступили к ужину.

— Как ваше секретарство? Я думала, что секретари ЦК живут в Москве. А вы, я вижу, не хотите покинуть Северную Пальмиру? — глаза у Эли игриво блеснули.

— Перееду в начале года...

— Вот как?! — то ли огорчилась, то ли обрадовалась Эля. — Я только переехала, а вы собираетесь от меня уже сбежать! Это нехорошо. Как поживает товарищ Сталин? Ведь вы теперь постоянно с ним общаетесь...

— Товарищ Сталин чувствует себя хорошо, — усмехнулся Киров.

— Я что-то не то спросила? — заметив его усмешку, насторожилась Эля. — Но нам, обывателям, интересно узнать, как живут олимпийцы, что они едят, о чем думают.

— Вы меня для этого и пригласили? — поддел ее Киров. «Неопытный конспиратор всегда начинает с ошибок», — подумал он, вспомнив, как попался из-за своей юношеской самоуверенности в Томске.

— Ну что вы, Сергей Миронович! — покраснела Эля. — Я просто пытаюсь завязать светскую беседу и

спрашиваю о первом, что приходит в голову. Григорий Константинович вам рассказывал о нашей встрече?

— Да, он говорил, как вы похорошели, — улыбнулся Киров. — Я уж подумал, не влюблен ли он в вас, с таким восхищением Серго вас описывал.

— А вы считаете, что в меня нельзя влюбиться? — кокетливо спросила Эля.

— Ну почему, очень даже можно. Просто Серго у нас мужчина строгих правил и однолюб...

— А вы?

— Я, наверное, тоже...

— Хорошо, что вы употребили это слово «наверное», а то я бы расплакалась. Я целый год мечтала о нашей встрече, надеясь, что у товарища Кирова сохранился ко мне какой-то интерес. Простите, что я забыла вас поблагодарить за заботу, ведь Григорий Константинович, выполняя вашу просьбу, прошлой зимой заезжал ко мне, спрашивал, не нужна ли помощь... Это было так трогательно. Тогда я вдруг осталась одна и... — На ее глазах блеснули слезы, Эля выгатила платок. — Извините!

На какой-то миг сердце его дрогнуло, ему захотелось броситься и приласкать ее, такой беспомощной и сиротливой она показалась Кирову, но Эля вдруг улыбнулась, и слез как ни бывало.

— Арестовали моего близкого знакомого, нет, просто друга, он дружил с мамой, отцом, я запаниковала, и вдруг в газете появляется сам товарищ Орджоникидзе. Наш редактор был так потрясен, что не знал, чем меня ублажить, и с перепугу даже стал за мной ухаживать! Повел ужинать в ресторан! — Эля рассмеялась. — Было очень смешно. Вот... Но я помню оба наших свидания, — жарко прошептала она. — А вы сразу перерубаете канат и уходите в открытое море.

Киров не стал ее уличать во лжи, когда она призналась, что целый год мечтала об этой встрече, сыграв довольно искренне эту фразу. Несколько минут назад она с упоением говорила о любви к Ягоде, назвав его журналистом, и Сергей Миронович мог бы упрекнуть ее в обмане, но тогда выявится его настороженная подозрительность, а ведь он пришел к одинокой даме на приятный вечерок, правда, заранее предусмотрев и отходной вариант: ровно в половине десятого раздастся звонок, и его отзовут по срочной оказии. За это время успеет поужинать и удостовериться в своих подозрениях. Он поймал себя на том, что размышляет цинично и грубо, но тут уж с кем поведешься.

Возвращаясь домой, Киров не без восхищения отметил, как искусно эта маленькая гейша плела свои сети, и не зная он рассказа Серго, непременно бы в них попался и, возможно, о чем-нибудь проговорился. С Ягодой ему трудно состязаться.

Перед отъездом Эля взяла с него слово, что Сергей Миронович обязательно ее навестит и постарается оградить свое пребывание от таких назойливых звонков. Киров развел руками: он себе не принадлежит, и был бы рад остаться, продолжить их чудную беседу, но что делать. Эля займется поиском своих ошибок и быстро найдет одну из них: ее рассказ о романе с журналистом прозвучал некстати, но слово вылетело.

Мелкий снег уже кружился в обнимку с дворниками. Рассерженная Нева недолго бурлила гневом, и в одно морозное утро, утратив остаток сил, скрылась за тонким зеленым зеркалом. Выглянуло солнце, озолотив адмиралтейскую иглу, и зима под марш духового оркестра торжественно вошла в город, и он стал готовиться к своему главному празднику, к семнадцатой годовщине революции.

Киров приезжал пятого ноября из Москвы, и Николаев решил: завтра утром, на Московском вокзале. Вторая попытка и окончательная. Накануне, четвертого, он зашел проститься с матерью, она насушила ему мешочек сухарей, и он зловеще усмехнулся: не терпится в дом отдыха отправить?

— Чего плетешь-то? — огрызнулась она. — Кто тебя в тюрьму толкает? А мешочек сунул в портфель да грызи по дороге. Зубы-то еще не выпали?

Мария Тихоновна села на стул и долго молча смотрела в окно. Николаев хотел, не открывая всего, объясниться с ней. Свиданий ему не дадут, а как сказать старой неграмотной женщине, чтоб она поняла его и не кляла потом, не считала безумным? «При царе жили плохо и сейчас не лучше, — вот и вся материнская политграмота. — А жить надо, куда деваться».

— Раньше ситного хлебушка в лавке купишь, так

ешь не нарадуешься, до чего он был душистый, да мягкий, теплый, прям из печи. А сейчас поди-ка, поешь! Зубы сломаешь, да запах мякины в нос шибает. И этого еще нет, — сердито выговаривала сама себе Мария Тихоновна. Ходики щелкали секунды. За окном темнело. Чай остыл. — Тебе подлить горяченького-то?..

— Нет...

— Ты бери хлеб-то, ешь, у меня еще есть. Не будет, так я у Катьки возьму. Устроился бы ты куда-нибудь, все полегче бы было, а так что? Маята одна.

— Коли в мае уродился, значит, весь век маяться, — ответил он. — Знать бы только, за что...

— А этого никто не знает, — ответила мать. — Ленин-то ваш, одногодок мой, его уж десять лет как нет, а я все живу, хоть с двенадцати лет, как пошла в прислуги, и по сию пору спину не разгибаю. А что от меня проку?

— Вот я и хочу, чтоб от меня прок остался! — неожиданно загорелся Николаев. — Чтоб другие задумались: а зачем он это сделал? Ради чего? А я им отвечу: ради правды великой, ради нас всех!

— Чего сделал-то? — не поняла Мария Тихоновна. — Ты сначала сделай, а потом и приговора требуй.

— А я и сделаю! — сверкнув глазами, сказал Николаев.

— Вот и сделай!

Он поднялся.

— Чего ты? — испугалась мать.

— Мне пора, мама, спасибо тебе за все. Если что, не осуждай и не поминай лихом!

Он шагнул к двери, накинул куртку, натянул шапчонку.

— Да за что лихом-то поминать? — всполошилась

Мария Тихоновна. — Ты чего надумал, бес окаянный?!

— Перекрести меня, мама, — попросил Николаев.

— Ты ж партийный!

— Ну и что? Я материнского благословения не чуюсь. Перекрести!

— Да не буду я тебя крестить! Чего еще выдумал?! Крест со значением кладут, а пустое благословение во вред только.

— А завтра у меня такой день выпадает решающий! — выпалил Николаев. — Все может круто измениться!

— Работу, что ль, подыскал?

— Считай, что работу!

— Ну коль так... — Мария Тихоновна трижды перекрестила сына и, поцеловав, что-то прошептала и сплюнула в сторону. — Это так бесов сгоняют, — объяснила она.

— Прощай, мама! — выдохнул Николаев.

— Сухари-то забыл! — Она сунула ему мешочек.

Благословение и впрямь его успокоило. Он вернулся домой и сразу лег спать до шести утра. Полежал минуты две с открытыми глазами и стал собираться. Ушел, ни с кем не простившись.

На вокзале уже было шумно, суматошно, в зале ожидания пахло детскими пеленками и едковатым потом, Николаев присел на грязный пол и стал дожидаться прибытия московского. Он не чувствовал страха, его не трясло, как тогда, пятнадцатого октября. В духоте разморило, и он заснул, а проснувшись, понял, что опоздал, московский уже прибыл. Бросился на перрон, пытаясь пробиться сквозь густую толпу, и ему удалось попасть в людской поток, двигавшийся навстречу Кирову. Через несколько секунд Николаев увидел плотное кольцо кировской охраны

и еще троих впереди, прокладывавших дорогу в толпе. Киров шел пасмурный, в черной каракулевой шапке и в черном овчинном полушубке с высоким стоячим воротником. Изъеденное оспинами лицо довершало мрачность всего его облика. Вождь шел, погруженный в свои думы, не откликаясь на частые выкрики-здравницы в его адрес, доносившиеся с разных сторон. Они сближались. Николаев понимал, что через мгновение они поравняются, и лицо тирана окажется на расстоянии двух метров от него. И можно будет выстрелить. Рубашка на спине взмокла от пота.

Внезапно толпа уплотнилась, на Николаева насел бородатый деревенский мужик с деревянным плотницким ящиком, Леонид вставал на цыпочки, вытягивал голову, чтобы не потерять Кирова, сжимая в правом кармане холодный револьвер. Оставалось лишь достать его и несколько раз выстрелить. Мститель был уверен, что попадет. Но именно в тот миг, когда они — палач и его жертва — сблизились, Николаева стиснуло так, что он не смог даже пошевелить рукой. Толпа, качнувшись влево, выбросила его в сторону, и он, оглянувшись, увидел лишь широкие кожаные спины охранников, за которыми невысокий приземистый Киров был почти не виден.

Николаев пролез во встречный поток, стал пробираться за Кировым, но догнать его не смог. Когда он выскочил на привокзальную площадь, два обкомовских автомобиля уже отъезжали. Он вытер пот и выругался. Столько усилий и понапрасну. Его стало трясти, он лишь сейчас почувствовал то напряжение, которым был охвачен с утра.

В трамвае Леонида укачало. Очнулся через полтора часа снова на Московском вокзале и, вытаращив глаза, долго не мог ничего понять. На какое-то мгновение ему показалось, что он сошел с ума: город был

погружен в мрачную черноту, и здания падали на него. Но это всего лишь был обморок. Его усадили, кто-то растер виски, чем-то резким шибануло в нос, и день начал возвращаться.

Дома, чтобы успокоиться, он выпил пять стаканов чаю с сухарями, прилег на постель и заснул, очнувшись поздним вечером, когда Мильда, лежа в постели, читала детям «Конек-горбунок».

Николаев открыл дневник.

«Если ни 15.Х, ни 5. XI я не мог сделать этого... то теперь готов, иду под расстрел. Пустяки, только сказать легко!..»

Николаев вспомнил об энкеведэшниках и записал себе памятку: если арестуют, не забыть поставить им условие: «Ко мне без ведома ЦК на квартиру не ходить, а если пойдете, то жену и детей не напугайте...»

«Сколько я не думал и не принял мер, но обратно возврата нет. Предрешая свою судьбу, я не хотел бы расстаться с жизнью на 10 — 20 лет раньше».

Потом он стал писать план. Написал подзаголовки: «Учет внешних и внутренних обстоятельств», «Место действия», «На вечер» и стал придумывать разные места покушения: на вокзале, при встрече, как сегодня, или лучше сразу же пристроиться в хвост охране, идти за ними вплотную и ждать момента, когда они чуть расступятся, и, не вытаскивая револьвер, выпалить прямо из кармана. У его дома на улице Красных Зорь, 26/28, подождать, когда он и охранники сядут в машину. Всегда есть несколько секунд перед тем, как машина трогается с места. Можно подбежать, открыть дверцу и палить или разбить стекло и палить. Охрана растеряется и не сразу отреагирует, он успеет сделать 1 — 2 выстрела и сможет даже убежать. Наконец, в Смольном при первой

же встрече, овладеть духом и решимостью и палить. Все эти места действия им до конца не отработаны.

Николаев засиделся до двух часов ночи, описывая свой план, потом еще час ворочался в постели, проигрывая в воображении все эти ситуации, но одна из них запечатлелась ярче всего: он идет за Кировым по длинному коридору Смольного, сжимая револьвер, и, когда насильник подходит к двери своего кабинета, Леонид три раза стреляет в него и четвертый — себе в висок. Два трупа, великая загадка века: вождь и простой партиец. Похороны. Мильда рыдает над гробом, дети. Жена Кирова рыдает над гробом. Две вдовы. Имеющий глаза увидит и поймет.

7 ноября утром Мильда ушла на демонстрацию и вернулась поздно. Он слышал, как она рассказывала матери, что Ольга с Кулишером затащили ее к себе, угостили водкой, была селедка с картошкой и пельмени, Ольга настряпала. Роман подвыпил, стал приставать к Мильде, гладить по разным местам, когда Ольга выходила из комнаты. Она еле от него отбилась. Вечером он пошел ее провожать до трамвая, Ольга осталась мыть посуду, и Роман снова приставал, повалил в снег, предлагал прийти утром: Ольга на работе, а Роман на следующей неделе с двух часов. Мильда потешалась над ним, рассказывая, какие слова он ей нашептывал: и королева, и царица, умолял спасти его, иначе он кого-нибудь изнасилует, и его посадят. Теща испуганно ойкала, возмущаясь распутным зятем, у Николаева темнело в глазах от ненависти, а Мильда смеялась.

— Перебесится, никуда не денется...

Она принесла пельменей, пригласила и мужа поест бульончику с пельменями, все же праздник, но Николаев от ужина отказался.

После праздников заглянув в райком, он случайно услышал, что Киров едет в Москву на заседание

Политбюро, но 13-го вечером возвращается «Красной стрелой» обратно. «Значит, 14-го утром, на вокзале», — пронеслось у него, и он даже не зашел в РКК, если б был хоть один ответ на его письма, они бы нарочно отправили к нему на дом. Сама судьба подсказывала ему: 14-го утром, последний срок.

На Политбюро утвердили повестку Пленума ЦК, который должен состояться 25 — 28 ноября. На Пленум выносили два вопроса: 1. Об отмене карточной системы по хлебу и некоторым другим продуктам. 2. О политотделах в сельском хозяйстве. На вечер 28-го наметили совместный просмотр спектакля МХАТа «Дни Турбиных». После заседания Киров спросил у Жданова, решился ли вопрос с отправкой нового прокурора в Семипалатинск. Еще раньше Мирзоян прислал в Ленинград телеграмму, что новый прокурор Восточной области так и не назначен и никаких мер для улучшения жизни спецпереселенцев, которых они посещали, прокуратурой не принято. Киров отправил Жданову телеграмму об этом еще 1 ноября. 4-го он говорил с ним лично, и тот обещал во всем разобраться. Жданов выглядел расстроенным и ответил неопределенно, сказав, что Сталин сам взял этот вопрос на заметку, встречался с Вышинским, а о чем они договорились, он не знает. Киров зашел к Сталину.

— Я разобрался, — выслушав его сетования, хмуро ответил Коба. — Твои раскулаченные живут в домах, продукты им выдаются согласно нормам, а вот работают они хуже всех. Сломали молотилку, есть случаи хищения зерна, так что улучшать им условия жизни я не вижу оснований. Наоборот, я приказал ужесточить их, так как они не хотят вставать на путь исправления.

— Но я сам видел, как они живут, — проговорил Киров. — Дома полуразрушены, печи нет, нет кизя-

ка, чтоб топить и готовить пищу, ночью всем не хватает места на земляном полу. Уполномоченные воруют продукты, пьянствуют, избивают за малейшую провинность, насилюют женщин. Разве это жизнь?

— А ты хочешь, чтобы они жили? — спросил Сталин.

— Но они не совершили никакого преступления! — гневно воскликнул Киров. — Там, под Семипалатинском, обыкновенные переселенцы и страдают невинные дети и старики. Раскулаченные давно умерли, остались в живых их соседи и односельчане, которых в свое время выстригли под одну гребенку из-за тех страшных перегибов, которыми ты, Коба, сам возмущался!

— И ты хочешь, чтоб мы построили им каменные дома, кормили вдоволь хлебом и мясом, которого твоим рабочим не хватает? Пойди, отними хлеб у своих рабочих и отдай им! — жестко ответил Сталин.

— Я хочу только одного, чтоб прекратился произвол. Чтобы эти люди получали то, что им положено, чтобы их не насиловали и не избивали и чтобы прокуратура следила за соблюдением законности, чего она сейчас вообще не делает! — в столь же жесткой манере ответил Киров и столкнулся с ненавидящим взглядом Сталина. — Я не понимаю, Коба, что происходит? Почему ты веришь Вышинскому, который там не был, и не веришь мне?

Сталин не ответил. Он сел за стол и тяжело вздохнул.

— Ради чего мы тогда издаем законы, если не хотим соблюдать их? — снова заговорил Киров. — Ради чего уничтожаем людей, ни в чем не повинных, позволяем издеваться над ними, унижать их?

— Потому что они не люди, они враги, — ответил Сталин. — Враги нашего строя. И пусть все знают,

все видят, как мы жестоко обходимся со своими врагами! Ты увидел и тебе стало их жалко. А ты должен вырвать из своей груди эту жалость, это буржуазное сердобольство. Я знаю, откуда оно, — Коба прошелся по кабинету. — Мирзоян разжалобил тебя! Он с его чувствительной душой армянина напел тебе слезных слов и специально выбрал этот поселок. Но то, что позволено Мирзояну, не позволено тебе. У вождя должно быть каменное сердце и холодный ум. Забудь о своих переселенцах. Их будет еще много. Почему ты не жалел своих беломорцев? А ведь они начинали в более худших условиях, на севере, на голом месте. Выжили самые стойкие. Но они стали трудиться за десятерых. Вот и вся наука. Мне говорили, Маша у тебя болеет?

Киров кивнул.

— Давай отправим ее в Германию, на курорт, там хорошие врачи, пусть съездит с сестрой, — неожиданно предложил Сталин.

— Спасибо, я поговорю с ней...

— После пленума заканчивай дела в Ленинграде и переезжай. Со Ждановым я уже говорил. Когда вы собираетесь чистить Ягоду?

— Я думаю, сразу после моего переезда в Москву.

— Хорошо, я вам дам фамилии следователей, которых надо наказать, — пообещал Коба, не сказав, применяли ли эти следователи недозволенные приемы и за что их надо наказывать. Но сейчас Киров даже не стал этого уточнять, он был слишком взволнован происшедшим разговором. Перед его глазами все еще стояли страшные картины жизни семипалатинских переселенцев, которых он своим бездействием обрекал на вымирание.

— Я все же хотел бы переговорить с Вышинским по этому вопросу, — сказал Киров, и Сталин с холодным удивлением посмотрел на него.

— Там что, твои родственники? — не понял Коба.

— Я обещал этим людям помочь, — проговорил Киров.

— Будем считать, что ты не знал существа вопроса, — отрезал Сталин. — И потом не дело секретаря ЦК заниматься организацией прокурорского надзора в одной отдельной области. Я скажу Вышинскому, он подготовит справку, дающую общую картину, мы даже можем вынести его отчет на одно из заседаний Политбюро, если тебе так хочется, но я не вижу оснований не доверять ему в этом вопросе. Мы должны с вниманием относиться и к работе наших уполномоченных НКВД на местах, какой им смысл наговаривать на этих поселенцев? Давай подождем до пленума, когда окончательно будут уточнены цифры по хлебозаготовкам. И если Восточно-Казахстанская область не справится с плановыми заданиями, тогда мы будем рассматривать и эти нарушения как часть запланированной диверсии, — нашел выход Сталин.

Киров возвращался домой с тяжелым сердцем. Последние слова о «запланированной диверсии» вконец расстроили Сергея Мироновича, словно они говорили с Кобой на разных языках. Он постоянно сбивался на лексику полицейского протокола, упрямо заставляя их всех искать в любых, самых невинных просчетах происки врагов. «Мы скоро дойдем до того, что будем подозревать друг друга», — не выдержав, в сердцах бросил Куйбышев, когда Сталин указал ему, что во вверенном ему Госплане плохо выполняется постановление ЦК о борьбе с вредительством, принятое в конце 1933 года. За целый год по Госплану, которым руководил Валерьян Владимирович, не выявлено ни одного врага. Так не бывает.

— А что касается вопроса, подозревать нам друг друга или нет, то я не вижу в этом большой беды, —

победно усмехнулся Коба. — И среди нас могут оказаться вредители...

Эта фраза прозвучала, как гром среди ясного неба. Даже Молотов с Ворошиловым вздрогнули и заозирались в испуге.

— Я не исключаю и себя из этого списка, — уточнил он. — Мы же вместе принимали это постановление и говорили, как оно необходимо сегодня. И сами же его не выполняем. Что, у нас так все хорошо на каждом участке? Или некоторые из нас думают, что только НКВД должно работать в этом направлении? Мы должны показывать пример НКВД. Если я не прав, пусть меня поправят.

Сталин замолчал, но никто не осмелился возразить ему. Напряженная пауза повисла в воздухе.

— Все правильно, — поддержал Хозяина Молотов. — Я думаю, каждый из нас знает таких вредителей и по своим ведомствам пусть разошлет соответствующие инструкции...

— Опять бюрократия! — усмехнулся Сталин. — Молотову бы все инструкции рассылать! А где живая работа, Вячеслав?

— А он ее еще протоколом не оформил! — бросил Ворошилов, и все засмеялись. Напряжение было снято, и Клим уже озорно поглядывал на Кирова и Кобу, как бы призывая не расходиться, а продолжить дискуссию за другим столом. Но никто на этот призыв не откликнулся.

Орджоникидзе в связи с открывшимся внутренним кровоточением оставался еще в Тифлисе, и Кирову не с кем было поговорить по душам, излить свою тревогу. Отношения же с Кобой оставались натянутыми, но внешне это никак не выразилось. Жданов ходил испуганный, и во всем с ним соглашался, не смея противоречить даже по пустякам. Ворошилов держался в тени, боясь, как бы в один прекрасный день его не поменяли на Тухачевского,

которого великий вождь почему-то стал открыто поддерживать, хотя раньше ненавидел, как заклятого врага. Один Паукер загадочно улыбался и отпустил Кирову странную фразу: «Да, провели вы нас!» Но что он имел в виду, Сергей Миронович даже не спросил, сделав вид, что не расслышал. История с кражей диктографа и отзывом тайного агента наверняка произвела тут немалое волнение, но Киров прикидывался простаком, показывая, что озабочен более серьезными вопросами. Он даже не интересовался, почему Ягода прислал Медведю нового заместителя, Запорожца, хотя это назначение заставило Филиппа Демьяновича реже бывать у Кирова. Он не хотел подчеркивать свои близкие с ним отношения. Но, зная о его скором переезде в Москву, однажды обмолвился, что был бы рад с ним не расставаться. Медведь понимал, что Ягода и Сталин вместе со Ждановым, кого прочили в Ленинград, его на прежней должности не оставят, а перевод последует такой, что отставка покажется благом. Отправят служить начальником облуправления куда-нибудь в Среднюю Азию — такая перспектива Филиппа Демьяновича совсем не радовала, и Медведь готов был стать начальником личной охраны Кирова. Это все-таки Москва, Кремль, разные привилегии. Киров пообещал Филиппу переговорить об этом с Ягодой и Кобой, но каждый раз, приезжая в Москву, никак не мог выбрать подходящий момент, чтобы по-дружески переговорить об этом с Кобой. Дружба никак не склеивалась. Больше того, они не находили согласия по принципиальным вопросам, и Киров не знал, что делать, понимая, сколь опасно конфликтовать с упрямым и сумасшедшим грузином, поэтому до просьбы Медведя разговор не доходил. И тринадцатого ноября он уезжал из Москвы, так и не решив этого вопроса.

Ягода, докладывая Сталину о текущих делах, снова упомянул о просьбе Горького выехать на эти зимние месяцы в Италию подлечиться, в связи с постоянными приступами астмы. Год назад ему уже отказали в визе, Коба тогда был обижен на старика за его нежелание написать о нем портретный очерк. Но за этот год вышло много статей Горького, где он с похвалой отзывался о великом вожде, о том, как «неутомимо и чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина». Статьи как бы означали наброски к будущей книге, так Алексей Максимович и просил Ягоду передать Сталину, обещая, что на Капри засядет за его биографию капитально и к концу года привезет в готовом виде.

Выслушав Ягоду, Сталин долго обдумывал услышанное, не торопясь с ответом. Такая реакция обнадеживала. Когда он был зол и не хотел разговаривать, то обычно отвечал: «А я тут при чем? Я визы не раздаю».

— Я недавно говорил с товарищем Плетневым, он мне сказал, что они в состоянии предоставить Горькому любую квалифицированную помощь, — помолчав, заговорил Сталин. — Мы можем его послать на наш черноморский курорт на всю зиму. Пожалуйста! Но Италия... — Коба тяжело вздохнул. — Вы ручаетесь, что тамошняя контрреволюция за эти полгода не обработает его, не заставит там остаться или уехать

в Америку?.. У меня такой уверенности нет. Если у вас есть — отправляйте!

Ягода хорошо знал, что Горький может и не возвратиться, но его слезно просила помочь Тимоша, и ей он не мог отказать.

— Так есть у вас уверенность или нет? — снова спросил Сталин.

— Полной уверенности нет, товарищ Сталин, — ответил Ягода.

— Его и здесь настраивают против меня, я знаю, а что будет, когда он приедет на Капри? Он уже не тот Горький, каким был когда-то. Они быстро его сломают. А нам, когда мы почти уже построили социализм, это нужно?

— Не нужно, товарищ Сталин! — четко ответил Ягода.

— Хорошо хоть вы это понимаете, — проворчал вождь. — Что у вас еще?

— Мои сотрудники подготовили отчет по письмам, приходящим на ваше имя. Я бы только хотел отметить одно имя из этого отчета, Леонид Николаев. Он пишет в Политбюро: «Для нас, рабочего люда, нет свободного доступа к жизни, к работе, к учебе... Мы въехали в новую квартиру, но за нее дерут так, что нет никакого спасения... О войне предсказывают, как метеорологи о погоде... Пусть будет так, война неизбежна, но она будет разрушительна и спасительна. Не столько же пострадает народ, как в нашу революцию 17 — 30 — 50 млн. чел. — со всеми ее последствиями». И в конце передает вам привет: «Царю индустрии и войны Сталину!» Далее он обвиняет ЦК в нагнетании милитаристской политики, в необоснованных тратах на оборону и что ЦК делает это сознательно, чтобы шумихой о скорой войне отвлечь внимание народа от тех трудностей, которые

существуют в стране и в которых виновато руководство ЦК.

В другой бы момент Сталин, услышав такие обвинения, взорвался, и участь клеветника была бы мгновенно решена, но Николаева спас недавний разговор с наркомом обороны Ворошиловым и его заместителями. Речь шла о дальнейшем развитии военной промышленности, увеличении выпуска новых танков, самолетов, реактивных установок, образцы которых уже разрабатывались. Суммы на это требовались немалые, но Сталина более всего задело выступление Тухачевского на одном из совещаний наркомата обороны, который однозначно высказался, что с Германией СССР воевать будет. Немцы уже начали наращивать свою военную мощь, и если мы опоздаем, то заведомо проиграем в будущей войне. Тухачевский знал это не понаслышке, в последние годы он часто бывал в Германии, посещал немецкие военные заводы, и приведенные им цифры взбудоражили генштаб. Сталин рассвирепел. Во-первых, еще сохранялось Рапалльское соглашение 1922 года «О взаимной технической помощи», пусть во многом формальное, но его никто не расторгал, а потом у Сталина были свои тайные планы — договориться с Гитлером и заключить прочный экономический и военный союз. И подобные заявления Тухачевского сводили их на нет. Коба тогда еле сдержал гнев, приведя русскую поговорку: «Не вызывай волка из колка». Нечего кричать о войне, когда никто не нападает, хотя анализировать военное состояние потенциального противника надо. Сталин не был готов к злой стычке с Тухачевским. Теперь же, слушая выдержку из обзора писем, Коба подумал, что надо ткнуть армейского скрипача носом в это письмо, потому что своими заявлениями он будоражит народ и создает ложное представление о миролюбивой по-

литике партии. Сталину недавно рассказали, что заместитель наркома на досуге мастерит скрипочки и пиликает на них. Эти дворяне всегда старались отличаться от остальных.

Задумавшись о Тухачевском и его антигерманских настроениях, Сталин никак не отреагировал на донос Ягоды, чем его несказанно удивил.

— А чего он хочет, этот Николаев? — спросил вождь.

— Его уволили из Института истории партии, где он работал инструктором, и не восстанавливают.

— И правильно делают! Такие нытики в Институте истории партии не нужны. Квартиру ему дали, он все еще недоволен. Тысячи людей живут в коммуналках и почитают за счастье переехать в новую квартиру! — обозлился Сталин. — А этот требует еще тепленького сытого местечка и привилегий.

— Я зачитал этот отрывок, потому что Леонид Николаев — муж Мильды Драуле, с которой у Сергея Мироновича... — Ягода не договорил, но, загадочно улыбнувшись, дал понять, какого рода у них эти отношения.

— А, это ее муж? — удивился Сталин. — Теперь я понимаю, почему она хочет его бросить. А он знает о их связи?

— Думаю, догадывается.

— Хорошо, оставьте эту справку, я ее просмотрю.

Ягода уже уходил, когда Сталин спросил, какживает на новом месте его журналистка.

— Один раз они уже встречались, но тогда Кирова внезапно вызвали, и он вынужден был уехать. Серьезного разговора не произошло, — доложил Ягода.

— Что значит: внезапно вызвали? — не понял Сталин.

— Позвонили, и он сказал, что его вызывают по

срочному делу, он вынужден уехать, пообещал навес-
тить, — Ягода не видел здесь ничего необычного.

— В тот день что, был взрыв на заводе или какое-
нибудь другое ЧП в Ленинграде? — не понял Ста-
лин. — Как это меня могли, к примеру, куда-то вне-
запно вызвать? Я уехал отдыхать да еще на такое
деликатное свидание и оторвать меня могло бы толь-
ко нечто чрезвычайное. Вот и выходит, что он заре-
нее спланировал этот звонок. А спланировал потому,
что догадался, с какой целью его пригласили.

— Но это невозможно, — удивляясь хитроумной
сталинской логике, пробормотал Ягода.

— Киров опытнейший революционер. Он трижды
попадал в тюрьму, совершил несколько побегов,
много лет работал в подполье, а что такое эта журна-
листка, прошедшая ускоренный курс в твоей постели?! — язвительно заметил Коба и несколько секунд
нервно расхаживал по кабинету. — Пусть она больше
не звонит ему, он с Нового года приступает к работе
в ЦК, и совсем ни к чему, чтобы Киров выговаривал
мне, будто Ягода за ним следит.

— Я ее переправлю в Москву, мы здесь попробу-
ем их соединить, — проговорил Ягода.

— Не надо, — отрезал Сталин. — Пусть работает
там и занимается интеллигенцией. Как журналистке,
ей легко будет собирать сведения о том, что творится
в театрах и среди писателей. Здесь у нас своих кадров
достаточно.

Сталин повернулся к нему спиной, давая понять,
что нарком НКВД ему больше не нужен. В последнее
время их встречи постоянно заканчивались на такой
раздраженной ноте, и Ягodu это тревожило, ибо ни-
чего хорошего это раздражение не сулило.

Киров спал плохо. В купе было жарко, а кроме
того, Паукер, выполняя просьбу Хозяина, передал
ему коробку его любимой «габельбиссен». Киров от-

крыл одну баночку, целиком съел, а потом не знал, куда деваться от жажды. Две бутылки минеральной воды так и не спасли его от мучений. Вследствие этого ему приснилось, как за ним с револьвером бегал маленький кривоногий человечек, стрелял в него, но все время промахивался, и пули жужжали над ухом. Во сне Кирову было очень страшно, его прохватывал ледяной озноб. Он проснулся в холодном поту посреди ночи и долго не мог заснуть. Поезд стоял в Бологом. Сергей Миронович понимал, что виной всему «габельбиссен», но страх не проходил, точно кто-то подавал ему настоящие знаки тревоги.

Утром, выйдя на перрон в окружении охраны и медленно продвигаясь в густой толпе, Киров вдруг выхватил взглядом из встречного потока странное бледное лицо с испуганными выпученными глазами. Человечек корчился в толпе, как червяк, точно хотел вырваться из нее или что-то достать из кармана, но их разнесло в разные стороны, хотя бледное в поту лицо показалось Кирову знакомым. Уже садясь в машину и подняв голову, Киров увидел этого человечка выскочившим из дверей вокзала и сразу же по кривым ногам узнал в незнакомце своего мучителя из кошмарного сна. Сергей Миронович на мгновение оцепенел и несколько секунд они, застыв, смотрели друг на друга. Борисов кашлянул, торопя вождя, Киров нырнул в машину, заинтригованный столь невероятной встречей, выглянул в окно, но кривоногого человечка уже не было. Он исчез.

Уже шагая с Борисовым по коридору, Киров проговорил:

— Я вспомнил, Михаил Васильевич, Николаев действительно присылал на мое имя жалобу, я с ней разбирался, но ничего конкретного мы с Чудовым решить не могли.

— Я знаю, мне в милиции рассказали, — кивнул Борисов.

— А какой он из себя, этот Николаев? — спросил Киров.

— Маленький, кривоногий, лицо бледное, губы трясутся. На червяка похож... — поморщился Борисов.

И странной изморозью вдруг прожгло тело. Киров вошел в приемную, его уже поджидали с улыбками, дружескими приветствиями, сидели просители, он окунулся в привычную суету рабочего дня с уймой нерешенных вопросов, каждый из которых требовал его личного участия, и через полтора часа он, казалось, позабыл и сон, и встречу на вокзале, но время от времени в его сознании точно звенел звонок и вместе с ледяным ознобом врывались осколки сна. Будто кто-то, стоящий над жизнью Кирова, прорезал дымовую завесу хозяйственных споров и на мгновение возвращал его к собственной судьбе, зависящей теперь от кривоногого человечка. Киров сердился, не понимая, как такой дурацкий сон еще смеет занимать его внимание. Он даже принял ландышевых капель, чтоб успокоиться, открыл форточки, проветривая кабинет от папиросного дыма.

За окном пошел тихий снег, и Киров вспомнил о Мильде. Набрал ее номер.

— Только вернулся сегодня из Москвы, — проговорил он, — и звоню тебе... Ты когда могла бы зайти?.. Давай завтра... Договорились. Целую тебя.

Жена с младшей сестрой Рахилью, приехавшей еще в середине сентября, когда он уезжал в Казахстан, по-прежнему жили на даче, и он хотел после работы навестить их: передать продукты, которые привез из Москвы, и обрадовать предложением Кобы относительно поездки в Германию.

На даче было по-домашнему тепло и уютно.

Перед приездом Кирова сестры почти полтора часа гуляли по лесу. Вернувшись, Маша выпила стакан молока с хлебом и задремала. Киров не стал ее будить, а рассказал о возможности поехать на один из немецких курортов свояченице. Она была врачом и знала почти все о болезни своей старшей сестры. Рахиль согласилась, что европейские врачи могли бы значительно ускорить курс лечения, и если Маша будет чувствовать себя, как сейчас, то они с удовольствием съездят. Позволила бы еще и политическая обстановка в самой Германии, газеты пишут об истерии антисемитизма и повальном бегстве евреев.

— Можно поехать в Швейцарию или Австрию, наконец, — предложил Киров. — Надо просто выяснить, где есть хорошие врачи, а остальное я беру на себя.

— Хорошо, когда человек может так сказать, — проговорила с уважением Рахиль, но фраза получилась двусмысленной, и она смутилась.

Младшая сестра напоминала Машу в молодости, и Сергей Миронович не без восхищения смотрел, как вспыхнули пятна румянца на нежной и прозрачной коже щек. Перехватив его пристальный взгляд, она смутилась еще больше.

— Давайте я разбужу Машу. — Рахиль в волнении поднялась. — Или, может быть, вы останетесь здесь до утра?

— Нет, я поеду, — он допил чай. — Завтра совещание, и мне надо еще поработать дома...

Он пожал ее тонкую холодную руку, взглянул ей в глаза, заставив снова смутиться, и уехал. Опасно долго оставаться наедине с молодой свояченицей, усмехнулся он про себя.

Вечером Николаев записал в блокноте: «Сегодня (как и 5. XI) опоздал, не вышло. Уж больно здорово его окружили... Заветные письма для партии и родст-

венникам оставил дома под письменным столом. В столе лежит автобиография.

От слов перейти к действию — дело большое и серьезное».

Сегодня он мог бы выстрелить, хоть его и теснили со всех сторон, но он все же контролировал положение. Николаев имел возможность выгащить револьвер, вытянуть руку и спустить курок. Николаев так и хотел сделать, проиграв в уме и сам выстрел — пуля должна была попасть прямо в лоб, — он представил себе и то, как его будут бить, пинать сапогами озверевшие охранники и толпа. От этого страшного видения даже заломило тело и заболели ребра. Но в последний миг, когда Леонид сунул руку в карман и крепко сжал холодную рукоятку, руку неожиданно свело судорогой, и он не смог ее выгащить из кармана. Вот уж чего не ожидал от себя в решающий момент. Потом выскочил на привокзальную площадь и увидел, как Киров, не отрываясь, смотрит на него, не решаясь сесть в машину. Словно вождь догадался, что Николаев хотел только что сделать.

«Я сознаю, насколько серьезное положение, — помедлив, дописал он в дневнике. — Я знаю, что если я только взмахнусь, то мне дадут по шапке. Ведь 15.X. только за попытку встретится меня увезли в «Дом слез». А сейчас за удар... получу 10, 100 и больше возможно. Удар должен быть нанесен без мал. промаха...»

Леонид закрыл блокнотик и спрятал его в стол.

37

Мильда еще накануне договорилась с матерью, что на следующий день домой после работы не придет, а останется на ночную подработку — в девять вечера ее на прежнем месте должна была ждать машина Сергея — и терять два часа на дорогу ей не хотелось. Она лучше посидит лишний час на работе.

С Николаевым они жили фактически врозь, почти не общаясь друг с другом. Он бегал куда-то по утрам, возвращался, как докладывала мать, возбужденный, запирался в своей комнате, что-то писал за столом, выкрикивая и бормоча бессвязные слова. Теща порывалась выяснить, что с ним происходит, но зять даже не открыл ей дверь. Мильда поначалу радовалась, что Николаев не пристаёт к ней с разговорами об их дальнейшей жизни, но теперь это напряженное тайное молчание мужа ее беспокоило. Точно он задумал совсем безумное, что должно было удивить и резко переменить к нему ее отношение. Она попыталась переговорить с ним, но Леонид молчал, глядя в сторону и не отвечая ни на один ее вопрос.

— Ты не хочешь со мной разговаривать? — рассердившись, спросила Мильда.

— Ты сама все узнаешь, — расцепив зубы, обронил Николаев.

— Что я узнаю?

— Все... — Леня вдруг улыбнулся, и в глазах сверкнули слезы умиления. — А ты похорошела... — улыбка неожиданно слетела с губ, лицо искривилось злой гримаской. — Извини, я должен еще поработать. Не успеваю все сделать днем, — он вытащил из стола бумаги, разложил на столе, стал чинить карандаш. — Я хотел бы остаться один.

Она вышла из его комнаты и услышала, как муж что-то забормотал, но слов разобрать было невозможно, лишь злорадное шипенье и язвительные смешки.

Хорошо хоть в отделе у нее все ладилось. Зина еще летом перевелась в профком и теперь ходила в начальницах, занимая должность заместителя председателя комитета. После ее ухода все словно ожили, вместе стали пить чай, смеялись, шутили, и рабочий день пролетал незаметно. Мильда удивлялась: как она раньше не разглядела это подлое существо, которое всем в отделе портило настроение. Мильда догадалась, что и письмо от «группы товарищей» написала Зина, но это письмо, как ни странно, ей даже помогло, и она на Сапожкову не злилась.

На следующий день профсоюзница заявила сама, застыла на пороге в длиннополой лисьей шубе. Не поздоровавшись, сердито заметила:

— Из вашего отдела, товарищ Драуле, только двое на пятилетний заем подписались! А у нас еще займы на авиацию и постройку дирижаблей имеются. Вы же сами две подписки хамски пропустили! И что мне теперь на профкоме о вас вопрос в личном плане ставить?

— Я подпишусь, Зина, в следующий раз, обещаю!..

— Я тебя покрывать не буду! — угрожающе предупредила Зинаида. — Попроси своего из Смольного, пусть он освободит тебя от займов или денег попро-

си, коли муж до сих пор на твоей шее сидит! Но чтоб завтра на двести рублей ты у меня подписалась!..

И ушла, хлопнув дверью. Мильда чувствовала, что все этим и кончится. «Но какая же сволочь!» — вспыхнула она.

Двести рублей была почти вся ее зарплата, и если она подпишется, то детей и вовсе кормить будет нечем. Мильда и без того понемногу распродала все, что еще имело хоть какую-то цену. Продала, поплакав, даже ту немецкую сумочку, которую подарил ей Сергей. А зима только начиналась. Но не подписываться на правительственный заем Драуле тоже не могла. Она начальница отдела, член партии, и для нее подписка являлась обязательным условием. За отказ ее могли перевести в рядовые сотрудницы, а летом отказать в бесплатной путевке в пионерлагерь для старшего сына. Мало ли как все сложится, может быть, ни в какую Москву она и не поедет. Николаев не даст развода или у Сергея не сразу все получится.

Раздался телефонный звонок. Звонила Аглая, приглашала выпить кофе. Предложение подвернулось весьма кстати: сегодня у Мильды не хватило денег даже на обед, а Аглая, с которой она время от времени встречалась, всегда угощала ее бутербродами. За последние месяцы Ганина немного успокоилась, словно поверила, что безвестные отравители оставили ее семью в покое, появлялась на работе, как в прежние дни, улыбчивой и радостной.

Вот и сейчас, увидев Мильду, Аглая засияла, закрыла дверь на ключ, вытащила бутерброды с печеночным паштетом, который сама готовила с луком и протертыми орехами.

— Ну как, вкусно? — спросила Аглая.

— Очень! — набив рот, радостно закивала Мильда.

— Сейчас кофе сварится, — открывая форточку и закуривая, проговорила Аглая. — Ты знаешь, я, кажется, влетела!

Она смутилась, не в силах сдержать радостной улыбки.

— Будете оставлять? — спросила Мильда.

— Не знаю, пока еще трех месяцев нет. Виталий-то, конечно, за, а я боюсь. Хотя на работе у него все нормально, вчера приказ подписали, мы теперь замдиректора института, зарплата прибавилась, но по-прежнему тревожно на душе. Сергей Миронович, я слышала, в Москву переезжает?..

Мильда кивнула. Аглая налила себе и ей кофе.

— А ты?

Мильда пожала плечами.

— Вы не говорили с ним на эту тему? — удивилась Аглая.

— Говорили. Он хочет, чтобы мы перебрались в Москву, то есть я и мама, даже готов материально помогать, но... Не знаю, не хочу загадывать.

— Как сама захочешь, так все и будет, — уверенно заявила Аглая. — Мы, бабы, должны сами принимать решения, мужики на это не способны! А представляешь, что такое третий ребенок?! Виталий говорит мне: возьмем домработницу. Легко только сказать: лишний человек в доме! А тебе зачем держать на шее этого инждивенца-лоботряса? Сколько он уже не работает?

— Почти восемь месяцев...

— Восемь месяцев! — возмутилась Аглая. — И ты тянешь этот воз! Тебе это нужно?

— Жалко его. Слушай, я хотела посоветоваться... Он странно стал вести себя: сам с собой разговаривает, запирается от матери, куда-то бегает, глаза сумасшедшие, мне страшно и за детей боюсь...

— Ты можешь его привести ко мне?

— Я не знаю... Постараюсь.

— Приведи, я его посмотрю. Это очень серьезно, о чем ты рассказала. Обязательно приведи, под любым предлогом! — Аглая задумалась. — Жаль, что Сергей Миронович уезжает. Я уж было успокоилась... Да еще этот закон об изменниках Родины...

— Какой закон?

— Если ты эмигрируешь, всех членов твоей семьи сошлют в лагерь от 2 до 5 лет, неважно, знали они или нет. Круговая порука. Чтоб не бежали. А у Виталия на работе вредителей ищут. Тут задумаешься, стоит рожать или нет.

Аглая замолчала, и Мильда почувствовала, что она еще мучается прежней тревогой, и вся радость ее лишь напоказ.

— У каждого свой скелет в шкафу, — задумчиво проговорила Аглая.

— Скелет?

— Это у англичан есть такая поговорка. У каждого есть свои тревоги и заботы, и от них не убежишь, даже за границу. Ты ешь, ешь, не стесняйся!

Мильда взяла еще один бутерброд.

— Скоро уже Новый год. Если хочешь, приезжай с детьми к нам, — предложила Аглая. — Дети сами поиграют. А мы повеселимся. Придет один приятель Виталия, профессор, кстати, вдовец, человек обеспеченный. Я тут недавно с ним говорила, он очень хочет познакомиться с какой-нибудь дамой, даже с детьми, у него своих не было. Так что вдруг... — она выразительно посмотрела на Мильду. — У Сергея Мироновича положение тоже непростое, там жена, он на виду. Может быть, и не нужно дальше все продолжать, а он не знает, как это тебе сказать...

— Может быть, — отозвалась Мильда.

— Пойми, ты должна все решить сама. Не плыть по течению, куда вынесет, а сказать себе: будет толь-

ко так! Это лучше для меня и моих детей. И увидишь, все пойдет по-твоему. Мужикам все равно. У них природа другая. Когда речь идет о выживании или борьбе за место под солнцем, тут с ними лучше не тягаться. А в отношениях с женщинами они борются лишь за обладание ею, а потом хоть трава не расти!

Мильда рассмеялась. Ей всегда нравился стремительный напор Аглаи. В Луте молодую укомовку тоже считали энергичной девушкой, а потом Николаев, и в особенности Киров, источили ее жизненную силу.

— Ну что, придешь на Новый год?

— Конечно! — с радостью согласилась Мильда.

— Вот и хорошо! Туда поближе мы еще договоримся. Я за этим тебя и позвала, чтобы ты ни на какие предложения больше не поддавалась. Ты домой?

— Нет.

Аглая посмотрела на нее и все поняла.

— Вот и реши все сегодня. Если переезжать, то когда, куда, как, пусть он и займется этими проблемами. А нет, так нет. Как только поставишь вопрос ребром, сразу почувствуешь, серьезно это или разговоры одни. В Тулу, говорят, со своим самоваром не ездят. У большинства мужиков такая психология. Завтра зайдешь и расскажешь. Договорились?

Мильда кивнула.

Киров встретил ее радостно. Сразу же вручил целую сумку продуктов, извинился, что не смог позвонить и встретиться с ней перед праздниками, сказал, что на дне в конверте лежит двести рублей, это ей на подарок, он не знал, что ей выбрать, так что Мильда сама должна решить, что себе купить. Она не хотела поначалу брать деньги, не понимая, по какому случаю дарится столько подарков. Если в честь сем-

надцатой годовщины Октября, то хватит и продуктов.

— Нет, это не в честь праздника! — загадочно проговорил Киров. — И особый подарок имеет законную силу.

Мильда вспомнила о проклятой подписке на заем и не стала больше возражать, представляя, как она швырнет завтра эти деньги Зинаиде. Конечно, хорошо было бы купить себе платье к Новому году, она уже изрядно пообносилась, но пока не до жиру.

— А сейчас я угощу тебя одним напитком, который ты наверняка не пила! — улыбаясь, проговорил Сергей и налил рюмку густой жидкости яичного цвета из красивой бутылки с иностранной этикеткой. — Попробуй!..

Мильда попробовала и не поняла, что у нее растаяло на языке: это было похоже на сладкий яичный крем только с добавлением водки. Но водка совсем не чувствовалась, лишь язык приятно пощипывало.

— Ну, что это? — улыбаясь, спросил Сергей.

— Не знаю... Сладкий яичный крем и водка...

Мильда пожала плечами.

— Это яичный ликер. Крепость сорок пять градусов, так что осторожнее, — наполняя рюмки, предупредил Киров. — У нас в ЦК есть такой человек, Карл Паукер, он нам эти сюрпризы преподносит. Я хочу выпить за тебя! — Киров торжественно поднял рюмку. — Сегодня пять лет, как мы вместе! Целых пять лет прошло, а мне кажется, мы только вчера познакомились! За тебя!..

Мильда вспомнила, что та их первая ночь действительно случилась в ноябре, только числа она не помнила.

— Извини, я совсем забыла... — смутившись, проговорила Мильда.

— Ничего страшного! — улыбаясь, проговорил

Киров. — Я тоже недавно вспомнил. Перебирал свои бумаги и нашел тот старый доклад, который мы вместе тогда готовили.

Он рассмеялся. А Мильда улыбнулась и слегка порозовела. «Да, мы вместе готовили доклад и больше ничего», — подумала она. Но в этой фразе, промелькнувшей у нее, не было ни досады, ни огорчения. Лишь оттенок грусти в ответ на его выражение: с т а р ы й доклад.

Он вдруг стал рассказывать, что у него разладились отношения с Кобой, и все получается не так, как ему бы хотелось, и она поняла, что вопрос с ее переездом осложняется, хотя он повторил, что постарается что-нибудь придумать, но сказал об этом уже не так уверенно, как говорил раньше.

— Как твой муж, устроился на работу? — неожиданно спросил Киров.

— Нет... — помолчав, ответила Мильда.

— Н-да... — Киров взъерошил волосы. — Он ведет себя в последнее время, как подстрекатель. Ругает вождей, клеветает на партию. Мой начальник НКВД даже предлагал арестовать его и выслать из Ленинграда. Я пока не дал согласия, но если он не образумится, то все может кончиться плачевно... Мне неприятно об этом говорить, но он, видимо, не понимает, что терпение властей небезгранично.

Мильда молчала. Киров подошел к ней, обнял.

— Не сердись... Я и терплю его выходки только ради тебя!

Они еще выпили несколько рюмок яичного ликера, и грусть забылась, стерлась; ночь промелькнула, как падающая звезда, и утром она снова заторопилась, они простились впопыхах, он, как всегда, шепнул, что позвонит, и лишь на мгновение задержал ее руку в своей, взглянув на нее с такой печалью, что

Мильда не выдержала, бросилась к нему и крепко прижалась к его груди. Даже заплакала.

— Ну что ты, глупенькая, — сонно забормотал он. — Мы же не прощаемся. Вот увидишь, мы будем вместе! Я все сделаю, чтоб мы никогда не расстались. Никогда, слышишь?

— Да, — прошептала она, но ничего не могла с собой поделать: слезы катились и катились сами по себе.

— Да что с тобой?! — удивился он. — Что-то случилось?

Он заглянул ей в глаза, вытер слезы. Она улыбнулась.

— Ну что у тебя стряслось, выкладывай! — уже проснувшись, потребовал Сергей.

— Да нет, ничего, — она достала платок, высморкалась. — Сама не понимаю, что на меня нашло. Какое-то странное чувство, будто мы никогда не увидимся...

Она снова не смогла сдержать слез.

— Не надо, а то я тоже заплачу! — шутливо пригрозил он. — А партийный вождь плакать не имеет права. Все наладится! И у нас будет долгая-долгая жизнь. Я стану старым, противным, и ты меня бросишь.

— Я тебя не брошу, — вытирая слезы, сказала она.

— Ну, смотри, ловлю на слове! — он пригрозил ей пальцем. — На этом и закончим наше маленькое собрание! Беги!..

И она ушла. Но в трамвае все вспомнила и снова заплакала, успокоившись уже перед самым домом, сама не понимая, почему вдруг разревелась, точно они прощались в это утро навсегда.

А дальше снова все закрутилось. Киров 24 ноября уехал на пленум. Орджоникидзе в Москве не было, Зинаида Гавриловна сообщила, что он возвращается только тридцатого, но Сергей Миронович его не дождался, а уехал из Москвы вечером 28-го после спектакля «Дни Турбиных» во МХАТе. В Москве остановился в гостинице, поселившись в одном номере с Чудовым. Сталин, как это бывало в прежние приезды, за ним машину не прислал, а он сам не поехал и даже не позвонил ему.

На следующий день Коба с удивлением спросил: чего это он остановился в гостинице, но Киров сказал, что поживет вместе со всеми. Сталин кивнул, заговорил о делах, и вопрос о переезде как бы сам собой отпал. «Вот все и кончилось, — подумал Киров, имея в виду те братские отношения, которые были между ними, когда Сталин, не спрашивая его, присылал машину, немедленно требуя его к себе, и не отпускал до самого отъезда. — Но так даже лучше, я наконец-то свободен и волен делать все, что мне вздумается». Он лишь жалел, что не вернулся Серго, с кем можно было посплетничать и узнать последние новости.

Паукер обходил его стороной, точно зная, что Хозяин свою милость к Кирову переменял, и эта перемена надолго. Сергею Мироновичу казалось, что

и Поскребышев уже разговаривает с ним снисходительно, точно он больше не секретарь ЦК, а заезжий гость на пленуме, зато, увидев Берию, Александр Николаевич заулыбался и напомнил, что товарищ Сталин велел обязательно зайти к нему в перерыве заседания.

Но началась работа, и эти мелочи быстро забылись. Киров блестяще выступил на пленуме, сорвав долгие аплодисменты. Бухарин, встретив его в перерыве, долго тряс ему руку, радуясь, что он перебирается в Москву и заменит эту зануду Жданова, выносить которого никто уже не в состоянии, потому что ничего сам решить не может и по каждому пустяку бежит советоваться с Кобой.

— Даже наш Давид — это была также одна из партийных кличек Сталина — не выдержал и его как-то при мне выматерил. Какой он к черту секретарь ЦК! Я боюсь, он и в Ленинграде все, что ты сделал, развалит. Ты предупреди там своих.

Слышать такое мнение о себе от Бухарина Кирову было приятно. Они оба посетовали, что нет Орджоникидзе.

В один из дней Киров даже хотел зайти к Кобе, переговорить с ним начистоту: раз кошка пробежала между ними, может быть, ему не стоит торопиться с переездом, а еще год поработать в Ленинграде. Но на второй день Сталин, зазвав его к себе в кабинет, сам заговорил о переезде в Москву, извинился, что не пригласил Кирова остановиться у себя, но болеет Светланка, и дома у него госпитальный режим. Сказал, что по этой причине, видимо, придется не устраивать и сабантуя в честь приезда Кирова.

— Но ничего, вернется Серго, я ему трех профессоров в Тифлис отправил, самого Плетнева у Горького украл, мы тогда наверстаем. Не обижаешься на

такого нехлебосольного грузина? — усмехнулся Сталин.

— Ну что ты, Коба, какие могут быть обиды! — дружелюбно ответил Киров.

— Что с женой?

— Она согласна, и я думаю ближе к лету, когда мы сюда переберемся, пусть съездит, проконсультируется...

— Вот и хорошо! — обрадовался Коба и с искренней приятностью посмотрел на друга. — Как думаешь, справится Жданов вместо тебя? Знаешь, ночами не сплю, тревога одолевает. Какой-то он неинициативный. Все ждет, когда ему укажут, подскажут, пинка дадут, что такое?! Вроде в Горьком неплохо работал, а тут скис. Как вареный ходит...

— Ничего, в Ленинграде кадры пока крепкие. Если будет на них опираться, они сами вывезут...

— Будем надеяться. Сколько еще человек думаешь взять?

— Хотел бы, чтоб Медведь стал начальником моей охраны...

— Не старый он для таких дел?

— Старый конь борозды не портит, — усмехнулся Киров.

— Я не возражаю. Может быть, кого-то из секретарей, с кем привык работать?..

Это был удобный момент, чтобы официально без мучений перетащить Мильду в Москву, сделать ее своим секретарем, которого можно было бы брать во все поездки, вызывать для работы в любой день и любое время. Ей бы заранее было выслано приглашение, определена квартира для всей семьи, выплачены подъемные. Да и Коба, как показалось Кирову, был внутренне готов согласиться и с этой просьбой. Но он бы тогда потребовал взамен от него согласия на другие вещи.

— Я думаю, у нас в ЦК люди квалифицированные, — улыбнулся Киров, отказываясь от этого предложения. Он хорошо понял намек Кобы, и мгновение Сергей Миронович колебался, уж слишком велик был искус, но он знал и другое: Коба ничего просто так не делает, и Мильду придется «отрабатывать» своим послушанием, молчанием, согласием во всех грязных делишках: кого сместить, кого посадить, кому порадовать. И потом у Кобы всегда наготове будет компромат на него: вот Киров отстаивает тут великие принципы, а сам из Ленинграда перетащил за государственный счет любовницу со всей семьей и на глазах жены открыто живет с ней. Разве можно верить такому секретарю ЦК? Поэтому Киров и отказался, к большому неудовольствию Сталина. Он наверняка знал, что Киров продолжает встречаться с Мильдой, а значит, она ему нравится, и Коба предлагал ему наилучший вариант: иметь своего, преданного личного секретаря и любовницу в одном лице. Кто от такого отказывался? Но Киров отказался, потому что не хочет быть Кобе ничем обязанным, а значит, собирается с ним воевать. Разве есть другая логика? Лицо Сталина посерело, он вытащил потухшую трубку и стал выкладывать табак.

— Смотри, если надумаешь еще взять кого-то, дай знать, — холодно кивнул Коба. Былой радости и приязни как не бывало.

И все же Киров возвращался домой успокоенный. Он вдруг почувствовал, что с Кобой можно бороться и даже побеждать. Когда он видит твердую позицию, поначалу сопротивляется, а потом дает задний ход. И узнав, что Киров встречался с Ганиными, поняв, что Киров не хочет во всем быть согласным со Сталиным, во всем подчиняться ему, он обиделся и даже поставил их отношения на грань разрыва. Но первый же опомнился и пошел на попятную. Теперь глав-

ное — не давать Кобе никаких компроматов на себя самого, только тогда можно будет противостоять ему. Мильда дорога Кирову, но дело дороже и тут ничего не поделаешь. Жестокий выбор. Окрыленный своей маленькой победой, Сергей Миронович даже на день раньше отправил в Ленинград Чудова, чтобы тот 28 ноября собрал секретариат и утвердил на 1 декабря собрание городского партактива по итогам ноябрьского Пленума ЦК. Они обговорили и время — 18.00 во дворце Урицкого, бывшем Таврическом.

Киров вернулся в Ленинград утром 29-го, заехал в обком, обзвонил всех секретарей райкомов, провел объединенный секретариат обкома и горкома партии и предложил назначить на 2 декабря совместный пленум по вопросу предстоящей отмены карточной системы на хлеб. Добрался он домой уже поздно вечером, договорившись с Чудовым, что 30 ноября и первую половину 1 декабря он останется дома и будет работать над докладом. Жена с Рахилью оставались на даче в Толмачеве, он позвонил им вечером 29-го, сказав, что вопрос о их поездке решен, и Сталин дал уже соответствующую команду наркомздраву. Рахиль приглашала его приехать, но он сообщил, что сможет к ним выбраться лишь вечером 2 декабря, когда проведет пленум обкома.

Ложась спать, он вспомнил, что не позвонил Мильде. Раньше, когда возвращался, всегда звонил. Но все равно теперь до третьего с ней не увидится. Она славная, и поймет, что он был замотан с делами пленума. Поймет и почему не сможет ее вызвать в Москву. Она у него умница, настоящая партийка. Выбора нет: либо он должен подчиниться сталинскому диктату и вместе с ним громить его врагов, запятив себя еще большей кровью, либо... Но каков этот второй путь? Открытого бунта, который Коба никак не потерпит, или мелких уступок, ложной независи-

мости. И сколько так может продлиться? Год, два? Ему надо посоветоваться с Серго, с Куйбышевым. Есть еще Бухарин, Крупская, есть старые большевики-ленинцы, и если они выступят единым фронтом, то...

У Кирова тревожно замерло сердце. Он знал, чем может закончиться такой петушиный наскок. И не лучше ли перевести Мильду в Москву и разом покончить с этими наполеоновскими планами. Не такие герои ломали себе шею, пытаясь воевать с Кобой. А может быть, прав Троцкий, сказав о нем: «невзрачный серый тип, китайский болванчик, куда качнешь, туда и падает»? Сталин как-то, стремясь разжечь в нем ненависть против «иудушки» и объединившихся с ним Зиновьева и Каменева, пересказал Кирову эти слова. Китайский болванчик! Хуже насмешки и придумать нельзя.

Киров вылез из кровати, прошел на кухню, достал из холодильника бутылку водки.

— Думай, Сергей Миронович, думай! — зло проговорил он и залпом осушил полстакана.

Последние две недели после неудавшегося покушения 14 ноября Николаев жил в каком-то странном расслаблении. И не только душевном. Три покушения вымотали его и физически. Поэтому вторую неделю он почти не вставал с постели. Изредка садился к столу, занося в дневник бессвязные фразы.

«Я редко когда ошибался... Остались считанные дни, недалек последний час... Мне предлагали большие суммы денег за мои документы, но я ни на что не пошел. Последние свои письма-завещания я бы мог перевести на 3-х языках, но и от этого отказался».

Последние фразы писались больше для потомков,

потому что никто никаких денег ему не предлагал. Он лишь наивно представлял себе, что капиталисты могли бы за такие крамольные фразы заплатить ему, если б он им предложил. Но капиталистов в Ленинграде не было, они все жили там, за заливом, за морем.

21 ноября он отправил Кирову еще одно письмо.

«Т. К-в!... Меня опорочили и мне трудно найти где-либо защиты. Даже после письма на имя Сталина мне никто не оказал помощи, не направил на работу... Однако я не один, у меня семья. Я прошу обратить Вас внимание на дела института и помочь мне, ибо никто не хочет понять того, как тяжело переживаю я этот момент. Я на все буду готов, если никто не отзовется, ибо у меня нет больше сил. Я не враг...»

21-го, отправив письмо Кирову, он увидел машину Чудова и машинально стал следить за ним, хотя револьвера у него с собой не было, и Чудов его уже не интересовал. Он прождал его три часа на сквозном ветру, на Литейном у здания НКВД и, не дождав-шись, окоченев от холода, отправился домой.

После этого он слег и не вставал несколько дней. Его трясло, знобило, но температуры не было, он схватил нервную горячку. Мильда, обеспокоившись его болезнью, купила куриных лапок и сварила бульон, которым отпаивала несчастного. Николаев пил бульон, плакал и целовал ей руки.

Едва ему стало полегче и он начал вставать с постели, Мильда уговорила его показаться знакомому врачу, привезла к себе в управление, провела в кабинет Ганиной. Аглая Федоровна измерила пульс, заставила показать язык, долго водила молоточком в разные стороны перед глазами, а потом стукнула по коленке так, что Николаев даже подпрыгнул. Она усадила его снова за стол рядом с собой, стала расспрашивать о его страхах, навязчивых идеях, ласково

улыбаясь и велел говорить все без утайки, а взамен пообещала за неделю поставить на ноги. Она была такая красивая и так восхищенно смотрела на него, говоря, что много хорошего слышала о нем от Мильды, о его замечательном таланте, что Леонид, поверив ей, стал рассказывать обо всем. Признался и в желании убить одного человека, но имя Кирова не назвал.

— Это пока тайна, — загорелся он. — Но если это произойдет, обо мне будут говорить все, во всем Союзе, а может быть, и в мире. Я никому об этом еще не говорил, вам первой...

— А нельзя это пока отложить? — спросила Аглая Федоровна.

— Уже нельзя, — вздохнул он. — Еще месяца два назад я мог бы отказаться от своего плана, но теперь столько ушло сил, что меня не поймут...

— Кто? — не поняла Ганина.

— Все, — кротко улыбнувшись, ответил Николаев. — Дети мои не поймут, партия. Я же писал, многим писал, и многие знают об этом, ждут...

— А кто ждет? — спросила Аглая.

— Таких много. Много обездоленных на этом свете. Кто-то же им должен помочь...

Ганина хотела сразу же вызвать машину психиатрической помощи, чтобы госпитализировать Николаева, но в последний миг воздержалась. Во-первых, ей надо проконсультроваться с мужем и, может быть, мужа Мильды удастся положить в институт: там и врачи, и медицинские препараты гораздо эффективнее, а кроме того, надо как-то мягко предупредить Мильду и посоветоваться с ней.

— Что ж, мы с вами еще встретимся, если вы не возражаете? — спросила Ганина.

— Давайте, — согласился Николаев.

— Вы домой доберетесь?

— Конечно!..

Николаев ушел, а через полчаса к Аглае забежала Мильда узнать результаты осмотра. Аглая, поразмыслив, решила не говорить пока о своих выводах, хотя у Николаева были явные признаки паранойи, и болезнь перешла уже в ту фазу, когда больной требует срочной насильственной госпитализации. Ганина решила, что договорится с мужем, Леонида отвезут в институт, и окончательный диагноз пусть вынесут корифеи отечественной психиатрии. Она так и сказала Мильде, что хочет показать ее мужа в Психоневрологическом институте, психика Леонида Васильевича сильно расшатана, и он безусловно нуждается в стационарном лечении.

Они выпили по чашке кофе. Мильда с грустью заметила Аглае:

— Раньше, когда Сергей возвращался в Ленинград, то всегда звонил, уже три дня прошло, как он из Москвы с пленума вернулся, ни слуху ни духу.

— Вот и не думай о нем больше! — решительно сказала Аглая.

1 декабря утром Николаев неожиданно вспомнил: пришла повестка из райкома, куда его приглашали зайти. Он подумал, что пришел ответ из ЦК, от Сталина, или Киров ответил на его последнее письмо, и побежал в РК, надеясь на доброе известие. Но в райкоме его отругали за неуплату членских взносов и пригрозили, что, если задолженность не будет погашена в течение трех дней, его вычистят из партии. В райкоме же он узнал, что сегодня в 6 вечера собрание партактива во дворце Урицкого, где будет выступать Киров. Николаев решил туда пойти. Если Киров откажется с ним разговаривать, он убьет его. Оставалось только раздобыть гостевой билет, и Николаев побежал в Смольный. Обычно бывшим работникам обкома их выдавали без особых трудностей. А Леонид Васильевич в обкоме работал. В Смольный он прошел без труда, предъявив партбилет и сказав, что для него оставили пропуск на собрание партактива.

Киров в эти дневные часы работал еще дома, заканчивая доклад. К двум часам дня была дописана последняя страница. Для концовки Сергей Миронович выписал на отдельном листке молитву Геббельса, смысл которой ему понравился: «Господи, мы сами по мере сил будем стараться не погибнуть. Но тебя

мы просим лишь об одном: если ты нам не хочешь помочь, то не помогай и нашим врагам». Киров любил эффектные концовки, именно они вызывали бурные рукоплескания, а он уже привык к тому, что каждое его выступление заканчивалось овацией. «Пусть Коба ревнует к этой популярности, — подумал он. — Чем ее больше, тем труднее будет ему убраться отсюда». Киров конечно же не будет упоминать имя Геббельса, а сошлется на древнюю мудрость. И сама цитата в основной текст доклада не вписана, стенографистов не будет, поэтому позже все запомнят лишь то, какая яркая была концовка.

Около четырех вечера Сергей Миронович позвонил в гараж, который находился в его же доме, и заказал машину. Шоферу он сказал, что немного прогуляется пешком, чтобы проветриться, пусть он его догоняет. Квартала два он прошел пешком по морозцу. У моста Равенства машина его догнала.

— Поедем во дворец Урицкого? — спросил шофер.

Киров посмотрел на часы. Стрелки показывали 16.10. Он задумался.

— Рано еще, давай заедем в Смольный.

В обком он приезжать не собирался и Чудову еще утром сказал, что прибудет прямо на партактив в половине шестого. Но во дворце Урицкого пока никого нет, а Чудов в 16.00 собирает у себя совещание по поводу завтрашнего пленума, и к этому времени должен быть готов уже проект решения. Киров успеет посмотреть его до начала партактива и внести поправки.

Николаев уже два часа обивал пороги обкомовских кабинетов, выпрашивая гостевой билет во дворец Урицкого, но все, с кем он был знаком когда-то,

отказывали, ссылаясь на строгости общего отдела: гостевые теперь выдавались только по утвержденным спискам, так что ему самому надо сходить либо туда, либо в секретариат. Но в общем отделе бывшему обкомовцу отказали. Гостевые выдают с разрешения заведующего, а он уже в Таврическом. Леонид Васильевич выглядел странно: бледный, с безумными глазами, капельками пота на лбу и дрожащими руками. На партийных чиновников он произвел впечатление больного, и все единодушно предложили ему пойти домой, отлежаться. Подробный отчет с партактива можно будет прочитать в «Ленинградской правде», какой смысл в таком состоянии мучиться в переполненном душном зале.

К четырем часам Николаев побывал у всех, на кого мог рассчитывать в получении билета. В длинном коридоре третьего этажа Смольного было пусто. У Чудова началось совещание. Электромонтер заменял перегоревшие лампочки.

Киров подъехал к Смольному в 16. 20. Он вышел в сопровождении охранника Борисова и вошел в обком не через секретарский, а через главный вход.

Николаев зашел в туалет. У него немного кружилась голова, хождения по кабинетам и унижительные упрасивания его взвинтили настолько, что он был близок к обмороку. Леонид Васильевич умылся холодной водой, и сознание немного прояснилось. Он не знал, что ему делать. То ли потолкаться еще с полчаса в обкоме и все же попробовать достать гостевой билет, то ли плюнуть на все и ехать домой. Можно было позвонить Мильде и попросить ее помочь ему с билетом, ей бы не отказали, но он не

хотел даже по такой пустяковой просьбе обращаться к жене. Прошло уже восемь месяцев, как его не принимают на работу, и никому нет до него дела. А Мильда по-прежнему встречается с Кировым: он видел ту сумку с продуктами, которую она принесла после их последней встречи. Там были баночки икры, лосося, крабов, шпрот, сыр, ветчина и две палки копченой колбасы. Колбаса пахла так, что у него закружилась голова. Такое в госмагазинах не продают, в коммерческом же придется выложить не одну зарплату. Лишних денег у Мильды нет, а за одну ночную смену машинистке такое богатство не выдают. Он слышал, как его перепуганная теща допытывалась, где дочь все это взяла, а Мильда сказала: «Премия за год». Но год еще не кончился, и столь щедрые премии выдают лишь секретарям обкома, а не рядовым работникам упрямца. Николаев знает, он работал в обкоме.

Значит, он дошел уже до последней черты, коли стал открыто дарить свои спецпайки любовнице, а куда ей бедной деваться, когда надо кормить детей, мать и мужа. Но муж больше не может сидеть на ее шее. Он должен со всем этим разом покончить и уйти из жизни. Другого выхода нет. Но прежде, чем выстрелить в себя, он убьет его.

Он нащупал в кармане револьвер. На несколько выстрелов у него сил хватит. А значит, надо во что бы то ни стало достать пропуск в Таврический. Сегодня или никогда.

Поднимаясь на третий этаж, Киров встретил на лестнице спускавшего вниз, в столовую, секретаря Хибиногорского горкома партии Семячкина. Молодому городу химиков исполнялось пять лет, и Сергей Миронович, поздоровавшись с Семячкиным, попро-

сил его зайти завтра утром, чтобы вместе проработать программу праздника. Охранник Борисов, сопровождавший секретаря обкома, услышал их голоса и остановился. У него еще с утра разболелись ноги, и он никак не поспевал за своим вождем. Остановившись, Михаил Васильевич стал разминать икры ног, они были как каменные. Мельком взглянул на часы: 16. 29.

Николаев вышел из туалета и остановился в коридоре у стены, раздумывая, где ему достать пропуск. Надо ждать до последнего. До половины шестого. Тогда часть пропусков остается: кто-то заболел или не сумел вырваться с работы, а в общем отделе заинтересованы, чтобы зал был полон. За пустые места их поругивают: не сумели всех организовать на партактив, а Николаев, бывший работник обкома, заполнит одно из этих мест, поможет создать видимость массовости. Надо именно так и подкатиться. Хитро, полисьи. Тогда дадут. И в перерыве пройти за кулисы, сказать, что хотел бы записаться в прения от Хибинской, к примеру, партийной организации. Все ходят записываться в прения. Потому что во время доклада подойти близко к трибуне и выстрелить ему вряд ли дадут, а издали он может промахнуться. И это будет самое ужасное.

Он снова вспомнил о Мильде. Ведь на управление тяжмаша тоже дают гостевые, и Мильда как инспектор отдела кадров имеет право взять один билет. Он зашел в отдел и позвонил ей. Она оказалась на месте. Как можно более спокойным голосом он попросил ее помочь достать ему пропуск в Таврический на партактив. Сказал, что отстал в политтрамоте и хотел бы узнать из первых рук, что делается в городе.

— Как ты себя чувствуешь? — спросила Мильда.

— Нормально, — ответил Николаев.

Она сказала, что попробует ему помочь и попросила перезвонить минут через двадцать, пока поднимется в партком и узнает, остались ли гостевые. Николаев сказал, что перезвонит. Он вышел из отдела, остановился у стены. Покачиваясь, он смотрел в пол, выжидая время. Послышались гулкие печатающие шаги. Леонид поднял голову и увидел Кирова, идущего по коридору третьего этажа прямо на него. Это появление вождя в коротком, сшитом на армейский лад пальто и в такой же фуражке с широкой тульей и длинным козырьком, одного, без охраны настолько ошеломило Николаева, что он, испугавшись, повернулся лицом к стене, ожидая страшного и немедленного разоблачения. Но Киров прошел мимо и даже не обратил на него внимания.

Николаев развернулся и двинулся за вождем, следуя за ним по длинному коридору на расстоянии трех метров.

Киров заметил странного, низенького, кривоногого человечка, и его бледное лицо с перепуганным, безумным взглядом показалось ему знакомым. Человек неожиданно повернулся к нему спиной, точно не хотел, чтобы его узнали. Киров прошел мимо, пытаясь вспомнить, где же он видел эту уродливую с длинными руками фигуру и бледную нервическую физиономию? Память почему-то выгащила Кобу, Паукера, но уродец был с ними не связан, Киров это чувствовал. Искать надо было совсем в другом месте, и все же испуганный незнакомец совсем недавно попадался ему на глаза, был связан с ним. Но как, когда?..

Николаев оглянулся. Никто за ним сзади не шел, и одно это было уже чудом. Они шли вдвоем по пустому коридору, шаги гулко печатались в тишине,

в кармане преследователя лежал наган, и никто не мог помешать униженному безработному и оскорбленному мужу отомстить за все муки и страдания, что он испытал за долгие восемь месяцев. Широкая спина вождя чуть покачивалась на коротких кавалерийских ножках. Нет, он будет стрелять в затылок, бить наверняка, чтобы ненавистный ему Киров никогда бы не смог прикоснуться к Мильде, бедной Минце! Дети вырастут, поймут и оправдают несчастного отца. Сам Бог услышал и помог ему!

Имя Мильды пронеслось в памяти Кирова, и он вдруг вспомнил, где видел этого кривоногого человечка: в том страшном сне, в поезде, а потом на перроне вокзала, когда уродец извивался, как червяк, в толпе и буравил его ненавидящим взглядом на привокзальной площади. Это он внес в его душу страх и сумятицу, а теперь явился и сюда. Киров тотчас вспомнил и описание Николаева Борисовым, и все совместилось: муж Мильды шел за ним по пятам.

Но чего он хочет от него? Накануне Чудов сообщил ему, что Николаев прислал еще одно довольно странное письмо, и они условились обсудить этот вопрос после партактива и пленума. Но его безумное лицо... И вдруг острый холодок пробежал по спине: он пришел, чтобы расправиться с ним. Эта мысль так ясно и жутко отпечаталась в сознании, что Киров невольно замедлил ход, боясь вспугнуть безумца и спровоцировать его на отчаянный выстрел. Он слышал крадущиеся шаги за спиной, чувствовал запах терпкого пота. Сергей Миронович уже подходил к дверям кабинета Чудова, в нескольких метрах была дверь, где он мог укрыться и вызвать охрану. Киров намеренно не стал оборачиваться, надеясь, что пре-

следователь не станет наносить удар в спину, до двери осталось три метра, когда раздался резкий сухой щелчок, и пуля ударила Кирова в голову, он полетел вперед, свет на мгновение померк, наступила полная темнота, но еще через секунду впереди словно чиркнули спичкой, вспыхнул светлячок, начал медленно разгораться, а еще через мгновение яркий, ослепительный свет заполнил все пространство, и уже бывший секретарь ЦК перестал ощущать вес своего тела.

Из трех выстрелов Киров был убит самым первым. Пуля попала в затылок, и смерть наступила мгновенно.

Увидев, как Киров упал, Николаев дрожащей рукой поднес револьвер к виску, но электромонтер, случившийся рядом, в ярости запустил в убийцу отверткой. Она попала в лицо Николаеву, когда он готовился спустить курок. Выстрел прозвучал, пуля даже не оцарапала щеку. Николаев же, мысленно успев попрощаться с жизнью, без сознания рухнул на пол.

40

Сталин выковыривал из трубки густую черную смолу, похожую на застывшие капли налипшей крови, и раздумывал о том самом покушении 30 августа 1918 года на заводе Михельсона, о котором до сих пор ходило столько противоречивых слухов. Свердлов никогда не был при Ленине «серым болванчиком», каким казался Троцкому Киров при Сталине. Коба знал Якова Михайловича еще с Курейки. Они недели две прожили вместе, а потом разошлись, потому что Свердлов сразу же стал диктовать свои условия, не скрывая презрения к Кобе, простому боевику, который и в ссылке обязан заниматься тем же: ходить на охоту, бить птицу и варить обед нижегородскому мыслителю. Сталин предложил дежурить на кухне по очереди, но Свердлов отказался. «Не царское это дело!» — с иронией бросил он, дав понять, что даже в Грузии старшего брата почитают за хозяина. Коба чуть не пристрелил его из ружья. Но сдержал гнев и переехал жить в другое село. Троцкий как-то сказал Кобе в двадцать третьем, когда началась грызня из-за того, кто заменит Ленина: «Жаль, нет Якова Михайловича! Он бы показал Зиновьеву, кто в Кремле хозяин!» После переезда в Москву в марте восемнадцатого Свердлов и стал хозяином Кремля, подчинив себе все службы. К нему бегал Дзержинский, и только потом шел к Ильичу, докла-

дывая то, что разрешил Яков Михайлович, ибо незачем по пустякам отвлекать Ленина, считал он.

Коба хорошо запомнил фразу Свердлова, брошенную при нем Бонч-Бруевичу, управлявшему хозяйством Кремля: «Ну что вы заладили: «Ильич, Ильич, что он скажет! Надо думать, что я скажу! А понадобится, мы и без Ильича управимся!» Наглый, резкий, самодовольный. И умный. Он все время был как бы в тени, но именно он решал все. Зайдет к Ильичу, они пошутукаются, выходит:

— Чего стоишь? Я тебе что сказал?

— Но Владимир Ильич...

— Иди и делай, что я тебе приказал! Все!

После тех выстрелов на заводе Михельсона все и перевернулось. Но какой талантливый был расчетец! Три выстрела, и вся власть перешла к нему, за пару месяцев он так закрутил гайки, что красная диктатура победила полностью. И бороться стало не с кем и бить некого. Среди своих, конечно. Тогда и принялись за чужих.

Вот чего не хватает Кобе. Трех выстрелов. Но в себя стрелять глупо. Лучше в ближнего. Ворошилов, Молотов? Но кто из-за них будет плакать? А потом они не секретари ЦК. Кагановича знают только в Москве. Жданова вообще никто не знает. Киров — лучшая фигура. Тем более что он сам хочет быть теперь честным и неподкупным. Такой и должна быть трагическая утрата партии, за которую он рассчитывается со всеми по полному счету. Надо только, чтоб Кирыч немного поработал в ЦК и прибавил популярности в народе. Побольше портретов повсюду, чтоб он чаще выступал, мелькал в хронике, чтоб он стал наравне с Кобой. Друг, брат, вождь, преемник. Года хватит, чтоб он набрал вес. И уж тогда...

Коба вздохнул, взглянул на часы. Стрелки показывали 17.01.

Зазвонил телефон. Поскребышев поднял трубку. Коба насыпал в трубку табаку. Отхлебнул холодного сладкого чая с лимоном. Он любил холодный сладкий чай с лимоном.

В кабинет вбежал Поскребышев. Лицо у него было бледное, он не мог выговорить ни слова.

— Что?! — рассердился Сталин. Он раздражался, когда его дергали по пустякам.

— Телефон... Из Ленинграда...

Коба снял трубку и несколько секунд слушал, оцепенев.

— Я все слышу... — прошептал он и положил трубку на стол.

— Иосиф Виссарионович, мы ждем ваших указаний, — кричал из телефонной трубки Чудов. — Иосиф Виссарионович, вы слышите меня?.. Надо решить, где будем хоронить Сергея Мироновича, и много других вопросов...

Сталин махнул рукой, и Поскребышев исчез из кабинета.

— Алле, Иосиф Виссарионович! Але!.. Связь пропала!..

Послышался щелчок, возник женский голос телефонистки:

— Але, Кремль, вы слышите меня?..

— Мы вас слышим, — отозвался мужской голос.

— А почему не отвечаете? — сердито прокричал женский голос. — Смольный просит связи, обком партии!..

— Сейчас, одну минуту, мы проверим! — проговорил мужской голос. — Держите связь!..

Сталин дрожащей рукой положил трубку на рычаг. Его словно ледяным облаком накрыло, и он не мог подняться со стула. В приемной зазвенел внутренний телефон, Поскребышев снял трубку.

— Да-да, связь есть, одну минуту, я уточню!..

Поскребышев вошел в кабинет Сталина.

— Убирайся! — прошипел Коба.

Поскребышев исчез.

— Товарищ Сталин вышел, скажите, что мы перезвоним попозже. Пусть Чудов никуда не уходит и ждет звонка, — распорядился Александр Николаевич.

И наступила тишина. Коба расстегнул верхние пуговицы френча. После холодного оцепенения его бросило в жар, подскочило давление, но пот на лбу не выступал. Он потянулся к подстаканнику, чтобы глотнуть холодного чая, но здоровая рука не слушалась, и он смог лишь приподнять ее. Прошло еще несколько минут, прежде чем Коба смог подтащить к себе блюдце с подстаканником. Наклонился и влил в себя глоток чая. Струйка сбежала по мышинному сукну френча. Проглотив чай, Коба тяжело задышал. Выступил пот на лбу. Вождь стал приходить в себя, вызвал Поскребышева, приказал немедленно собрать у него в кабинете всех членов Политбюро и заказать к 23-м часам литерный поезд на Ленинград, оповестив об этом Чудова.

— Кто будет руководителем делегации? — записывая в блокнот указания, спросил Поскребышев, зная, что сам Хозяин никуда не ездит.

— Я, — ответил Сталин.

Мильда вернулась домой около семи вечера. Аглая снова говорила с ней о Новом годе, и разговор опять зашел о вдовце-профессоре, она успела с ним посеCRETничать о Мильде, и он очень ею заинтересовался, доверительно шепнув, что ему всегда нравились латышки.

Мильда отнекивалась, как могла, но Аглая со своим напором все же уговорила ее познакомиться с ним. Причем она хотела сделать это не откладывая.

— Завтра мы соберемся, без детей, спокойно, ты

познакомишься, тебе самой надо на него посмотреть, но я тебя уверяю: он прекрасный человек! А когда я сказала, что тебе всего тридцать три года, что ты сможешь ему родить еще и ребенка, он уже загорелся, как дитя, и влюблен заочно!

— Но Аля...

— Мильда! — перебила ее Аглая. — Все! Хватит! Тебе нужен муж, а не любовник! Муж! Он тебя на руках носить будет, дура ты латышская! Детям образование нужно, он их в университет устроит! Кстати, у него машина, я совсем забыла! В отпуск отправитесь путешествовать на юг, он каждый год туда ездит, мы поедem, возьмем детей, это жизнь, понимаешь, нормальная человеческая жизнь, какой ты за свои тридцать три года никогда не видела! О детях подумай!.. Ну?!

Мильда кивнула. Слезы выступили у нее на глазах. Аглая обняла ее и тоже заплакала.

— Я сегодня всю ночь из-за тебя не спала! Все думала, думала, мужа разбудила, а он говорит: «Дуры вы бабы! Один на ее шее восемь месяцев сидит, она его кормит, другой свою нужду раз в два месяца справляет, весь город об этом говорит. У нее что, женской гордости нет? Куда она попрется, в какую Москву с целым табором? Кто ее там ждет? Она что, сумасшедшая?..» Он прав, Миля, сто раз прав, и другого решения быть не может.

Поплакав, они выпили кофе с шоколадными конфетами, и целую горсть Аглая сунула Мильде в карман для детей.

— Совсем забыла! — уже остановив ее на пороге, крикнула Аглая. — Завтра к двенадцати привози мужа в институт, Виталий договорился. Я буду тебя встречать у центрального входа. Все будет хорошо! До завтра!

— До завтра.

С этим она и вернулась домой, не зная, как рассказать обо всем матери. Но вернувшись, решила пока ничего не говорить. Надо познакомиться, увидеть, что за человек.

— Николаев твой как убежал с утра, так до сих пор и не приходил, — сердито сообщила мать.

Они заканчивали ужин, когда раздался звонок. Мать пошла открывать и вернулась с двумя мужчинами в кожаных куртках. Еще двое прошли в комнату Леонида, стали ее осматривать

— Вы Мильда Петровна Драуле, жена Николаева Леонида Васильевича? — спросил один из них.

— Да, а что случилось? — удивилась она.

— Наши товарищи проведут у вас обыск, а вы поедете с нами...

— Что-то с Леонидом случилось?

Один из них, усмехнувшись, утвердительно качнул головой.

— Ничего особенного, — зло проговорил другой.

— Но я только что пришла с работы...

— Вы обязаны поехать с нами, Мильда Петровна!

— Хорошо, я поеду, но...

— Вам все там разъяснят. Где комната вашего мужа?

— Там...

— Приступайте к обыску!

Двое энкеведешников приступили к обыску. Мильда быстренько собралась, обернулась к матери. У той слезы навернулись на глаза. Она бросилась к дочери, обняла ее.

— Мама, ну что ты, — удивилась Мильда, отстраняя ее. — Я ненадолго, это какое-то недоразумение...

Они вместе вышли, сели в машину. Заехали во двор НКВД, Мильду провели внутрь здания, заставили спуститься в подвал, завели в камеру.

— Я не понимаю, что происходит? — растерянно проговорила она. — Меня арестовали?

— Вас вызовут и все объяснят, — сказал один из сопровождавших ее энкеведешников, и дверь камеры захлопнулась.

Мильда не знала, что в соседних камерах уже сидит мать Николаева, его сестры с мужьями, а еще через несколько часов привезут и ее сестру Ольгу вместе с мужем Романом Кулишером. Она, возмущаясь этим наглым арестом и расхаживая по камере, уже обдумывала, как связаться с Кировым, чтобы он не только вызволил ее из жуткого каземата, но и наказал обидчиков. Она не знала, что просить о помощи больше некого.

Сталин прибыл в Ленинград утром 2 декабря вместе с Ворошиловым, Молотовым, Ждановым и Ягодой, группой следователей НКВД и многочисленной охраной. Паукер ходил за Кобой, как приклеенный. Сталин боялся, что будут стрелять и в него. До сих пор после того памятного красного террора 1918 года никто не осмеливался поднять руку на вождей. Лишь Рютин, да и то письменно, попытался высказать это намерение, и выстрел Николаева прозвучал как гром среди ясного неба. А ведь выстрелить могли и в Сталина. Именно эта мысль и нагнала страха на Кобу.

Когда он вошел в Смольный и увидел людей, идущих по коридору, он остановился и взглянул на Ягodu. Тот быстро понял, что от него требуется, выхватил револьвер и, выскочив вперед, закричал: «Всем стоять! Лицом к стене! Руки по швам!» Лишь после этого Сталин двинулся вперед и нетвердым шагом добрался до кировского кабинета.

В тот же день он встретился с Николаевым. Пос-

ледный, увидев Сталина, впал в истерику. Плакал, извинялся, бормотал: «Я отомстил!», «Извините!», «Что я наделал!» Коба посоветовал ему во всем признаться и пообещал даже сохранить жизнь, если он выдаст соучастников. Николаев вскричал, что он действовал один, плакал и мычал что-то нечленораздельное. Его увели. Коба назначил руководителем следствия Якова Агранова и приказал Ежову курировать от ЦК ход расследования.

— Кто этот негодяй, кто посмел в него выстрелить?! — плача на груди Кобы, повторяя Мария Львовна.

— Мы найдем их, — твердо сказал безутешной вдове Сталин.

Дав возможность ленинградцам проститься с вождем, он увез тело друга в Москву и устроил там пышные похороны у кремлевской стены. Идя в первом ряду за гробовым лафетом по Красной площади, Коба вдруг подумал, что сама судьба указала ему этот небесный знак, и наказание за эту смерть должны понести его личные враги. Это тот самый случай, когда единым махом он должен расправиться со всеми — Зиновьевым, Каменевым, Бухариным и всей сворой старых ленинцев, в глубине души еще надеющихся на отстранение его от власти. Опуская гроб в могилу, Коба невольно прослезился, подумав, что в смерти Киров остался ему другом, заплатив своей жизнью за окончательное упрочение сталинской власти, сталинского социализма.

На следующий день Коба вызвал к себе Ежова и сказал: «Ищите убийц среди зиновьевцев». Тусклые глазки Ежова вдруг вспыхнули, он вытянулся по стойке «смирно», а через секунду, приблизившись к Сталину, прошептал:

— Я так и направляю ход следствия, Иосиф Виссарионович, и с Аграновым мы нашли общий язык,

он кое-кого арестовал и допрашивает из бывших окруженцев господина Апфельбаума, но вот Ягода дает в Ленинград совсем другие указания...

— Какие же? — нахмурился Сталин.

— Советует искать сообщников среди белогвардейцев, что только уведет следствие, — Ежов сделал многозначительное лицо и важно покачал головой в знак подтверждения своих слов.

Коба задумался, потом снял трубку и попросил соединить его с Ягодой.

— Николай Иванович Ежов, глубоко вникнув в обстоятельства дела, считает, что сообщниками Николаева являются зиновьевцы, чья организация давно боролась за установление своей власти в Ленинграде, — сказал Сталин Ягоде.

— У товарища Ежова неверные сведения, — попробовал возразить Ягода. — Мы нашли немало подтверждений того, что Кирова хотели ликвидировать бывшие белогвардейцы...

— Будете мешать товарищу Ежову вести следствие, морду набьем! — сердито перебил Ягоду Сталин, положил трубку и посмотрел на Николая Ивановича, чье лицо после этих слов расплылось в радостной улыбке. — Я думаю, он больше мешать вам не будет, товарищ Ежов. А если будет, то скажите мне, я с ним по-свойски поговорю.

— Спасибо вам, товарищ Сталин, за вашу мудрость и поддержку! — сияя, ответил Ежов, но уходить не спешил, ожидая соответствующего кивка. Он хорошо знал повадки Хозяина.

— Передайте Агранову, — продолжил Сталин, — чтоб он немного подкормил Николаева, истерики у него от голодных обмороков. Пусть дадут этому негодяю курочек, мяса, вина, пусть примет ванну, Агранов умеез заводить дружбу с такими подлецами.

Пусть пообещает ему года три-четыре за помощь следствию, и я думаю, Николаев все расскажет...

— А с женой его что будем делать? — спросил Ежов. — Она же... — Николай Иванович порозовел и замялся. — Ее же нельзя так отпускать.

— Вы правильно поняли постановку вопроса. Так и действуйте! — усмехнувшись, проговорил Сталин и кивнул головой, давая понять, что разговор закончен.

— Разрешите идти действовать, товарищ Сталин? — вытянувшись во фрунт, громко спросил Ежов.

— Иди, — весело отозвался Коба.

Ежов щелкнул каблуками, перенеяв эту привычку у Паукера, и почти маршевым шагом вышел из кабинета. «Еще один артист», — усмехнулся вслед ему Коба.

— Вот и замена тебе, Кирыч, нашлась, — пробормотал Сталин, раскуривая трубку. — Не захотел сразу переезжать, характер решил показать, вот и показал... всему народу смирный характер показал. А я говорил, что тебя спасти надо от этой Мильды! Говорил или не говорил?..

Коба выдержал паузу, точно всерьез хотел получить ответ от своего друга. Он знал, что завтра девятый день, и душа Кирова еще здесь, на земле, рядом, в этом кабинете. Сталин открыл сейф, вытащил бутылку «Хванчкары», налил два полных стакана, один прикрыл жесткой лепешкой. Снял трубку и повелительно сказал: «Полчаса ни с кем ни соединять, никого не впускать!» Помолчал, глядя на стаканы, наполненные до краев вином.

— Сам знаешь, что я предупреждал тебя с этой Мильдой. Потому что чувствовал. Знал. Я всегда все знаю наперед, куда тут денешься. А ты захотел стать выше меня, горьки тебе стали мои поцелуи и объятия!.. По-своему захотелось жить. Крови испугался.

Но на крови все и замешано. Человек так устроен. Души его, травы, на цепи держи, он будет как верный пес служить и благодарен будет, а дай ему волю, завтра тебя же загрызет. И что лучше? Сорок восемь лет минуло тебе, а вел себя иногда, как глупый мальчишка. Верил в глупые вещи, что одним куском хлеба сорок человек можно накормить. Но спасибо тебе, что хоть смертью своей помирил нас, а помирил тем, что и мне помог последнюю сердобольную гниль из души вычистить и оставить только презрение и ненависть к врагам своим. И как на духу говорю: нет в моем сердце зла на тебя, есть только любовь к тебе. Даже горечи утраты нет, потому что по-другому мы бы не разошлись с тобой, а убивать тебя мне было бы больно...

Он поднял свой стакан и, глядя на покрытое лепешкой вино брата своего, произнес:

— Да успокоится на небесах твоя душа, да воцарятся мир в ней и покой, и пусть не тревожит она меня, чист я перед тобой. Мы все там будем рано или поздно. И пусть я буду знать, что там ждет меня мой брат, которого я любил на земле! И пусть земля будет тебе пухом!

Сталин поднял стакан, выдержал паузу и медленно, не торопясь, выпил. Вытащил платок, вытер рот и усы.

— Я отомщу за тебя, мой товарищ и брат Киров!

Николаев сдался после того, как ему сообщили об аресте Мильды и пообещали, что сохранят жизнь и ей, если он подпишет показания на предложенных ему соучастников.

29 декабря 1934 года через час после вынесения приговора Николаев и тринадцать мнимых его сообщников были расстреляны. Комендант ленинград-

ского управления НКВД, руководивший расстрелом, потом сказал сослуживцам: «Я поднял Николаева за штаны и заплакал — так мне было жалко Кирова».

По городу ходили слухи, что Кирова убил мужревнивец, но НКВД их быстро пресек, а тех, кто попытался высказать их публично, отправили в лагерь.

Все было готово для начала «красного террора».

Первые 103 человека из разных городов Союза были расстреляны еще в декабре тридцать четвертого по «белогвардейскому следу».

Потом 14 человек по николаевскому доносу и суду вместе с Николаевым.

Всего в Ленинграде было репрессировано более 600 человек.

Но это было только начало. «Большая чистка» прокатилась по всей стране. Из 139 членов ЦК, выбранных на семнадцатом съезде, лишь 31 умер своей смертью, остальных раскроил сталинский маховик репрессий.

Мильда, узнав о гибели Кирова, долго плакала, но на все вопросы о подробностях их взаимоотношений отвечать отказалась, твердя, что жили они с Николаевым хорошо. Судья Ульрих писал о ней Сталину: «Мильда Драуле на вопрос, какую она преследовала цель, добиваясь пропуска на собрание партактива 1 декабря с. г., где должен был делать доклад т. Киров, ответила, что «она хотела помочь Леониду Николаеву». В чем? «Там было бы видно по обстоятельствам». Таким образом, нами установлено, что подсудимые хотели помочь Николаеву в совершении теракта».

«Подсудимые» — это Ольга и Роман Кулишер, которых арестовали и посадили лишь за то, что Ольга являлась родной сестрой Мильды. Бедный Кулишер на допросах постоянно твердил, что Николаева видел

несколько раз и считал его сумасшедшим. Под конец, измученный всем происходящим, он стал говорить, что и на Ольге Драуле женился по роковой ошибке, что он не виноват и не понимает, почему должен нести ответственность за поступки какого-то сумасшедшего.

Далее Ульрих продолжил: «Все трое приговорены к высшей мере наказания — расстрелу.

В ночь на 10-е марта приговор приведен в исполнение.

Прошу указаний: давать ли сообщение в прессу.
11 марта 1935 г.

В. Ульрих».

Перед смертью Мильда вспомнила Кирова. Зная, что через несколько секунд она соединится с ним, она улыбнулась, и с этой легкой улыбкой без страха переступила земную черту.

Аглая и Виталий Ганины погибли летом 1935 года в автомобильной катастрофе. Сбежавший с места преступления шофер грузовика, с которым произошло столкновение, так и не был найден.

25 января 1935 года скоропостижно умер Валерий Владимирович Куйбышев. Серго Орджоникидзе протянул еще два года, и, как свидетельствуют вновь открывшиеся факты его гибели 18 февраля 1937 года, к его скоропостижной смерти от разрыва сердца, как написали в некрологе, причастен начальник личной охраны Серго полковник Василий Ефимов.

В конце 1937 года был расстрелян и любимый шут Сталина, начальник его охраны Карл Паукер.

Расстрелы и казни перестали быть новостью. Перед кончиной Сталин намеревался расстрелять последних близких свидетелей своей безумной жизни — Ворошилова, Молотова, Кагановича, Берию, знавших о его страшных тайнах больше ос-

тальных. И в один из февральских дней 1953 года Коба достал из личного сейфа тот самый протокол допроса Гиви Мжвания, который передал Сталину Агранов, проводивший обыск в кабинете Кирова. Уже два месяца за Берией каждодневно следила сталинская контрразведка. Фактов его злодейских дел накопилось достаточно. Но Сталину Берия был нужен для другого. Вместе с ним должны были кануть в вечность и те, кого весь народ знал как друзей и боевых соратников вождя. Он вызвал полковника Джугу и попросил составить список всех бериевских грехов. Обширное донесение Джуги называлось «Сексуальный маньяк в галошах». Дальше бы все пошло по испытанной схеме: Берия за обещание сохранить ему жизнь отдал бы компромат на великих сталинских соратников и состоялся бы еще один великий процесс. Без Берии, которого Коба пристрелил бы раньше других.

Но, как известно, воплотить в жизнь этот последний проект Сталин не успел, о чем, наверное, искренне сожалел, когда его хватил удар. У него было несколько дней перед смертью, когда он лежал беспомощный, не в силах выговорить ни слова. Но когда приближался Лаврентий, Сталин поднимал вверх указательный палец, точно грозил ему. У Берии озноб пробегал по коже. Часть мозга Сталина, не пораженная кровоизлиянием, еще работала, доигрывая последние убийства. Была готова и новая смена, молодых, отчаянных и послушных сталинцев.

Таких, каким когда-то был Киров.

Литературно-художественное издание

Владислав Иванович Романов

МЕСТЬ

Редактор *М. К. Холмогоров*

Художественный редактор *О. Н. Адашкина*

Технический редактор *Н. Г. Новак*

Корректор *Т. Ю. Коновалова*

**Сдано в набор 03.04.97. Подписано в печать 24.04.97.
Формат 84x108 ¹/₃₂. Гарнитура «Таймс».
Усл. печ. л. 25,2.
Тираж 10 000 экз. Заказ № 301**

**«Олимп».
Изд. лиц. ЛР № 07190 от 25.10.96.
123007, Москва, а/я 92.**

**ООО «Издательство АСТ».
Лицензия ПИМ № 01372 от 16.04.96.
366720, РИ, г. Назрань, ул. Фабричная, 3**

**Отпечатано с готовых диапозитивов
в Тульской типографии.
300600, г. Тула, пр. Ленина, 109.
OCR - Давид Титиевский, февраль 2017 г., Хайфа**

РУССКИЕ ТАЙНЫ

Впервые!

Правда о ключевых моментах истории России!

Величайшие преступления XX века, без тайн и искажений!

Подлинные документы спецхранов и советских архивов!

За каждой тайной – новые, за каждым преступлением – цепь других. История нашей страны – впервые без прикрас.

История, полная безжалостных сражений за власть, изощренных интриг и кровавых секретов...



3
N
* 4 6 5 0 *29,00
VII.7
0.50